В. А. МАНУЙЛОВ
Г. П. СЕМЕНОВА

БЕЛИНСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ



БЕЛИНСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
В. А. МАНУЙЛОВ
Г. П. СЕМЕНОВА



В. Г. Белинский.
Рисунок И. Астафьева. 1881 г.

В. А. МАНУЙЛОВ,
Г. П. СЕМЕНОВА



ЛЕНИЗДАТ
1979

46.3
М24

Жизнь и творческая деятельность В. Г. Белинского — мужественного человека, талантливого критика, яркого публициста, революционера-демократа — была тесно связана с Петербургом.

В книге на широком историческом фоне 30—40-х годов XIX века прослеживаются основные этапы его замечательной биографии.

Адресована массовому читателю.

М $\frac{20904 \quad 4702010000-114}{М171(03)-79}$ 110—79

ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории русской общественной мысли Виссариону Григорьевичу Белинскому суждено было стать учителем революционной демократии и, как писал В. И. Ленин, «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении», наряду с Герценом и Чернышевским он стал «предшественником русской социал-демократии».

К Белинскому не относились безразлично даже спустя полвека после того, как его не стало. Он был слишком яркой фигурой.

Сменились эпохи, свершились революции, но и в наши дни остаются животворными его мысли о развитии России, о народе, о литературе, искусстве и критике. Его наследие вдумчиво изучают и философы, и критики, и историки литературы.

С конца 1839 года по май 1848 года жизнь и деятельность Белинского была связана с Петербургом. Это были годы его зрелости, расцвета его дарования.

Жизнь Белинского не богата внешними событиями и переменами. Она — в его статьях и письмах, в спорах с друзьями и в ожесточенной борьбе с идейными противниками.

«Вся жизнь моя в письмах»,— признавался он сам. Его послания к друзьям, которые писались иногда по нескольку дней, превращались в исповеди, а порою и в конспекты так и не написанных статей.

Вот почему первоисточником при подготовке этой книги явилось эпистолярное наследие Белинского и его статьи.

Виссарион Григорьевич Белинский был человеком едва ли не уникальным по сочетанию гениальности, смелости в суждениях и удивительной робости, неуверенности в себе; тонкого чутья истины и крайностей в заблуждениях; принципиальности, нравственного максимализма и доброты, терпимости; неукротимой гордости и беспощадности к собственным ошибкам; едкого, критического ума и поразительной внутренней незащищенности, ранимости и деликатности...

Таким предстает перед нами Белинский в многочисленных воспоминаниях современников — это другой источник книги,— в том числе воспоминаниях таких тонких и проницательных собеседников, как А. И. Герцен, П. В. Анненков, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров... Однако и в менее глубоких, но написанных с большой любовью воспоминаниях А. Я. Панаевой, И. И. Панаева, Н. Н. Тютчева и других сохранились драгоценные зарисовки бытового характера, позволяющие воссоздать повседневную жизнь Белинского в Петербурге, некоторые черты его семейного быта, не всегда открытые даже для друзей.

Не представляется возможным в сравнительно небольшой книге сколько-нибудь полно раскрыть идейное богатство всего, что создано Белинским за годы жизни в Петербурге. Авторы стремились познакомить широкий круг читателей прежде всего с личностью удивительного человека, смелого мыслителя и бесстрашного борца-гуманиста. Вместе с тем авторы пытались взглянуть на Петербург глазами Белинского и его друзей. Этим объясняется наличие в книге и большого количества историко-краеведческих материалов.

Элемент беллетризации, по-видимому неизбежный в данной серии, авторы основывали не на вымыслах, а на документах той эпохи, на высказываниях Белинского и воспоминаниях его современников.

Все тексты из произведений Белинского и его письма цитируются по тринадцатитомному Полному собранию сочинений В. Г. Белинского, выпущенному Издательством Академии наук СССР в 1953—1959 гг.

Авторы приносят сердечную благодарность за помощь в подготовке книги к изданию Лидии Федоровне Капраловой и Аркадию Моисеевичу Гордину.

«ЕДУ В ПЕТЕРБУРГ...»

Это был самый торопившийся человек в целой России.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



В октябрьский день 1839 года — день выезда из Москвы в Петербург — Виссариону Григорьевичу Белинскому было двадцать восемь лет. Он был приблизительно в том же возрасте, что и провожавшие его московские друзья — Боткин, Катков, Кетчер, — разница от трех до семи лет, не больше. Но как отличался от них Белинский!

Вот самый, едва ли не братски близкий ему Василий Петрович Боткин — умный, тонкий критик и переводчик. Он явился проводить друга в новом щеголеватом парике, и этот парик придает его молодому лицу чуть легкомысленный вид.

Немного поодаль, сложив на груди руки, в философской позе замер Михаил Катков, также критик. Кажется, он еще не вполне отошел, остыл после недавних споров и размолвок с Белинским, и в его лице читается что-то демоническое.

Николай Кетчер, переводчик, врач по профессии, как всегда, шумит, много и громко смеется, размахивая бутылкой шампанского, при каждом движении вспыхивая

красной подкладкой плаща. Он полушутливо поучает Виссариона Григорьевича, как держаться в Петербурге, чтобы редактор «Отечественных записок» Краевский его не подмял...

Невысокий, с впалой грудью, Белинский, в поношенном, но опрятном пальто, рядом с ними, пожалуй, внешне незаметен, даже неказист. Годы полуголодного существования вдали от семьи уже сказывались на его лице и всей несколько аскетической внешности. Он ехал в Петербург вместе с недавно обвенчавшимися Авдотьей Яковлевной и Иваном Ивановичем Панаевыми. Панаев был не только литератором, но и помещиком. И на севере его ждал дом с многочисленной прислугой. Белинский же понимал, что только на первое время сможет воспользоваться гостеприимством друзей, он знал, что и в столице ему уготована напряженная жизнь, полная труда и лишений, жизнь пролетария, которому и малый кусок хлеба не достанется даром.

Но не это тяготило его сегодня, а мысль о разлуке с близкими ему по духу людьми, и Виссарион Григорьевич молча вглядывался в их лица, как бы вбирая в себя, укладывая в памяти их черты. Он умел любить своих друзей!

— Ну, прощайте, господа! — наконец решительно произнес Белинский и шагнул навстречу Боткину.

Тот обнял и как-то особенно трогательно, словно ребенка, стал гладить друга по затылку, приговаривая:

— Что же делать, Виссарион? Очень тяжело расставаться, голубчик. Но что же делать, твое место в Петербурге, а здесь тебе оставаться незачем...

Ямщик в последний раз проверил, в порядке ли сбруя, занял свое место и, собрав в левую руку вожжи, правой быстро и ловко вытянул кнутом тройку. Лошади резко и в лад тронули с места.

Виссариона Григорьевича качнуло в сторону Авдотьи Яковлевны, и он улыбнулся, близко увидев милое лицо с большими грустными глазами. Через минуту, как повелось между ними, он уже поддразнивал ее за наивную непосредственность и прямоту суждений. Как всегда в таких случаях, вначале она немного дулась, но вскоре оживилась и сама начала шутливо сводить счеты со своим собеседником.

За окошками кареты взгляд выхватывал мелькавшие вдоль дороги деревья, верстовые столбы, унылые темные избы деревень, изредка разнообразивших долгие перегоны по пестрому, осеннему лесу.

День начал тускнеть, и мысли о прошедшем, о будущем овладели Белинским, далеко уводя его от беззлобных препирательств с попутчицей...

С двойственным чувством покидал Виссарион Григорьевич патриархальную Москву. Прожитые здесь десять лет были наполнены для него напряженным учением и самосовершенствованием, принципиальными спорами и философскими раздумьями. Это было и время определения своего пути в жизни.

В 1829 году он приехал из Пензы в Москву, где стал казеннокоштным студентом университета, известного тогда вольнодумными настроениями его учащихся. Здесь Белинский написал и в узком студенческом кругу прочел свою антикрепостническую трагедию «Дмитрий Калинин». «В этом сочинении,— сообщил он родным,— со всем жаром сердца, пламенеющего любовию к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость,— я в картине довольно живой и верной представил тиранства людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных».

Вот в каких крамольных выражениях герой трагедии высказывал свое недовольство бесправным положением крепостных:

« — Неужели эти люди для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей властью волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества?.. <...> Милосердный боже! отец человеков! ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?..»

Виссарион Григорьевич усмехнулся, вспомнив комнату студенческого общежития, в которой во время холеры 1831 года, когда занятия были прерваны, они, несколько студентов, организовали «Литературное общество 11 нумера». Как горячо откликались его товарищи на чтение, какими щедрыми аплодисментами награждали каждое особенно резкое обличение в его трагедии!

Совсем по-другому отнесся к «Дмитрию Калинину» Цензурный комитет, куда Белинский обратился за разрешением на публикацию своего произведения.

— Ваше произведение безнравственно! Оно бесчестит университет,— заявили ему.

Дело не ограничилось запрещением публиковать трагедию и резким выговором, который пришлось выслушать Белинскому. Виссарион Григорьевич попал под специальный надзор, а вскоре, в сентябре 1832 года, как только нашелся предлог, был отчислен из университета. Долго проболев, Белинский задержал сдачу экзаменов, и его исключили «по слабому здоровью и... по ограниченности способностей».

Но исключение из университета не отдалило Белинского от передовой молодежи.

В сентябре 1833 года он стал посещать кружок студента Николая Владимировича Станкевича, в котором

сблизился с «отборными по уму, образованности, талантам и благородству чувств молодыми людьми». Среди них были Боткин, Катков, будущий идеолог анархизма Михаил Бакунин, будущий видный славянофил Константин Аксаков, поэт Красов и другие.

Да, Станкевича, два года назад уехавшего за границу, ему и сейчас не хватало.

Перебирая в памяти годы и встречи, Виссарион Григорьевич мысленно поклонился своему учителю Николаю Ивановичу Надеждину, профессору Московского университета, читавшему курс эстетики и теории искусства. Надеждин был прогрессивно мыслящим человеком. В журнале «Телескоп», который он редактировал, проповедовались идеи просвещения, постоянной критике подвергался романтический субъективизм в искусстве, литературе, журналистике.

Белинский с уважением воспринял его идеи и с благодарностью его предложение сотрудничать в «Телескопе».

Начал Виссарион Григорьевич работу в журнале переводами с французского языка. Но употреблял свое перо также и на «посторонние» дела. Так, в литературном приложении к «Телескопу» — «Молве» (№ 38—52 за 1834 год) — появилась его критическая статья «Литературные мечтания (Элегия в прозе)», в которой Белинский выступил за широкое просвещение русского общества, за демократизм и народность русской литературы, за откровенный и честный разговор о ней. «У нас... еще и по сию пору,— писал он,— царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим *табель о рангах* и боимся говорить вслух правду *о высоких персонах*. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую *правду у нас святотатство!*»

Прочитавший статью Надеждин остался доволен своим учеником и сотрудником.

Яркая, с блеском и страстью написанная, она произвела впечатление в литературных кругах. «Мало кому из молодых писателей,— писал И. И. Лажечников,— случалось начинать свое поприще так смело, сильно и самостоятельно. Белинский выступил в ней во всеоружии даровитого новатора. Изумление читателей было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как называли его иные) — одним словом, человека без роду-племени — кумиры их сбиты с пьедестала...»

Через год в «Телескопе» появилась очередная — программная — статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», в которой он обосновал принципы реалистической литературы, хотя сам этот термин не был им употреблен.

Немало шума наделала его статья «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"». В ней Белинский не только выступил против дутых авторитетов, но и начал свою — не один год впоследствии продолжавшуюся — полемику с критиком профессором Московского университета С. П. Шевыревым по поводу произведений Гоголя, в которых Шевырев отказывался видеть сатиру на действительную жизнь и видел лишь безопасную игру авторской фантазии...

До сих пор «все прекрасное жизни» было соединено у Белинского с Москвой: и первые успехи на литературном поприще, и первые слезы любви, и радости мужской дружбы, союза близких умов. И тем не менее Петербург с каждым годом все более манил критика, поистине с магической силой притягивал его к себе.

Культурная и общественная жизнь в северной столице была гораздо оживленнее, и книгоиздательское дело там

тоже было поставлено значительно шире. Одних только правительственных периодических изданий в 1839 году в Петербурге насчитывалось девятнадцать (среди них «Журнал министерства народного просвещения», «Журнал министерства внутренних дел», «Русский инвалид, или Военные ведомости», «Христианское чтение» и т. д.), а кроме того, частными лицами издавались еще семь журналов и три газеты: «Сын отечества» А. Ф. Смирдина, «Отечественные записки» П. П. Свиньина, «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» А. А. Краевского, «Северная пчела» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского и другие.

Конечно, среди всех этих изданий для Белинского на первом месте стоял пушкинский «Современник». И именно из этого журнала, да еще от самого Пушкина, ему была впервые протянута рука из Петербурга. Осенью 1836 года Пушкин, обративший внимание на статьи молодого критика, решил пригласить его в «Современник» для постоянной работы. Незадолго перед этим он упрекнул Гоголя за то, что в статье «О движении журнальной литературы» тот умолчал об этом «подающем большую надежду» критике. Пушкин считал, что «если бы с независимостью мнения и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного». Так было сказано в «Письме к издателю», подписанном буквами «А. Б.», и Белинский мог не знать, кому оно принадлежит. Но в той же третьей книжке «Современника» за 1836 год Пушкин уже под своим именем критиковал выступление М. Е. Лобанова в Российской академии 18 января 1836 года о «духе словесности», в котором были допущены резкие выпады против статей Белинского.

Поэт попросил своего приятеля П. В. Нащокина, находившегося в Москве, выяснить планы Белинского, и тот вскоре сообщил в Петербург, что Белинский был бы счастлив работать в пушкинском «Современнике».

Но этим мечтам не суждено было осуществиться. В конце октября 1836 года за опубликование «Философического письма» П. Я. Чаадаева, проникнутого глубоким скепсисом в оценке российской действительности, был запрещен «Телескоп». Автора объявили сумасшедшим, редактора журнала Н. И. Надеждина сослали в Усть-Сысольск, у постоянного сотрудника Белинского в его отсутствие произвели обыск. В те тревожные дни Пушкин вынужден был на время прервать переговоры о сотрудничестве Белинского. А через три месяца из Петербурга пришла весть о гибели поэта.

После запрещения «Телескопа» перед Белинским разом захлопнулись двери московских редакций, и он оказался в крайне бедственном положении.

...Откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза, Виссарион Григорьевич перебирал в уме все свои тогдашние судорожные попытки найти хоть какой-то выход, хоть какую-то работу и средства к существованию.

Тогда с предложением своего сотрудничества он первый раз обратился к редактору и издателю петербургских «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» А. А. Краевскому, а также к издателю «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшару.

Но нелицеприятные отзывы в статьях Белинского о литературных знаменитостях, критический взгляд на художественное наследие прошлого и решительные посягательства на современные авторитеты вызывали осторожное и даже отрицательное отношение к нему у большинства издателей и редакторов. Суждения Белинского казались слишком резкими. Краевский вслух называл его мальчишкой-крикуном. Поэтому на вопрос Виссариона

Григорьевича о сотрудничестве он ответил вежливым отказом, написав, что дело это вообще весьма трудное, а теперь — особенно, что «со временем, может быть, представится случай, но это только может быть... я бы советовал на это не рассчитывать».

Осенью 1837 года Белинский сделал еще одну попытку — вел переговоры о работе с переехавшим в Петербург журналистом Н. А. Полевым, но и эти переговоры безнадежно затянулись, а безденежье не позволяло даже на короткий срок съездить в Петербург, чтобы лично повидаться с издателями.

Однако, несмотря на неудачи, все мечты о большой, серьезной работе отныне он связывал с Петербургом. 15 ноября 1837 года он писал своему другу Михаилу Александровичу Бакунину: «...мне нечего делать в Москве. Я хочу существовать и материально и нравственно и почему-то, не знаю сам, думаю, что только в Петербурге могу жить тем и другим образом. В мысли о Петербурге для меня есть что-то горькое, сжимающее грудь тоскою, но вместе с тем и что-то дающее силу, возбуждающее деятельность и гордость духа. <...> Еду в Петербург, буду там без вас, моих друзей, следовательно, буду один — при этой мысли мне больно, грустно, но и отрадно в то же время. Я знаю себя: мне не надо спать, а московская жизнь, даря меня прекрасными минутами, усыпляет на остальное время. Мне надоело это. Хочу страдать, но жить...»

Споря с друзьями о Москве и Петербурге, о значении этих городов в истории государства, он, конечно, отдавал должное Москве, но все решительнее говорил о больших возможностях северной столицы, об особом, царящем в ней духе больших дел.

— Те, кто лучше хотят делать ничего, нежели ничего не делать, должны переселиться из Москвы в Петербург,— говорил он.— Не то есть опасность из людей, спо-

собных к делу, превратиться в людей, способных только говорить о деле. Ваша Москва — провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею...

— Москва выстрадала за Русь, она искупительница России, ее центр. Вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург — город дворцов и казарм, временный лагерь,— запальчиво возражал ему Константин Аксаков, уже тогда начинавший обращать взоры к старине и скептически относившийся к реформам Петра I.

— Ничего,— перебивал Белинский,— придет время и Петербургу — он еще молод... Петербург имеет одно важное значение, что это — окно, прорубленное Петром в Европу.

В феврале 1838 года Виссарион Григорьевич был вынужден снова — через своего заочного, по переписке, приятеля-петербуржца Ивана Ивановича Панаева — обратиться к Краевскому. В его письме — отчаяние: он согласен на любую работу, готов сдавать каждый месяц до десяти листов рукописи и рецензировать не только всю текущую художественную литературу, но и книги, далекие от литературы. В случае удачных переговоров он, к сожалению, должен просить у Краевского аванс в 2000 рублей: без этого ему даже пешком не пройти заставу, ибо он весь в долгах... Белинский хотел, чтобы Иван Иванович поговорил в Петербурге со всеми, у кого может найтись для него хоть какая-то литературная работа: «я продаю себя всем и каждому...». И только на одном условии он настаивает: чтобы не стесняли его образа мыслей, его убеждений и литературной совести, которая для него «так дорога, что во всем Петербурге нет и приблизительной суммы для ее купли». «Если дело дойдет до того, что мне скажут: независимость и самобытность убеждений или голодная смерть,— заявляет он с достоинством,— у меня достанет силы скорее издохнуть, как собаке, нежели живому отдаться на позорное съедение псам...»

К этому времени Краевский, которому не исполнилось еще и тридцати лет, приобрел право на издание «Отечественных записок», основанных в 1818 году журналистом, этнографом и путешественником П. П. Свиньиным. Он рассчитывал, что обновленный им энциклопедический, литературно-публицистический толстый журнал будет успешно соперничать с петербургской коммерческой словесностью — «Библиотекой для чтения» О. И. Сенковского, «Северной пчелой» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. Позже в поэме «В. Г. Белинский» Н. А. Некрасов писал об этом времени:

Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В бореньи пошлых мелочей
Она, погрязнув, поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.
В то время как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели...

Под задорными поляками поэт имел в виду О. И. Сенковского, печатавшего свои художественные произведения и статьи под псевдонимом Барон Брамбеус, и Ф. В. Булгарина.

И хотя новый издатель «Отечественных записок» понимал, как важно для успеха журнала отлично наладить работу критического отдела, приглашать Белинского он не спешил, полагая обойтись сотрудничеством В. С. Межевича, сокурсника Белинского по Московскому университету.

Весной 1838 года серьезная работа все-таки нашлась для Виссариона Григорьевича и в Москве. Журнал «Московский наблюдатель», основанный группой пайщиков в 1835 году, после выхода из него И. В. Киреевского и возглавлявшего критический отдел С. П. Шевырева взяли в свои руки московские гегельянцы, друзья Белинского.

Виссарион Григорьевич с энтузиазмом принялся за дело и как литературный сотрудник, критик, и как неофициальный редактор «Московского наблюдателя». Менее чем за год он напечатал в нем более 120 статей, рецензий, заметок. Здесь же была опубликована и его пьеса «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь», написанная по просьбе М. С. Щепкина для его бенефиса.

Но и этот журнал скоро прекратил существование. Последний, апрельский, номер вышел в июне 1839 года. А Виссарион Григорьевич, не удовлетворенный отношением издателя к своим сотрудникам, ушел из «Московского наблюдателя» и того раньше, хотя и не имел работы в другом месте.

Неожиданно помогли обстоятельства. Редактор «Отечественных записок», убедившись в «бессилии и неспособности» Межевича как критика, вынужден был отказаться от его услуг. (Межевич впоследствии редактировал «Ведомости санкт-петербургской полиции».) Тогда-то он вспомнил о Белинском и в ответ на очередное ходатайство Панаева о своем друге наконец написал в Москву: «Прошу Белинского статью о Менцеле и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий».

Краевский предупредил, что Белинского ожидает самая разнообразная работа, вплоть до библиографической, театральной и даже корректурной. При этом материальные условия сотрудничества петербургский редактор сформулировал крайне приблизительно, не желая связы-

вать себя никакими обязательствами, и уклонился от выдачи аванса. У Виссариона Григорьевича не было выбора, он дал согласие и, заняв у Панаева 1500 рублей, стал собираться в дорогу.

...На вторые сутки утомительной езды в тряской карете путники наконец достигли Ижоры, последней станции перед Петербургом, и вскоре, миновав убогие окраины, благополучно въехали в северную столицу через триумфальные (ныне — Московские) ворота, в октябре 1838 года поставленные по проекту архитектора В. П. Стасова в честь победоносного завершения русско-турецкой войны 1828 года. По тем временам это было крупнейшее в мире сборное сооружение из чугуна. Общий вес 12 чугунных колонн составлял около 450 тонн. Ворота выполняли и роль заставы при въезде в город: по обеим сторонам от них находились две «кордегардии» — помещения для военных караулов.

Мать Панаева жила на Грязной улице (впоследствии Николаевская, а теперь ул. Марата), в двухэтажном доме № 63, принадлежавшем архитектору Е. А. Диммерту, ученику и помощнику В. П. Стасова. Этот дом — со вторым этажом деревянным, а нижним каменным — до наших дней не сохранился; на его месте стоит дом № 70б. В те годы Грязная улица, как и другие улицы, которые вели от центра к окраинам, была застроена в основном деревянными домами, их тогда в Петербурге было почти в два раза больше, чем каменных. Многие улицы кончались огородами.

Еще в Москве Иван Иванович предлагал Белинскому две комнаты во втором этаже, пока тот не подыщет для себя что-нибудь. Но его мать рассудила иначе,— комнаты оказались заняты приживалками и домашним врачом, а Виссариона Григорьевича она поместила на первом этаже, в темном и довольно сыром помещении, вместе со своим приехавшим из провинции пятнадцатилетним пле-

мянником Валерианом. Присутствие юноши, конечно, не могло не стеснять Белинского, хотя зажили они дружно и Виссарион Григорьевич подарил ему свою книгу «Основание русской грамматики», изданную в Москве в 1837 году.

Через час после приезда в столицу Белинский вместе с Панаевым уже входил в редакцию «Отечественных записок», тогда помещавшуюся неподалеку от Адмиралтейской площади, на Невском проспекте, у Полицейского (или Зеленого, а после 1917 года — Народного) моста через Мойку, в доме Голландской церкви, построенном в 1834—1839 гг. по проекту архитектора Поля Жако (теперь дом № 20 по Невскому пр.). В этом же доме находилась французская книжная лавка Беллизара и русская — П. А. Ратькова, в которой, между прочим, принималась подписка на «Отечественные записки».

Когда Виссарион Григорьевич в сопровождении Панаева вошел в кабинет редактора, явно обрадованный Андрей Александрович Краевский живо поднялся и кинулся к ним навстречу.

— Наконец-то, спаситель! — обратился он к Белинскому.— Наконец-то! Уверен, что вы поможете поднять и поддержать журнал.

Встреча была теплой. Виссарион Григорьевич поделился своими замыслами, планами больших, капитальных статей для «Отечественных записок», в том числе о Гоголе. В разговоре принял участие оказавшийся в редакции филолог-славист Измаил Иванович Срезневский. Завязался спор.

— Если сравнить Гоголя с Квитко-Основьяненко,— говорил Срезневский,— сразу видно, что Гоголь берет формою, а тот изобретением. Согласитесь, что «Ревизор» все-таки отвратительный фарс, «Тарас Бульба» — дрянь, вот «Старосветские помещики» — это превосходное, гениальное создание.

— Не соглашусь,— возразил Белинский,— «Ревизор» выше всех других русских драматических произведений, и он вполне художественное создание, удовлетворяющее высшим требованиям искусства и основным законам творчества.

Краевский слушал, одобрительно кивал, шутил и сам было пускался в рассуждения о современной литературе, потом перевел разговор на заказанную Белинскому статью о немецком критике Менцеле.

На мгновение Виссарион Григорьевич перенесся мыслью в Москву, к друзьям, с которыми у него перед отъездом вышел разлад из-за отношения к гегелевской теории разумной действительности, из-за тех самых идей, которые он собирался защищать и в статье «Менцель, критик Гете».

«Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы,— писал А. И. Герцен в «Былом и думах».— Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные...»

А история спора была такова.

Летом 1839 года Москва с большим энтузиазмом праздновала открытие памятника на Бородинском поле. По этому случаю вокруг Кремля был устроен грандиозный крестный ход. За митрополитом «всея Руси» Филаретом верхом следовал сам император Николай Павлович. Но открытие памятника было и общенародным праздником. Белинский усмотрел в этом подтверждение гегелевского тезиса о разумности всего существующего.

— Я гляжу на действительность, столь презираемую прежде мною,— говорил он,— и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ниче-

го нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть.

Белинский говорил с Герценом, который 23 августа 1839 года, после пятилетней ссылки, вернулся в Москву. Невысокий, довольно полный, но чрезвычайно подвижный, Александр Иванович бегал из одного конца комнаты в другой и возмущался:

— Знаете ли, что с вашей точкой зрения вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения,— краснея всем лицом, отвечал Белинский.

Герцен бросился вон, решив не поддерживать с Белинским никаких отношений.

Серьезность и острота их размолвки подняли волну споров в кружках Станкевича и Герцена, обычно взаимно расположенных, с перекрещивающимися дружескими связями. А тут все перемешалось и внутри кружков и между ними. Михаил Бакунин безуспешно кидался то к одному, то к другому, пытаясь восстановить мир.

Стремясь объяснить и защитить свою точку зрения, Виссарион Григорьевич еще в Москве написал несколько статей и в Петербурге намеревался продолжить работу над другими, так что в конце концов должен был получиться цикл, объединенный общей гегелевской идеей: «все действительное разумно» («Бородинская годовщина. В. Жуковского...», «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе). Сочинение Ф. Глинки», «Менцель, критик Гете», «Горе от ума... Сочинение А. С. Грибоедова» — все они были опубликованы в «Отечественных записках», начиная с десятой книжки за 1839 год и кончая первой книжкой за 1840 год).

Но говорить об этом сейчас, в кабинете Краевского, ему не хотелось, и он ограничился обещанием в ближайшее время принести готовую статью о Менцеле.

— Он, кажется, недурен,— сказал Виссарион Григорьевич Панаеву по выходе от Краевского.— В нем есть даже чувство изящного, но оно не развито.

На Полицейском мосту (этот первый чугунный мост в городе построен был еще в 1806 году) оживленное движение: всадники, кареты... Но Белинский не услышал привычного гулкого цокота копыт. Ему показалось, что здесь они стучат как будто мягче.

Панаев рассмеялся:

— Не зря же мостовую Невского называют паркетною! Тут вместо булыжника дерево.— И обстоятельно, как истинный петербуржец, принялся объяснять, как делается торцовая мостовая: берутся небольшие специально обрубленные куски дерева — прямоугольные или, как на Невском, шестиугольные — и стоймя вбиваются в землю плотно один к другому, потом заливаются смолой. (Позднее, в 1844 году, на Полицейском мосту впервые в России был сделан менее дорогой настил из асфальтовых кубиков.)

Сразу за мостом, на углу Невского проспекта и Мойки, манила вывеской кондитерская Вольфа и Беранже (ныне Невский, 18). Тогда фасад здания имел несколько иной, чем теперь, вид: боковые его части украшались не только колоннами, но и лоджиями, а центр был выделен отсутствующим ныне восьмиколонным портиком. Здесь часто бывал Пушкин. В кафе приятели просмотрели разложенные на специальном столе в полном ассортименте последние номера петербургских газет и журналов.

Затем с Невского через арку Главного штаба вышли на Дворцовую площадь. Перед ними предстала самая высокая в мире, почти пятидесятиметровая, триумфальная Александровская колонна, установленная в 1834 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года. За ней свежей краской матово светился только что восстановлен-

ный после пожара 1837 года пышно-нарядный, в лепке и колоннах, Зимний дворец.

Справа велись строительные работы: сооружался Новый Эрмитаж (ныне ул. Халтурина, 35), первое в России здание, специально проектировавшееся как художественный музей — для размещения разросшихся коллекций Эрмитажа; напротив него строилось здание Штаба гвардейского корпуса, им завершалось оформление восточной стороны площади.

Обогнув Зимний дворец, полюбовавшись Адмиралтейством, вышли к Неве. Все здесь, в центре столицы, было рассчитано на то, чтобы внушить мысль о богатстве и могуществе государства.

Чуть справа, за полноводной Невой, разделяющейся в этом месте на два рукава, на небольшом Заячьем острове протянулись стены Петропавловской крепости.

Белинский невесело подумал о том, что́ скрывали, скрывают и еще будут скрывать эти стены... Мимо них к мосту прошествовало несколько купцов.

— А местные-то купцы не то, что наши московские патриархальные бородачи: европейцами смотрят,— отвлекаясь от своих дум, заметил он.

— Пожалуй, здесь купцы похожи на немцев или голландцев,— согласился Панаев, и Виссарион Григорьевич продекламировал:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно...

— Кстати,— сказал Иван Иванович,— вот и маяки в этом «окне»,— и указал на две монументальные Ростральные колонны в центре Петербургского морского порта.

Они прошли и на Сенатскую площадь, где над рекой и над городом простер руку воспетый Пушкиным «кумир

на бронзовом коне». За ним высился еще недостроенный, в лесах, но уже величественный Исаакиевский собор.

Все увиденное поразило Белинского.

— Я весь околдован,— признался он Ивану Ивановичу.— Стоит только взглянуть на Неву, как уж чувствуешь, что переносишься в какое-то волшебное царство.

Стало смеркаться. Когда друзья вернулись на Невский, фонарщики уже зажигали лампы, взобравшись на высокие переносные лестницы. Народу на проспекте заметно прибавилось.

Виссарион Григорьевич зачарованно смотрел на проспект, неожиданно совсем по-иному открывшийся в загадочно-таинственной красоте мелькающих теней. Возможно, ему вспомнились гоголевские «Арабески» с петербургскими повестями «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Четыре года назад он восторженно отозвался об этом сборнике в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». Теперь, оказавшись в Петербурге, он с новой силой должен был прочувствовать воссозданную писателем фантасмагорию вечернего Невского, когда, как писал Гоголь, «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». На Невском «все обман, все мечта, все не то, чем кажется!»

«ВСТРЕТИЛИ МЕНЯ ХОРОШО...»

Вместе с ним явилась на сцену и живая мысль, и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или по крайней мере ослабить наконец союз литературных промышленников...

П. В. АННЕНКОВ



Радостное возбуждение, которое Виссарион Григорьевич испытал по приезде в столицу, скоро сменилось грустью и скепсисом. Еще слишком крепко сидел в нем москвич, и воспоминания о Москве ревниво теснили его новые, даже чисто внешние впечатления. «Сам город красив, но основан на *плоскости,* и потому Москва — красавица перед ним»,— сообщил он свое мнение Василию Петровичу Боткину.

Официозный литературный Петербург встретил Белинского не очень приветливо; журналисты-недоброжелатели распространяли слухи, будто новый критик «Отечественных записок» выгнан из Московского университета за... развратное поведение. Н. В. Кукольник, плодовитый драматург, заполнивший своими пьесами репертуар Александринского театра, всюду, не смущаясь, громко и презрительно отзывался об «Отечественных записках» и особенно о новом сотруднике журнала:

— Там у них, говорят, появился какой-то Белинский; он порет им объективную дичь, приправленную конкрет-

ностями, а они думают, что это высшая философия, и слушают его развеся уши.

Многие петербургские литераторы откровенно побаивались нового критика «Отечественных записок», острого и нелицеприятного, никого не щадившего ради истины. Для него не существовало никаких авторитетов, он смело нападал на литературную знать, не считаясь с самолюбием чопорных столичных авторов. Как раздражала их его удивительная работоспособность! В одной только одиннадцатой книжке журнала за 1839 год появилось 13 его рецензий, кое-кого задевших весьма ощутимо.

На другой день после выхода этого номера Белинский и Панаев шли по Невскому. Их остановил Булгарин. Отозвав в сторону Панаева, он язвительно спросил:

— Почтеннейший, бульдога-то этого вы привезли меня травить? — и не дожидаясь ответа, исчез.

Виссариона Григорьевича очень позабавила эта встреча; через два года он вспомнил о ней, когда искал псевдоним для своего памфлета на Шевырева. «Петр Бульдогов» — подпишется он тогда под памфлетом «Педант».

Статьи Белинского, помещенные в «Отечественных записках» в конце 1839 и начале 1840 года, были враждебно встречены не только Булгариным и Гречем. Они испугали и литераторов, не связанных с этими дельцами словесной коммерции. Так, Н. Ф. Павлов сообщал В. Ф. Одоевскому о недовольстве в Москве категорическими суждениями Белинского и с нескрываемым раздражением предсказывал гибель «Отечественных записок», если «этот мортус» (похоронных дел мастер) и дальше будет беспрепятственно писать все что захочет.

«Я думал,— возмущался он,— что для облегчения Краевского необходима такая пишущая машина, как Белинский, но мне в голову не входило, что над ним не будет надзора, что он станет то же писать, что писал

в «Наблюдателе», что даст цвет и свое направление „Отечественным запискам"».

Об опасениях, которые и в это время — период так называемого примирения Белинского с действительностью — внушала его критическая деятельность, говорит также эпиграмма Е. А. Баратынского, написанная около 20 января 1840 года. Правда, на этой эпиграмме лежит, видимо, и отпечаток одиночества, тяжелого душевного кризиса, который переживал сам поэт в то время в связи с отходом от круга прежде близких ему людей, объединившихся вокруг И. В. Киреевского. Может быть, своим выпадом против Белинского он хотел вновь привлечь к себе их внимание. Вот что писал Баратынский, подразумевая ведущего критика «Отечественных записок»:

В руках у этого педанта
Могильный заступ, не перо:
Журнального негоцианта
Как раз подроет он бюро.
Он громогласный запевало,
Да запевало похорон...
Похоронил он два журнала
И третий похоронит он.

Баратынский имел в виду журналы «Московский наблюдатель» и «Телескоп», хотя последний, как уже говорилось, был закрыт за публикацию «Философического письма» П. Я. Чаадаева.

Из лагеря коммерческой журналистики в Белинского летели откровенные оскорбления. 15 декабря 1839 года в публичной лекции о русском языке Греч отозвался о языке статей Белинского как о «диком, темном, непонятном и бессмысленном языке, который вторгается в нашу словесность под именем философского». Отвечая на этот выпад, Виссарион Григорьевич с достоинством заметил в статье «Менцель, критик Гете», что «в языке и образе

осмеянной болтуном книги, может быть, уже занимается заря новой эпохи литературы, новых понятий об искусстве, нового взгляда на жизнь и науку».

К сближению с такими литераторами, как Кукольник, Булгарин и Греч, Виссарион Григорьевич не стремился,— их общество было неприятно ему, ибо он не принимал ни их писаний, ни их самих.

Иное дело — друзья Пушкина, продолжавшие начатое им издание «Современника». Едва оглядевшись в Петербурге, Белинский поспешил познакомиться с ними.

Пятидесятилетний Василий Андреевич Жуковский очаровал его «воплощенным прекраснодушием» и излучаемой им молодостью. «Во внутренней жизни он юноша, и я глубоко уважаю его юношество»,— признался Виссарион Григорьевич в письме к Константину Аксакову.

А вот Петр Александрович Плетнев, хоть был моложе Жуковского, показался ему добрым и простым, но уже несколько отошедшим от жизни человеком, что, по мнению Белинского, сказывалось и на позиции журнала, в скором времени, по разным признакам, обещавшего стать архаичным. Позднее, в самом начале 1844 года, Белинский выдвинет издателям «Современника» именно такое обвинение, и это приведет к его разрыву с Плетневым. Но в первые годы жизни в Петербурге Виссарион Григорьевич иногда посещал литературные среды у Плетнева, жившего тогда на Васильевском острове. Его привлекала возможность побыть здесь в кругу тех, кто близко знал Пушкина, хотя он и не чувствовал внутреннего расположения к себе хозяина дома: Петр Александрович едва ли не как личное оскорбление воспринимал критику Белинским признанных литературных авторитетов. Уже после разрыва с Белинским Плетнев в раздражении скажет о нем и о журнале «Отечественные записки»:

— Там печатается голодная толпа мальчишек и студентов, выгнанных из разных университетов, которые

вместе с Краевским пустились против всего святого и прекрасного. А Белинский у них — главная собака, которая лает на все, что хорошо и благонравно.

С Жуковским и другими близкими Пушкину людьми Виссарион Григорьевич встречался иногда и у князя Владимира Федоровича Одоевского, в 1839 году жившего во дворовом флигеле дома Ланской на углу Мошкова переулка (ныне Запорожский пер., д. 1/3) и Большой Миллионной (ныне ул. Халтурина), а в 1840—1841 годах — на Фонтанке, у Аничкова моста, в доме Долгорукова (ныне Фонтанка, 35). Оба дома сохранились, флигеля нет.

20 ноября 1839 года Виссарион Григорьевич и Панаев обедали у Одоевского вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Сергеем Тимофеевичем Аксаковым.

С Аксаковым Белинский был знаком давно и относился к нему с большим уважением не только потому, что Сергей Тимофеевич приходился отцом его другу Константину, они были знакомы также по службе в Московском межевом институте.

— Я ценю Аксакова,— говорил Белинский,— за верное чувство поэзии и добрый благородный характер. И еще за то, что он воспитал таких прекрасных сыновей.

В доме у Аксаковых в октябре 1839 года, перед самым отъездом в Петербург, Белинский впервые увидел Гоголя, вернувшегося в Россию после трехлетнего пребывания в Италии. Теперь в сопровождении Аксакова Гоголь прибыл в Петербург, где оставался до 17 декабря. В середине ноября Белинский встретился с ним у Сергея Тимофеевича.

В этот приезд Аксакова Виссарион Григорьевич несколько раз навещал его, иногда с Панаевым. 23 ноября они встретились с Сергеем Тимофеевичем уже на Грязной улице, в доме, где жили Панаевы и Белинский.

На этом вечере присутствовали также Плетнев, Краевский, Владиславлев, Каменский, Гребенка, Языков.

Несколько встреч с Гоголем запомнились Белинскому как «отрада и отдых». Придя в очередную субботу к Одоевскому и не застав там Гоголя, Виссарион Григорьевич вдруг почувствовал, что ему «душно среди этих лиц и пустынно среди множества».

Вспоминая о встречах с писателем после его отъезда, Белинский признавался:

— Мне даже не хотелось и говорить с ним, само его присутствие давало полноту моей душе.

Но в отношении Белинского к Гоголю не было безотчетного и безоговорочного преклонения молодого критика перед известным писателем. Ведь не кто иной, как Белинский, еще в 1835 году в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», опубликованной в «Телескопе», писал, что после «Горя от ума» он не знает «ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностью и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя». Тогда же именно он объявил Гоголя будущим великим писателем. И статья эта появилась в то горькое для Гоголя время, когда, пожелав стать профессором литературы, преподавать курс по вдохновению, он стал объектом насмешек некоторых современников, считавших его неподготовленным для такой деятельности. В это же время и «Ревизор» Гоголя был холодно встречен в Петербурге.

«Неизвестно,— писал позднее Анненков,— что сталось бы с автором, впечатлительным до крайности, если бы Москва разделила сомнения и холодность петербургской публики, но здесь он встретил участие, поднявшее, как нам хорошо известно, нравственную бодрость его и сообщившее ему уверенность в своих силах. Можно думать, что Белинский уяснил самому Гоголю его призвание и открыл ему глаза на самого себя: для этого есть несколь-

ко доказательств несомненного, исторического характера».

О том же писал впоследствии И. А. Гончаров, который считал, что именно Белинский впервые указал русским читателям на гениальность и значение этого писателя в истории русской литературы. «Без него...— утверждал он,— и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой».

Однако, став известным писателем, Гоголь делался все неприступнее, и, может быть, это помешало Белинскому во время петербургских встреч установить с ним более близкие отношения, как, вероятно, и опасения Гоголя, боявшегося, что восторженное отношение критика повредит ему в глазах литературных авторитетов и знаменитостей, на которых Белинский так часто и открыто нападал в своих статьях и рецензиях.

Тем не менее популярность Виссариона Григорьевича в литературных кругах Петербурга росла; многие выражали желание познакомиться с критиком лично. Его приглашали на вечера к Одоевскому, к военному историку генерал-лейтенанту А. И. Михайловскому-Данилевскому, к чиновнику и литературному деятелю А. П. Башуцкому, к поэту и переводчику А. Н. Струговщикову, жившему в казенном доме Военного министерства на углу Малой Морской и Гороховой улиц, к украинскому писателю Е. П. Гребенке, в казенную квартиру которого (Петербургская сторона, Большая Спасская ул. — ныне ул. Красного Курсанта, 16) съезжались на украинское сало и наливки баловни петербургской славы, и среди них драматург Кукольник.

Белинский не очень охотно посещал эти вечера — только после неоднократных приглашений и напоминаний.

Однажды перед рождеством у Публичной библиотеки

он и Панаев встретили Одоевского, по обыкновению приветливого, с лицом бело-розовым, как у юноши. Белинский находил, что князь «слегка повытерся светом», но все же симпатизировал ему, ценя его ум, широкую образованность и радушие, с которым он относился к каждому новому человеку, независимо от его положения в обществе. Встречаясь с ним, Виссарион Григорьевич охотно рассуждал на философские темы, удивляя собеседника оригинальностью и смелостью суждений. Но от присутствия на больших званых вечерах в салоне князя он старался уклоняться, ибо не сочувствовал его стремлению объединить под одной крышей великосветское общество и петербургских литераторов.

— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердит на вас,— обратился Одоевский к Белинскому.

— Сказать вам правду? — отвечал Белинский.— Я ведь человек простой и в обыкновенном-то дамском обществе неловок, робею и не знаю, как себя вести. А у вас там будут аристократки... Нет, нет! Я непременно сделаю что-то не так, и вам же самому будет неудобно, что пригласили меня.

Одоевский добродушно смеялся и уговаривал, пока не добился обещания.

И все-таки в назначенное время Панаеву пришлось потратить больше часа, чтобы убедить Виссариона Григорьевича ехать к князю.

В это время Белинский жил уже не на Грязной улице, а в районе между Благовещенской площадью (ныне пл. Труда) и Сенатской (теперь пл. Декабристов). Жизнь в барском доме Панаевых, переполненном крепостной прислугой, тяготила стеснительного Белинского, и в первой половине декабря 1839 года он перебрался на Галерную (ныне Красную) улицу, на которую можно было пройти и со стороны Благовещенской площади, и со стороны Сенатской, под аркой, разделявшей здание Сената

и Синода. Виссарион Григорьевич снимал две плохо меблированные комнаты в квартире какого-то сенатского протоколиста на четвертом этаже дома — по тогдашней нумерации, скорее всего, № 25.

Здесь, на Галерной улице, в бельэтаже дома Брискорна (ныне Красная ул., 53) с осени 1831-го по май 1832 года жил А. С. Пушкин с женой, и Виссарион Григорьевич иногда специально ходил к этому дому взглянуть на «пушкинские» балконы.

Позднее в своих воспоминаниях И. И. Панаев очень живо описал сборы Белинского на встречу нового 1840 года у Одоевского:

« — Ну, да, пожалуй, черт с вами... я поеду! — сказал он, беспокойно прохаживаясь по комнате.— Что же мне надеть? — прибавил он сердито...

— Наденьте сюртук, ведь дам не будет.

Он одевался долго, кряхтел, кашлял, уверял, что больше чем когда-нибудь чувствует одышку, что не утерпит — непременно съест чего-нибудь — и от этого ему будет еще хуже.

Когда мы садились в сани, он занес ногу и сказал:

— Кажется, я делаю ужаснейшую, непростительнейшую глупость. Знакомых у меня там почти никого нет... Ну, что я буду делать?

Когда мы всходили на лестницу, он, поднявшись на несколько ступенек, остановился и произнес:

— Уж не воротиться ли мне? Это было бы самое благоразумное...

— Нет, я не отпущу вас ни за что, — сказал я решительно.

— Ну, уж нечего делать... Идемте... да не бегите так скоро по лестнице. Ведь вы так здоровы, что на вас смотреть противно, вам нипочем всходить на какую угодно высоту, а я, тихо-то идя, задыхаюсь по этим проклятым петербургским лестницам».

В двенадцатом часу они наконец появились в салоне Одоевского.

Увидев многочисленное и довольно пестрое общество, Виссарион Григорьевич побледнел, но радушный хозяин постарался успокоить и занять его.

На этот раз здесь было особенно много литераторов, среди них Жуковский, Крылов, Вяземский, Лермонтов. Все общество расположилось вокруг них. Белинский с Панаевым скромно устроились позади, у столика с расставленными на нем бутылками.

Никем не тревожимый Виссарион Григорьевич «с умилением смотрел» на Крылова, «этого старца-младенца», на «прекраснодушного» Жуковского... Увлекшись наблюдениями, он рассеянно облокотился на столик, и в ту же минуту столик опрокинулся. Белинский оказался на полу; вино пролилось на находившихся поблизости знаменитостей и больше всего на самого Белинского.

— Вот видите,— говорил Виссарион Григорьевич Одоевскому, несколько придя в себя в его кабинете,— я предупреждал, что наделаю у вас каких-нибудь неприличий,— так и случилось. Вините теперь не меня, а самого себя.

Несмотря на радушие и искренность хозяина дома, светская спесь иных его гостей заставляла Белинского остро чувствовать социальное и общественное неравенство и иронизировать по поводу мнимого сближения представителей разных сословий в салоне Одоевского. «Гм! У князя Одоевского по субботам встречаюсь с посланниками,— писал Виссарион Григорьевич Боткину, пародируя письмо Хлестакова петербургскому приятелю Тряпичкину,— и у нас уже составился вист впятером: я, немецкий, французский, итальянский и турецкий посланники».

Кто в этой карточной компании пятый-лишний, догадаться было нетрудно.

С ханжеством высших петербургских кругов в его самом неприглядном виде Виссарион Григорьевич столкнулся в доме военного историка генерала Александра Ивановича Михайловского-Данилевского, жившего в собственном доме на Исаакиевской площади.

Лакей открыл перед новым гостем дверь в залу, и Белинский увидел генерала, бегущего к нему с сияющим лицом и раскрытыми объятиями. При этом генерал кричал своей юной хорошенькой дочке:

— Надя, Надя! Ведь это сам Виссарион Григорьевич Белинский!! Кланяйся скорее, Надя, да пониже, благодари его за честь, за то, что пришел к нам...

Вскоре после вечера оказавший «большую честь» критик узнал, как шельмовал его превосходительство своего гостя, когда за ним закрылась дверь... Больше Белинский не бывал у Данилевского, несмотря ни на какие просьбы.

В самом начале 1840 года Виссарион Григорьевич как постоянный театральный рецензент был приглашен на квартиру известного водевилиста и театрального критика Федора Алексеевича Кони, жившего в доме № 44 на Фонтанке.

Издатель В. П. Поляков и редактор Кони давали обед по случаю выхода в свет первого номера «Пантеона русского и всех европейских театров».

Звучали патетическая речь Кукольника, ученое слово с латинскими цитатами поэта, драматурга и критика барона Е. Ф. Розена, претендующий на остроумие спич Булгарина. Все речи были посвящены театральному искусству. Особенно много комплиментов выпало на долю присутствовавшего на обеде Василия Андреевича Каратыгина, любимца императорского Петербурга, последователя классических театральных традиций.

Величественный, внушительного роста артист отвечал на похвалы прекрасно поставленным густым басом. Вдруг

в общий хор включился негромкий хрипловатый и скептический голос Виссариона Григорьевича. Каратыгин и раньше знал, что Белинский предпочитает его строго размеренной профессиональной игре «неровного, но едва ли не гениального» П. С. Мочалова. Он не забыл и сейчас не мог простить этому молодому критику его холодноватые отзывы о гастролях Каратыгиных в Москве.

Обиженный артист не удержался:

— Я слишком долго служу искусству, моя игра признана всеми настоящими ценителями театра,— заявил он.— И вряд ли мне будет полезно учиться у мальчиков, едва оставивших школьную скамью и еще очень далеких от критической зрелости.

Как обрадовался Булгарин, который пользовался всяким случаем, чтобы ужалить «Отечественные записки» и этого Белинского. Уж он сейчас добавит этому «жалкому студенту», «выгнанному из университета», этому «выскочке», который осмеливается нападать на всеми почитаемые авторитеты!..

— Что взять с этих глупых журналов,— спокойно и чуть снисходительно начал Булгарин, как и подобает пятидесятилетнему человеку с его положением.— Печатают с ума свихнувшихся новых «пророков» искусства и не понимают, что попросту смешат порядочных людей.

Фаддей Венедиктович улыбнулся и широко развел руками, как бы призывая всех присутствующих в свидетели, и искоса коротко сверкнул взглядом в сторону Белинского.

Тот, мигом покраснев и вскочив со стула, выкрикнул:

— Так это вы — истинный ценитель искусства? Порядочный человек?..

Булгарин побагровел и, уже не сдерживаясь, вдвоем с Каратыгиным кричал на Белинского. Виссарион Григорьевич бросал меткие беспощадные реплики, еще больше распалявшие его противников.

Все задвигали стульями, зашумели. Кони, Кукольник, Розен метались между спорящими, пытаясь остановить ссору. Но все старания были напрасными: с вопросов искусства спор перешел к куда более острым вопросам общественной морали, принципиальности и чести.

Не присутствуй на этом обеде журналист и издатель И. Л. Песоцкий, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Он вызвал в переднюю молодого композитора Юрия Арнольда и попросил его сыграть на рояле украинскую песню.

Как только Арнольд заиграл, Песоцкий, в шубе, вывернутой мехом наружу, в высокой меховой шапке, с приклеенными длинными усами, распахнул дверь и, изображая пьяного, пританцовывая и распевая «Ой бул, да нима...», пошел прямо на споривших. Эта неожиданная шутка сделала свое дело: спор прекратился, все разошлись по своим местам; только Каратыгин, ни на кого не взглянув, направился к двери...

«Познакомился я почти со всеми литераторами, и все меня очень хорошо приняли,— писал Белинский своему родственнику Дмитрию Петровичу Иванову.— Со всем тем хоть бы сейчас в Москву, чтобы и не возвращаться в Петербург».

На Галерной Виссарион Григорьевич прожил лишь месяц. Комнаты от жильцов, которые он снимал, были мало удобны. Особенно раздражали шум и разговоры, доносившиеся к нему и мешавшие сосредоточиться. В январе 1840 года Виссарион Григорьевич снял квартиру из двух комнат на Большом проспекте Петербургской стороны. Никаких следов от этого дома на нынешней Петроградской стороне не сохранилось, и определить его местонахождение невозможно.

В середине прошлого века эта часть города была окраинным захолустьем. Вот как описал ее в своих «Литературных воспоминаниях» А. М. Скабичевский: «Немоще-

ные, обросшие травою улицы, непролазно грязные осенью и весною, пыльные летом и тонущие в глубоких сугробах зимою, с высокими дырявыми мостками вместо тротуаров; приземистые старенькие домишки с высочайшими, почти отвесными тесовыми и черепичными кровлями, покрытыми мохом и травою, с покосившимися воротами... лабиринт глухих, кривых, безлюдных переулков и закоулков; масса садов, огородов и заросших бурьяном пустырей... все это напоминало именно захолустный заштатный городишко, а не уголок европейской столицы... Это был своеобразный мирок отставных и заштатных чиновников... убогих кумушек-салопниц... горемычных домовладельцев... ежедневно рисковавших быть погребенными под развалинами своих ветхих домишек».

Квартира Белинского оказалась сырой и холодной, и только кабинет бывал жарко натоплен. В нем между двумя окнами стояло бюро, у противоположной стены на расстоянии пяти-шести шагов — кушетка, у изголовья ее — маленький столик. Здесь, над рукописями и книгами, Виссарион Григорьевич проводил большую часть дня.

Однако жить вдали от редакции «Отечественных записок» было неудобно. Петербургская сторона соединялась с центром наплавным Троицким мостом, который снимался не только в осеннее ненастье, когда городу грозило наводнение, и в дни весеннего ледохода, но и для пропуска кораблей (лишь в 1897—1903 гг. его заменили постоянным металлическим мостом, который с 1934 года носит имя С. М. Кирова).

В начале февраля 1840 года Виссарион Григорьевич снова переменил квартиру, воспользовавшись дружеским приглашением Павла Федоровича Заикина, отставного гусарского офицера, брата декабриста.

Познакомил их Михаил Бакунин. И Белинский нашел в Заикине человека глубокого и вместе с тем скромного и сострадательного к чужой судьбе.

Павел Федорович жил в деревянном доме на Моховой улице (теперь на этом месте стоит каменный дом № 11). Совместное проживание под одной крышей сдружило его и Виссариона Григорьевича.

Заикин собирался ехать в Берлин и звал с собой Белинского, предлагая оплатить все его расходы по поездке. Виссарион Григорьевич охотно откликнулся на это предложение и начал было брать у Павла Федоровича уроки немецкого языка, но от поездки за границу ему все-таки пришлось отказаться: слишком много неотложной работы было в журнале.

Живя у Заикина, Белинский не обзаводился никаким хозяйством, откладывая все это на то время, когда после отъезда Павла Федоровича переберется на «свою квартиру».

Петербургских знакомых Виссарион Григорьевич первое время мерил привычным московским аршином, придирчиво сравнивая их с прежними друзьями, и тосковал. «Люди в Питере,— досадовал он,— не те, что в Москве, образованность лаковая, внешняя, а внутреннего одно — корысть, мелкодушие и невежество. Впрочем, везде не без добрых людей, и в Питере есть хорошие люди, которых я называю *московскими колонистами,* хотя иные из них и в глаза не видели Москвы».

Иван Иванович Панаев понимал, как тяжело Белинскому, вырванному из привычного круга московских друзей, хотя те и приезжали иногда в Петербург по своим служебным делам. Он ввел Виссариона Григорьевича в знакомые дома и сам забегал к нему чуть не каждый день. По субботам да и в другие дни Белинский нередко ходил к Панаевым, сначала на Грязную улицу, потом к Пяти Углам, против Коммерческого училища, в дом Пшеницыной, куда они переехали от матери Панаева. Авдотья Яковлевна встречала его с неизменной теплотой и участием. На дружеских вечерах у Панаевых Виссарион Гри-

горьевич чувствовал себя спокойно и уютно. Кто бы ни пришел к Панаевым, какая бы знаменитость незвано ни заглянула, для хозяев он всегда оставался искренне любимым и ценимым человеком.

Вскоре после приезда в Петербург Белинский завязал близкое знакомство с Николаем Александровичем Бакуниным и Михаилом Александровичем Языковым, директором стеклянного завода. С первым он читал вслух Гомера, Шекспира и Пушкина и обнаружил в нем «мужественный дух, сильный и гордый, жаждущий жизни для жизни, кипящий деятельностию, а не фантазиями...» Со вторым, веселым и остроумным человеком, Виссарион Григорьевич, как и с Панаевым, виделся особенно часто в продолжение всей своей петербургской жизни, а в первое время после переезда из Москвы — почти ежедневно. (Языков жил в собственном доме на Столярной улице, 4.)

С весны 1840 года Виссарион Григорьевич стал делить субботние вечера между великосветским салоном В. Ф. Одоевского, дружескими вечерами у Панаевых и шумными собраниями у поэта Александра Александровича Комарова, преподававшего словесность во Втором кадетском корпусе. В его казенной квартире на Петербургской стороне, на Большой Спасской улице (ныне ул. Красного Курсанта), собиралось много народа.

— Моя натура,— признавался Белинский,— требует таких дней. Раз в неделю мне надо быть в многолюдстве, молодом и шумном.

Изредка, по вторникам, уступая настойчивым просьбам Александра Александровича, Виссарион Григорьевич отправлялся к его родственнику Александру Сергеевичу Комарову, профессору Института путей сообщения, жившему на Грязной улице, 15 (позднее Стремянная. Грязных улиц в старом Петербурге было несколько).

И хотя хозяин выписывал всевозможные иностранные журналы и книги и всегда имел наготове какую-нибудь самую свежую новость о том, что делается в Европе, Белинский не любил бывать здесь. Его раздражала некоторая назойливость профессора.

На товарищеской субботней встрече у Александра Александровича Комарова Белинский познакомился с Павлом Васильевичем Анненковым, давним и близким знакомым Гоголя.

Зная Белинского только по страстным полемическим статьям, Анненков ожидал увидеть человека сурового, резкого и властного и приятно удивился, когда обнаружил в нем скромность и простоту без каких-либо намеков на позу или диктаторство а, наоборот, с признаками робости и застенчивости.

Однако уже при первом знакомстве он заметил, что ни эта неловкость, ни робость и застенчивость Белинского не допускали «и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошеных услугах какого-либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу».

Виссарион Григорьевич обратил внимание на широкую эрудицию Павла Васильевича, прекрасное знание им французской философии, литературы и публицистики. Особенно важно для него было знакомство Анненкова с социалистическими идеями Западной Европы. (Позднее, в 1846 году, Анненков лично познакомится с Марксом и Энгельсом, будет с ними переписываться.)

Белинский с уважением и теплотой отнесся к своему новому знакомому, человеку пытливого ума и передовых взглядов. 13 июня 1840 года он напишет о нем в Москву Боткину: «Доставитель этого письма, г. Анненков, мой добрый приятель, хоть я виделся с ним счетом не больше десяти раз. В каком бы ты ни был состоянии духа, ты

должен принять его радушно — для меня. Если же ты будешь хоть сколько-нибудь в состоянии выйти из себя хоть на минуту, ты увидишь, что это бесценный человек, и полюбишь его искренно».

После отъезда Заикина за границу в мае 1840 года Белинский некоторое время (до ноября) снимал две комнаты на втором этаже тогда трехэтажного каменного дома купца Алексеева на углу Малого проспекта и 6-й линии Васильевского острова (ныне дом 15б/53; надстроен). Сюда в середине октября приехал к Белинскому из Воронежа Алексей Васильевич Кольцов.

Они были знакомы с 1831 года. Весной 1835-го в Москве под наблюдением Белинского был отпечатан первый сборник поэта — «Стихотворения Алексея Кольцова», а затем, в декабрьской книжке «Телескопа», появилась статья, в которой Белинский горячо рекомендовал читателям молодого талантливого автора. Они не раз встречались; критик содействовал публикации стихотворений Кольцова, а Кольцов в свою очередь чем мог помогал Виссариону Григорьевичу. Например, участвовал в налаживании связей Белинского с Краевским, вел переговоры с Н. А. Полевым о публикации его статьи о Мочалове в роли Гамлета.

Трудно дышалось Кольцову в родном доме. Близкие не понимали его, считали его творчество вздором. «Жизнь, на служение которой хотел бы посвятить себя всего,— писал поэт Виссариону Григорьевичу,— напрасно призывает в свой тесный угол; демон матерьялизма не пущает. И так проходят месяцы, годы, и золотое время гублю, на что попало».

Белинский хотел, чтобы Алексей Васильевич перебрался на жительство в Петербург, и они не однажды обсуждали в письмах связанные с этим проблемы. Но и в этот раз Кольцов приехал ненадолго, по торговым, тяжебным делам отца.

Отношения между ними были самые простые, без тени фальши или натянутости. Присутствие в доме Кольцова радовало Белинского. Виссарион Григорьевич чувствовал, что от общения с этой богатой и благородной душой он сам как будто ожил и окреп. Он решил, что непременно напишет об этом человеке и поэте.

Но большую статью о жизни и творчестве Кольцова Белинский написал только через шесть лет, уже после его гибели. Это было предисловие к «Стихотворениям Кольцова», изданным им совместно с Н. А. Некрасовым и Н. Я. Прокоповичем — поэтом, преподавателем русской словесности.

В этой статье критик поделился с читателями и своими воспоминаниями о поэте. «В дружбе он не знал расчета и эгоизма,— писал Белинский.— Грубая и грязная действительность, в среду которой втолкнула его судьба, как неизбежной жертвы, требовала от него и поклонов, и унижения, и лжи, и всех изворотов мелкого торгашества; но он и тут умел сохранить свое человеческое достоинство и всегда держаться неизмеримо выше людей своего сословия, находящихся в таком же положении. Внутренне он всегда оставался чист от этой грязи и ничего из нее не внес в задушевный мир своей жизни. Всегда готовый одолжить близкого человека, он избегал всякого случая одолжиться им: его пугала одна мысль внести расчет в чистоту дружественных отношений, и с этой стороны он доходил до ребячества».

Однажды Анненков спросил Белинского:

— Вы замечали, с каким покорным вниманием неофита Алексей Васильевич слушал других писателей?

Виссарион Григорьевич покачал головой и задумчиво проговорил:

— Не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов, с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной куль-

туры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно.

Именно поэтому Кольцов так привязался к Виссариону Григорьевичу, ловил его мысли и предан ему был всей душой.

— Какой светлый ум и горячее, благородное сердце у этого человека! — говорил Алексей Васильевич о Белинском Панаеву.— Я обязан всем ему; без его советов я не печатаю моих мараний: он мне всегда говорит, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Белинский — единственный, кто у нас сегодня владеет эстетическим вкусом и понимает искусство.

С петербургскими литераторами — Пушкиным и его друзьями Вяземским, Жуковским, Одоевским — Кольцов познакомился в свои прежние приезды в столицу, за полтора-два года до появления там Белинского. С каким восторгом, почти со слезами на глазах рассказывал он Виссариону Григорьевичу о радушном приеме, который оказал ему великий поэт. Позднее, после гибели Пушкина, именно Белинский много сделал для сближения Кольцова с кругом «Отечественных записок» и для широкого признания его самобытного таланта. Он же содействовал и встречам поэта с музыкантами.

В этот приезд Кольцова в Петербург Белинский познакомил его с композитором и музыкантом Юрием Арнольдом, навестившим Виссариона Григорьевича в его квартире на Малом проспекте.

— Вот, Арнольд, вот у кого берите стихи для написания музыки, — сказал Белинский, указывая на Кольцова, и шутливо добавил: — Если поймете его да угодите под слова, я и впрямь вас почту за истого русака; но коли не потрафите, буду вас немцем звать, хотя бы вы там пожаловались на меня и целой сотне Бенкендорфов.

Арнольд не стал отказываться и просил посоветовать, какое стихотворение выбрать.

— Ну, Алексей Васильевич, скажите, какую дадите вы ему песенку? — спросил довольный Белинский.

— Да почто же мне им еще назначать-то? Они лучше моего знают, что годится для музыки; сами выберут,— отвечал поэт. Но потом все же сознался, что особенно любит «Не шуми ты, рожь, спелым колосом» — стихотворение, которое написал на смерть любимой девушки.

Белинский тут же на память прочел эти стихи:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!

Мне не для чего
Собирать добро,
Мне не для чего
Богатеть теперь!

Прочил молодец,
Прочил доброе,
Не своей душе —
Душе-девице.

Сладко было мне
Глядеть в очи ей,
В очи, полные
Полюбовных дум!

И те ясные
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Красна девица!

Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!

Через день Белинский и Кольцов явились к Арнольду и с восторгом прослушали готовую песню в исполнении композитора. Кольцов со слезами принял в подарок от него ноты с надписью: «Высокопочитаемому поэту от музыкопевца на память».

Был растроган и Виссарион Григорьевич.

— По кличке хотя вы и немец,— сказал он Арнольду,— а душа-то впрямь у вас русская! Рублем подарили! Спасибо вам и за него и за меня!

7 ноября вместе с Кольцовым Белинский перебрался в новую квартиру, тоже на Васильевском острове, но поближе к центру. Он поселился в квартире № 7 в отдельном флигеле во дворе дома № 4 по 2-й линии, против Академии художеств. Ни дома Бема, ни флигеля, где была квартира Белинского, не сохранилось. Теперь на этом участке стоит большой каменный дом № 3.

27 ноября Кольцов уехал. «И вот опять никого со мною,— писал Белинский Боткину,— опять я один,— и пуста та комната, где еще так недавно мой милый Алексей Васильевич с утра до ночи упоевался чаем и меня поил!»

Одиночество, которое порою остро ощущал Виссарион Григорьевич в своей пустой квартире, скрашивали встречи с Кириллом Антоновичем Горбуновым, Кирюшей, как звал его Белинский. Это был едва ли не самый популярный в литературных кругах тех лет художник-портретист. Может быть, именно Горбунов посоветовал Виссариону Григорьевичу перебраться в дом Бема, где жил сам.

Крепостной чембарской помещицы Владыкиной, Горбунов четырнадцатилетним мальчиком был отдан в Московский художественный класс и там, в Москве, сблизился с кружком Станкевича, особенно подружась с Белинским и Боткиным. В 1838 году он начал писать акварельные портреты знакомых литераторов, и одним из первых — Белинского.

Весной 1840 года Белинский содействовал переезду Горбунова в Петербург и помог ему поступить в Академию художеств.

Они нередко навещали друг друга. Кирилл Антонович копировал тогда «Мадонну» Анджело Бронзино, итальянского художника XVI века. Белинский считал это полотно гениальным и с интересом следил за работой своего друга.

— Ваша копия,— говорил он художнику,— измучила меня наслаждением.

В апреле 1840 года Белинский сообщал Боткину: «Кирюша... не может расстаться ни на минуту с Брюлловым, который очень полюбил его». А в декабре ему же писал о том, что Кирюша становится желанным человеком в аристократических домах, «пустился в знать», рисует портреты с князя Всеволожского, его жены и ее родни, представлен Одоевскому и Жуковскому и последний хочет писать к его барыне.

Об освобождении Горбунова от крепостной зависимости хлопотал и К. П. Брюллов, но отпускная была дана только 31 марта 1841 года.

Позднее Горбунов дважды писал портрет Белинского. Портрет маслом (без даты), хранящийся в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, признан лучшим портретом великого критика.

По просьбе Виссариона Григорьевича Горбунов сделал для него копию с портрета Станкевича. Эта копия висела во всех квартирах Белинского в Петербурге.

В число своих петербургских друзей Виссарион Григорьевич не включал Краевского, хотя отзывался о нем с большим уважением.

— Это человек дела,— говорил он,— сотрудников заставляет работать, но и сам работает до кровавого пота.

И цель поставил благородную — бороться со страшною действительностью.

Весной 1840 года Белинский несколько раз просит московских друзей помочь Краевскому, ссудить ему от 5 до 15 тысяч для укрепления положения «Отечественных записок». Иногда он навещает редактора-издателя в двухкомнатной квартире, которую тот с женой снимает на углу Невского проспекта и Фонтанки в доме купца Лопатина (ныне Невский пр., 68). В один из дней масленицы, 23 февраля 1840 года, Краевский с Белинским, Панаевым и Языковым провели вечер в ресторане Палкина на Невском в доме № 47 (ныне в этом здании находится кинотеатр «Титан»). Но истинной дружеской близости между ними не было, да и не могло быть при тех экономических отношениях, которые установил редактор со своими сотрудниками.

Надежды Белинского на улучшение материального положения не оправдывались. Он был должен московским друзьям, московской квартирной хозяйке Дарье Титовне и постоянно возвращался в письмах своим московским адресатам к этому больному, тревожившему его вопросу.

Денежные отношения с редактором «Отечественных записок» складывались далеко не так, как хотелось бы и как мог ожидать Виссарион Григорьевич. Он оставался по-прежнему в тисках нужды. А ведь ему еще надо было помогать приехавшему в Москву брату Никанору.

Виссариону Григорьевичу пришлось искать дополнительных заработков, и в августе 1840 года он согласился на предложение издателя и книгопродавца Василия Петровича Полякова — одного из устроителей обеда в честь выхода журнала «Пантеон» — написать «историю русской литературы с пиитикой». Белинский не раз встречался с Поляковым в его книжном магазине на Невском проспекте в доме графини Строгановой (ныне Строитель-

ный банк) и в лавке в Гостином дворе, по Суконной линии (ныне Невская линия), куда он приходил покупать книги. Поляков обещал ему четыре тысячи рублей ассигнациями, но, заваленный срочной работой в «Отечественных записках», Виссарион Григорьевич не смог выполнить этот заказ...

Встречи, встречи... Сколько их было только за первый год пребывания Белинского в Петербурге! Они много давали ему, но и сам он поражал тех, с кем встречался, неустанной, быстро бегущей вперед работой мысли. Как замечал Анненков, «с каждой новой встречей он уже стоял не там, где его видели накануне...».

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ОБЩЕСТВОМ»

Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ



Впечатления, которые давала николаевская столица, постепенно подтачивали прекраснодушие, или, как иногда говорил Виссарион Григорьевич, москводушие, с которым он приехал в Петербург. Уже 22 ноября 1839 года Белинский просил Боткина: «Скажи Грановскому, что, чем больше живу и думаю, тем больше, *кровнее* люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая начинают приводить меня в отчаяние — грязно, мерзко, возмутительно — нечеловечески...»

В Петербурге острее, чем в Москве, чувствовались социальные противоречия, власть денег, эгоизм и тщеславие одних и униженное, жалкое существование других. Зимой 1840 года на Невском проспекте поднялось новое здание — дом графини Завадовской, жены сенатора. (В 1846 году рядом, на дворовом участке графини, была построена галерея протяженностью более 180 метров — магазин «Пассаж».) Дом Завадовской представлял собой «неописуемое по богатству собрание всех возможных

сокровищ моды и роскоши», которое удивило даже Николая I.

Парадный, дворцовый Петербург и его окраины поражали резкостью контрастов.

— А нищих-то здесь, пожалуй, больше, чем в Москве,— заметил как-то Виссарион Григорьевич, идя с Панаевым по городу.

— Да,— согласился Иван Иванович.— Особенно много их бывает в рождественские праздники.

В Петербурге остро чувствовалось, насколько далеки друг от друга люди разных социальных групп — словно говорящие на разных языках.

То и дело Белинский сталкивался с фальшью и лицемерием по отношению к низшим сословиям даже в поступках тех, кого причислял к кругу передовых людей.

Зайдя как-то на страстной неделе к Панаевым, Белинский с удивлением заметил, что подали постные блюда.

— Давно ли вы сделались так богомольны? — спросил он.

— Мы едим постное для людей,— отвечали хозяева.

— Для людей? Зовите их, я им скажу, что они обмануты. А вам — стыдно, господа! Открытый порок всегда человечнее этого ханжества, поддерживающего невежество. И после этого вы думаете, что вы свободные люди?..

Виссарион Григорьевич по временам испытывал отчаяние, наблюдая «разумную» петербургскую действительность.

— Куда ни взглянешь,— говорил он,— сердце кровью обливается.

В начале 1840 года Белинский уже признавался, что его вера в разумность существующей действительности сильно поколеблена. «В душе моей,— писал он в феврале Боткину,— сухость, досада, злость, желчь, апатия, бешенство и пр. и пр. Вера в жизнь, в духа, в действительность

отложена на неопределенный срок — до лучшего времени, а пока в ней — безверие и отчаяние».

Немалое значение имела встреча с М. Ю. Лермонтовым, арестованным за дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. Она состоялась в апреле 1840 года в Ордонансгаузе (ныне в этом здании, на углу Садовой и Инженерной ул., находится Управление военного коменданта города Ленинграда).

Теперешнего рядом расположенного здания Государственного музея этнографии народов СССР тогда не существовало. Во времена Белинского на этом месте находился восточный флигель, конюшенный и прачечный корпуса Михайловского дворца, великолепный фасад которого протянулся за высокой чугунной решеткой в глубине большого парадного двора (ныне Государственный Русский музей).

Простое и строгое здание Ордонансгауза, построенное в стиле классицизма, выделялось интересным решением дворовых фасадов: два нижних этажа были украшены открытыми аркадами-галереями, верхний — колоннами.

У Лермонтова никого не было. Возможность поговорить с ним наедине обрадовала Белинского и освободила от смешанного чувства ожидания и настороженности, с которым он шел к поэту. Ему было важно побеседовать с Лермонтовым сейчас, когда он уже начал писать статью о романе «Герой нашего времени»...

...Детские годы Белинского прошли в уездном городе Чембаре Пензенской губернии. В шестнадцати верстах от Чембара находилось небольшое поместье бабушки Лермонтова Е. А. Арсеньевой. Там прошли детские годы поэта. И Лермонтов и Белинский росли в окружении живописной природы приволжской полосы средней России, оба хорошо знали крепостнические нравы и быт Чембарского уезда. В начале 30-х годов Виссарион Григорьевич встречал Лермонтова в Московском университете, но познако-

мились они только летом 1837 года в Пятигорске. Тогда у них разгорелся ожесточенный спор о Вольтере и Дидро. Острые шутки и парадоксы Лермонтова раздражали Белинского, и расстались они неприязненно, что, впрочем, не помешало критику внимательно следить за каждым новым произведением любимого поэта.

— Мне кажется,— говорил Белинский,— что после Пушкина и Гоголя это будет третий великий русский поэт.

Виссарион Григорьевич высоко оценил опубликованные в 1839 году в «Отечественных записках» стихотворения Лермонтова «Ветка Палестины» и «Не верь себе». Первое особенно поразило его художественностью своей формы, второе — глубиной содержания и удивительным, могучим выражением его. Прочитав стихотворение «И скучно, и грустно», написанное в начале 1840 года, Виссарион Григорьевич причислил его к величайшим созданиям поэзии.

Поначалу он сдержанно отнесся к «Думе» и «Поэту», найдя в них строки, говорящие о несколько абстрактном, как ему показалось, «прекраснодушии».

Во время серьезной и душевной беседы с Лермонтовым в Ордонансгаузе Белинский открыл в нем столько редких прекрасных качеств, такую силу ума и духа, такой честный и мужественный взгляд на действительность, что и от недоразумений пятигорской встречи, и от сомнений в идеях «Думы» и «Поэта» не осталось следа. Он был восхищен, очарован личностью поэта, ее зрелостью и значительностью.

«Глубокий и могучий дух! — под свежим впечатлением написал Боткину Виссарион Григорьевич.— Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! <...> Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было ви-

деть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества».

Осенью 1840 года вышел в свет сборник «Стихотворения М. Лермонтова». В статье, посвященной разбору этого сборника, Белинский внес поправки в свое прежнее суждение о «Думе». «Эти стихи,— утверждал он,— писаны кровью; они вышли из глубины оскорбленного духа; это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?...» Позднее, в статье «Разделение поэзии на роды и виды», опубликованной в третьей книжке «Отечественных записок» за 1841 год, Белинский писал о стихотворениях «Дума» и «Не верь себе» как о лучших образцах русской сатиры.

Называя Лермонтова великим и оригинальным поэтом, Белинский предвидел возражения некоторых читателей и поэтому в своей статье «Стихотворения М. Лермонтова» скептически добавил: «Знаем, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить резко и определенно то, чему сначала никто не верит, но в чем скоро все убеждаются, забывая того, кто первый выговорил сознание общества и на кого оно за это смотрело с насмешкою и неудовольствием...»

Виссарион Григорьевич знал «Думу» наизусть, беспрестанно заводил о ней разговор, цитируя мужественно-беспощадные слова поэта:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
. . . .
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Четырехчасовой разговор с Лермонтовым в Ордонансгаузе имел для Белинского большое принципиальное значение. Личность поэта, все его творчество, полное духа сомнения и отрицания, решительно противостояли ошибочной идее примирения с существующей «разумной» действительностью. Виссарион Григорьевич уже не просто сомневался, он понимал недостаточность этой идеи, необходимость дополнить ее, и потому резкие слова поэта о николаевской действительности падали на благодатную почву.

В Петербурге Виссарион Григорьевич скоро понял, как, в сущности, еще далеки были от настоящей жизни с ее суровыми порядками те философские споры об идеальном, которые он слышал и, бывало, сам не раз затевал

в кругу московских друзей. «В Питер бы вас, дураков,— грозил он москвичам,— там бы вы поумнели, там бы вы узнали, что такое российская действительность и российская публика».

Современный исследователь «Отечественных записок» В. И. Кулешов справедливо утверждает, что лермонтовская «Дума» рассматривалась Белинским и его современниками как программная декларация журнала в поэтической форме. «Своими медитациями и афоризмами, — пишет он, — она вошла в повседневную речь людей 40-х годов и вызвала большое количество подражаний и ответов. Значение «Думы» для обновленных «Отечественных записок» состояло в том, что она решительно отталкивалась от апологетических высказываний других русских журналов о политике официальной народности, пытавшейся представить настоящее России блестящим. Вместе с тем своим беспощадным анализом «Дума» ударила по бесплодному пессимизму, отчаянию, вызванному политической реакцией в стране, а также по ложному оптимизму умозрительных примирений с тогдашней действительностью... В сущности, в «Думе» была поставлена задача, которую «Отечественные записки» должны были решить также и средствами публицистической и поэтической пропаганды... В основе «Думы» лежит характерная для всей последекабристской эпохи идея: вне общества, вне народа никакая деятельность невозможна; но тут же поставлен вопрос о том, что это за «общество», с кем и куда идти?»

...Первое петербургское лето. В городе было душно и пыльно. Но Виссарион Григорьевич не решился снять дачу из-за обилия работы и еще больше из-за безденежья.

Малые реки и каналы, которыми так изобиловала северная столица, почти не давали жителям прохлады и облегчения в летний зной: запруженные барками, живорыбными садками, плотами для стирки белья, через подземные каналы вбиравшие в себя еще и нечистоты из

близлежащих густонаселенных кварталов, они текли лениво, едва заметно, местами издавая тошнотворный запах. Только по берегам широкой полноводной Невы не ощущалась летняя духота, да еще в те дни, когда ветер с Финского залива приносил в город освежающее дыхание моря.

Состоятельных жителей в это время в городе оставалось немного. Чиновники тоже стремились вывезти свои семьи на дачи, хотя бы дачи эти и походили на собачьи конуры. Те, кто почему-либо оставался в столице, да временные пришлые рабочие, число которых иногда доходило до 75 тысяч, в редкие свободные дни искали отдыха на берегу Невы, залива или в садах. Но больших садов, открытых для публики, было немного: Летний, Ботанический, Екатерингофский (ныне Сад имени 30-летия комсомола). Вход в Летний сад был ограничен соответствующими инструкциями о внешнем облике посетителей: нельзя было «простому... народу, как-то мужикам, проходить через сад на работы или с работ». Запрещалось вплоть до 1917 года появляться в саду и нижним воинским чинам. Сапоги и картуз официально были признаны одеждой, неподобающей для посещения Летнего сада. В другие закрытые сады можно было попасть только после предъявления специального билета, полученного в Гоф-Интендантской конторе.

Белинский жил в это лето на Васильевском острове на углу Малого проспекта и 6-й линии. Несколько раз он ездил отсюда на дачу к Краевскому в Павловск по первой в России железной дороге, открытой в 1837 году.

Маету Белинского в городе неожиданно скрасил приезд Герцена, после долгих хлопот поступившего на службу в министерство внутренних дел.

Не забыв разногласий 1839 года, Александр Иванович поначалу не стремился к встрече, как, впрочем, не стремился к этому и Белинский.

Их спор о «разумности» действительности, начавшийся в Москве после возвращения Герцена из ссылки, а в связи с этим и их личные взаимоотношения осложнились встречей в Петербурге в декабре 1839 года, когда Александр Иванович, по желанию отца, приехал хлопотать о поступлении на службу. Белинский ждал тогда встречи с ним, желал ее, хотя после недавней московской размолвки опасался за исход.

Так и случилось. Герцен прочитал его примиренческие статьи, в том числе «Очерки Бородинского сражения», опубликованные в декабрьской книжке «Отечественных записок» и попавшие ему в руки на другой день после приезда в Петербург. Все же, несмотря на охватившее его возмущение, он отправился к Белинскому.

Виссарион Григорьевич так обрадовался приезду Герцена, что не сразу заметил, как непривычно — настороженно и даже как будто скованно — держится с ним Александр Иванович.

— Я прочитал вашу новую статью о Бородине. Это... это отречение от прав разума.

Белинский стал спорить. И вдруг сказал:

— Пора нам, братец, посмирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дряныо перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история.

Герцен даже не стал возражать и, потрясенный, молча удалился. «Это какое-то непонятное и чудовищное самоубийство»,— думал он.

Веруя тогда в свою правоту, Белинский продолжил спор с Герценом и в следующей статье — «Менцель, критик Гете», опубликованной в январском номере журнала за 1840 год. (Это была первая статья, которую Краевский напечатал под полным именем критика.)

В январе 1840 года Герцен снова приехал в Петербург, но ни он, ни Белинский не стали искать встречи...

В этот приезд Герцена — летом 1840 года — Кетчер и Огарев, огорченные его размолвкой с Белинским, снова и снова принимались убеждать Александра Ивановича и наконец уговорили: встреча состоялась. Общие друзья назвали ее свиданием Суворова с Наполеоном.

Оба сначала чувствовали себя неловко, почти отчужденно, разговор вяло кружился вокруг каких-то несущественных предметов. Но вот Герцен упомянул одну из «примиренческих» статей Белинского, и тот, покраснев, очень добродушно сказал:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у Краевского, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер. «Да».— «Нет, покорно благодарю»,— сухо сказал он. Я слышал все и не мог вытерпеть,— я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше?

Мир между друзьями был восстановлен... «С этой минуты и до кончины мы шли с ним рука в руку»,— писал Герцен.

Они стали охотно навещать друг друга, и Герцен все больше привлекал Белинского.

Александр Иванович жил на третьем этаже дома Лерхе на углу Большой Морской и Гороховой улиц (ныне дом № 25 по ул. Герцена, на углу ул. Дзержинского). Часто, устав от работы, Белинский приходил сюда поговорить о сокровенном или просто отдохнуть. Он с удовольствием часами играл, лежа на полу, с двухлетним сыном Герцена Александром, пока не раздавался звук колокольчика и не приходил кто-нибудь посторонний, тогда

Виссарион Григорьевич начинал в беспокойстве искать шляпу.

Герцен в свою очередь нередко являлся к Белинскому — на Васильевский остров, сначала в дом на углу Малого проспекта и 6-й линии, где Виссарион Григорьевич жил до ноября 1840 года, а затем — в квартиру № 7 во флигеле дома № 4 по 2-й линии, что было гораздо ближе к Невскому. Весь путь пешком занимал не более получаса — через Сенатскую площадь и по наплавному Исаакиевскому мосту.

В начале 40-х годов XIX века на Васильевский остров из центра можно было пройти только по наводному Исаакиевскому мосту, который держался на плашкоутах — специальных плоскодонных с высокими бортами барках, убиравшихся во время ледохода. Когда надо было пропустить корабль, плашкоуты отводились в сторону — один, два, три, в зависимости от величины судна. До наших дней сохранились лишь устои моста напротив памятника Петру I и Академии художеств.

Теперь Белинский и Герцен встречались и беседовали как единомышленники. И Александр Иванович держался дружески-непосредственно, приходя, он от нетерпения «обрывал» звонок, а переступая порог квартиры, на ходу сыпал остротами, смеша кухарку...

Летом 1840 года Виссарион Григорьевич окончательно отказался от гегелевской идеи примирения с «разумной действительностью». Конечно, ему помогли встречи и споры с Герценом, которые подталкивали к внимательной проверке собственных позиций. Ему помог откровенный разговор с Лермонтовым... Но главное — близко увиденная Белинским «гнусная» петербургская действительность.

Петербург стал городом возмужания критика, городом, в котором он до конца честно и стойко прошел свой нелегкий путь.

«В Петербурге,— писал он 13 июня 1840 года В. П. Боткину,— с необитаемого острова я очутился в столице, журнал поставил меня лицом к лицу с обществом,— и богу известно, как много перенес я! Для тебя еще не совсем понятна моя вражда к *москводушию,* но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе. Меня убило это зрелище общества, в котором властвуют и играют роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове».

Жизнь в столице давала Белинскому достаточно поводов для вызревания и укрепления в нем идеи отрицания существующей действительности.

— Мне тяжело здесь,— говорил он.— Нет в мире места гнуснее Питера, нет поганее питерской действительности. Никогда и нигде я так не страдал и не мучился, но пребывание в Питере для меня необходимо. Петербург — та страшная скала, о которую больно стукнулось мое прекраснодушие. Здесь я не засну, не остановлюсь в покое и бездействии. Теперь я глубже чувствую жизнь, больше понимаю ее противоречия. Во мне стало больше духовного. Нет, я не потерял, приехав сюда, а, наоборот, многое приобрел.

За все это Виссарион Григорьевич был готов благодарить Петербург:

— Как бы ни было мне сейчас тяжело, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусные финские болота.

С лета 1840 года в его переписке рядом с проклятиями по поводу петербургской жизни все чаще повторяется мотив благодарности городу за мужание: «К Питеру притерпелся. Спасибо ему. Я уже не узнаю себя и вижу ясно, что́ надо в себе бить: это его дело».

При способности до крайности чем-либо увлекаться, безоглядно во что-либо верить Белинский никогда не бы-

вал вполне доволен собой и поэтому то и дело безжалостно и ни от кого не таясь расставался или с какой-нибудь чертой в своем характере или с ошибочным верованием и убеждением. Мужественный и беспощадный к себе, он был в постоянном совершенствовании, в движении вперед, к истине, справедливости и добру.

— Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем,— говорил Виссарион Григорьевич.

Он удивительно чувствовал истину и из жизни, которую наблюдал, умел делать выводы.

Друзья объясняли временное примирение Белинского с «разумной действительностью» тем, что он плохо понял Гегеля. Так думали Станкевич, Огарев, Тургенев, Грановский. И даже Герцен в «Былом и думах» пришел к такому же выводу (сам Герцен извлек из гегелевской философии не примирение, а бунт и называл его диалектику «алгеброй революции»).

Такое мнение о Белинском надолго укоренилось в литературе. Как отмечал впоследствии Г. В. Плеханов, кое-кто вообще вообразил, будто Белинский не имел философского таланта, и «на него стали посматривать сверху вниз, с некоторым снисходительным одобрением даже такие люди, которые, в смысле способности к философскому мышлению, недостойны были бы развязать ремень у ног его».

Увлечение Гегелем было этапом роста Белинского. Философия Фихте, с которой критик познакомился ранее, не могла удовлетворить его уходом от действительной жизни в область абстракций и философского созерцания. Познакомившись с философией Гегеля, Виссарион Григорьевич писал Н. В. Станкевичу в 1837 году: «Слово „действительность" сделалось для меня равнозначительно слову „бог"». И если ранее он объявлял призрачными картины реальной жизни, не соответствующие идеалу, то

теперь готов был объявить призрачными идеалы, не соответствующие реальной жизни.

Но очень скоро Белинский понял все значение вывода Гегеля о необходимости примирения с действительностью (для Германии — примирение с прусским консерватизмом), проводимого философом в работе 1821 года «Философия права» (в отличие от работы 1812—1816 гг. «Наука логики»), в которой «из мыслителя,— как писал Г. В. Плеханов,— внимательно вдумывающегося в историческое развитие человечества и приходящего к тому выводу, что движение вперед составляет природу всемирного духа, Гегель превращается в раздражительного и подозрительного охранителя, готового кричать «караул!» при каждом новом усилии могучего и вечного «крота», неумолимо подкапывающего здание старых понятий и учреждений».

Поняв противоречие между диалектическим характером философии Гегеля и «абсолютностью» ее выводов, Белинский решительно объявил:

— Я не хочу служить только ареной для прогулок абсолютной идеи по мне и по вселенной, лучше умереть, чем помириться с этой абсолютностью.

«Русский, „подозревавший" такие вещи,— писал впоследствии Плеханов,— и еще в конце тридцатых годов, в самом деле должен был обладать высокой „философской организацией"».

Однако в целом увлечение философией Гегеля помогло Белинскому выработать взгляд на историю как на закономерное социальное, политическое и умственное развитие в противоположность распространенному отношению к истории как царству случайностей. «В этом случае,— писал Плеханов,— в лице Белинского русская общественная мысль впервые с гениальной смелостью взялась за решение той же великой задачи, которая <...> влекла к себе лучшие умы девятнадцатого века».

Вот почему пережитый Белинским момент примирения с «разумной действительностью», по мнению Плеханова, «делает ему величайшую честь». И вот почему сам Белинский позднее называл этот момент началом своей духовной жизни.

В письмах и беседах конца 1840 года Виссарион Григорьевич повсюду выдвигал на первое место идею отрицания, безжалостно бичуя себя за временное примирение с окружающей жизнью.

«...С пошлою действительностию я все более и более расхожусь,— писал он 10—11 декабря Боткину,— в душе чувствую больше жару и энергии, больше готовности умереть и пострадать за свои убеждения. <...> ...сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею искренностию, со всем фанатизмом дикого убеждения! <...> Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото,— а если этого нельзя было писать, то долг *чести* требовал, чтобы уж и ничего не писать».

В самом начале декабря Герцен сообщил Белинскому о нависшей над ним угрозе новой ссылки. Причиной послужило перехваченное полицией письмо Александра Ивановича, в котором он рассказывал отцу о преступлениях будочника, имевшего пост у Синего моста. Этот полицейский, наблюдавший за порядком на улице, зарезал шестерых человек. Шеф жандармов Бенкендорф объявил Герцену о предстоящей ссылке за «распространение неосновательных слухов о происшествиях в столице». К счастью, министр внутренних дел Строганов, под началом которого служил Александр Иванович, враждовал с Бенкендорфом. Узнав о беде, нависшей над его чиновни-

ком, он поторопился назначить Герцена советником губернского правления в Новгород, предоставив ему высшую должность, которую тот мог занимать по чину.

Обвинения, предъявленные Герцену, вызвали возмущение Белинского и способствовали усилению в нем критических настроений. «Над ним совершается теперь,— писал о Виссарионе Григорьевиче Герцен некоторое время спустя,— *критический момент*, он доходит до предела скептицизма, но только с полным пафосом, и от того страдает...»

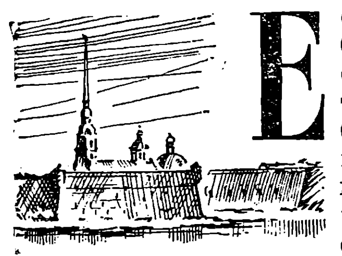
В письмах к Боткину Белинский до декабря 1840 года почти не упоминал имени Герцена. Это объясняется тем, что Василий Петрович не сочувствовал перемене общественно-философских позиций Белинского, и тем, что Белинский знал о сдержанном отношении Боткина к Герцену и Огареву. Но в письме от 11 декабря он не удержался и высказал самое восторженное мнение о Герцене, который ему «все больше и больше нравится» и с которым ему «легко и свободно». «Какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура!.. эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения»,— писал Виссарион Григорьевич.

Александру Ивановичу удалось оттянуть отъезд из Петербурга до следующего лета, и, продолжая часто бывать у Белинского, он, конечно, видел заалевший однажды над флигелем, в котором жил Виссарион Григорьевич, красный флаг. «Причины не могу добиться»,— писал С. Т. Аксаков сыну в декабре 1840 года. Но Аксаков, конечно, знал, как знали это Белинский и Герцен, как знали власти, что с июня 1832 года, со времени волнений, связанных с похоронами Ламарка в Париже, красный флаг признан символом революции.

«СОЦИАЛЬНОСТЬ... ВОТ ДЕВИЗ МОЙ»

Марксизм... новая фаза того самого умственного движения, которому мы обязаны Белинским.

Г. В. ПЛЕХАНОВ



Если попытаться каждому петербургскому году из жизни Белинского дать краткое определение, то 1841 год, наверное, должен быть назван годом политических исканий. И прежде, и потом — всегда Белинский читал чрезвычайно много, и по характеру своей работы как критик толстого общественно-литературного журнала, и по обширности своих духовных потребностей и умственных интересов. Но именно с 1841 года в его чтение — до сих пор по преимуществу литературно-философского характера — широко вторгается история и политика, и от философских споров он переходит к социальным вопросам, к размышлениям о будущих судьбах России и русского народа, упорно ища ответа на злобу дня.

— Теперь уже не Гегель, не философские колпаки — мои герои,— говорил он друзьям.— Долой из плена беспочвенных фантазий, абстрактных, чистых понятий, прекраснодушных мечтаний, нереальных абсолютистских выводов! От философских проблем, надуманных в тиши кабинета, надо решительно выходить на простор самой жи-

зни, ее насущных социальных потребностей и ее действительных общественных задач...

В самом начале года в письме к В. П. Боткину он так сформулировал новое направление своих мыслей, своего духа, своих устремлений: «Вообще все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности...»

Но как освободиться? И по какому пути должна идти Россия?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было начать с истории, с Петра I.

Тема Петра как тема России и путей ее развития занимала Белинского еще в то время, когда он жил в Москве. После переезда в столицу его раздумья о новейшей русской истории обогатились личными петербургскими наблюдениями. Тема все более настойчиво напоминала ему о себе и «просилась вон», чему много способствовали и частые споры с друзьями о прошлом и будущем России, о значении петровских реформ, о Петербурге и Москве, как городах, выразивших разные начала русской жизни.

Наконец, два спора в январе 1841 года заставили его взяться за перо.

Один произошел у Панаевых (в доме Пшеницыной, у Пяти Углов). Кроме обычных посетителей панаевских вечеров был магистр Петербургского университета Январий Михайлович Неверов, недавно вернувшийся из Берлина. Виссарион Григорьевич встретился с ним дружелюбно как с сотрудником «Отечественных записок» и как с бывшим участником кружка Станкевича. Разговор зашел о «Философическом письме» Чаадаева. Неверов менторским тоном стал порицать Чаадаева. Никто не возра-

жал, и он спокойно продолжал перечислять свои претензии к автору «Философического письма».

Вокруг было, хотя и привычное, но многолюдное общество, и Виссариону Григорьевичу не хотелось говорить. Но он не выдержал, вскочил с дивана и резко оборвал Неверова:

— Вот-вот! У нас палками бьют — мы терпим, в Сибирь ссылают — молчим, а тут Чаадаев посмел задеть наши болячки, зацепил народную честь — и, пожалуйста: он — сумасшедший, его слова — дикость. Но почему в странах более образованных не обижаются на слова?

— В образованных странах,— торжественно заметил магистр,— таких безумцев, как Чаадаев, запирают в тюрьмы, и правильно делают.

Белинский вонзил в собеседника горящие глаза и медленно, глухим голосом выдохнул:

— В еще более образованных странах есть гильотины, чтобы казнить тех, кто считает это правильным.

И сказав это, почти без чувств от охватившего его волнения, Виссарион Григорьевич упал в кресло.

Как точно и с какой любовью изобразил наблюдавший его во время таких споров Герцен: «...в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко

рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»

Через несколько дней, снова в присутствии Неверова, Виссарион Григорьевич принял участие в другом споре — о Петербурге и Москве. Здесь же были Герцен, Струговщиков и Николай Михайлович Сатин, еще в пору учебы в Московском университете входивший в кружок Искандера — Герцена. На этот раз оппонентом Белинского выступил Александр Иванович, который в противоположность Белинскому скептически смотрел на будущее Петербурга.

— Его когда-нибудь смоет наводнение. У него нет будущего,— сказал он.

Но основной спор у Виссариона Григорьевича и здесь развернулся с Неверовым, которого поддержал Струговщиков. Оба отказывались признать какие-либо отличительные характеристические черты за той или другой столицей. С этим не мог согласиться и Герцен. «Спроси у Сатина,— писал он Огареву,— как я и Белинский разбивали Струговщикова и Неверова и до какой ясности доказали необъятное расстояние между Петербургом и Москвой».

К впечатлениям от этих споров прибавились, с другой стороны, и впечатления от чтения программных статей, опубликованных в первой книге нового журнала «Москвитянин»: Шевырева «Взгляд русского на состояние Европы» и «Петр Великий» Погодина. Оба автора писали о необходимости для России иных путей, чем тот, по которому идет «гниющий Запад» и на который толкает Россию следование идеям Петра, якобы уводящим ее от своего исконного пути. «Развращенному», идущему в «огненную бездну» Западу с его «развратом личной свободы» и «развратом мысли» Шевырев противопоставлял «рели-

гиозную», «бесконечно преданную царю своему», далекую от европейских «недугов» Россию.

Идею национальной исключительности и самобытности России в это время защищали также писатель и журналист С. Н. Глинка, редактор реакционного журнала «Маяк просвещения» С. А. Бурачек, славянофильский публицист Ю. Ф. Самарин и другие. Все они сходились во мнении, что задача отечественной литературы, как и вообще общественной жизни, состоит в возрождении «из-под пепла, которым Европа, как Везувий Помпею, засыпала родную нашу русскую жизнь».

— Что они делают! — возмущался Виссарион Григорьевич.— На одной странице утверждают: на что ни взглянем мы — на себя и кругом себя — везде и во всем видим Петра. А на другой странице торопятся объявить, будто европеизм — вздор, гибель для души и тела, что железные дороги ведут прямо в ад, что Европа чахнет, умирает и что мы должны бежать от Европы чуть-чуть не в степи киргизские.

Решив дать бой таким взглядам, Белинский собрал на своем рабочем столе все, что было напечатано о Петре в самое последнее время, что сообщало новые данные, факты и проливало дополнительный свет на значение петровских реформ в истории России. Кроме журнальных статей многочисленных авторов он внимательно просмотрел сочинения: И. И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (Изд. 2-е, в 13-ти т. М., 1837—1840), Вениамина Бергмана «История Петра Великого» (Пер. с нем. Егора Аладьина. Изд. 2-е, в 3-х т. СПб., 1840), Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1840).

Виссарион Григорьевич задумал ряд статей, в которых собирался досконально осветить вопрос и ответить всем, кто хотел бы повернуть назад развитие России. Две его

статьи, посвященные деятельности Петра, были напечатаны в четвертой и пятой книгах «Отечественных записок» за 1841 год.

На историко-бытовом материале книги Г. Котошихина Белинский доказывал, какой мощный толчок развитию России дали реформы, начатые Петром сверху, даже в таких бытовых мелочах, как одежда и традиционные бороды русских вельмож.

— Да, Петр начал резко, с насильственных реформ,— не раз заявлял Виссарион Григорьевич в спорах,— но ему некогда было медлить: ибо дело шло уже и не о будущем величии России, а о спасении ее в настоящем.

Реформы Петра Великого были дороги ему не только как момент русской истории, но и как явление, обращенное далеко вперед, в будущее страны.

— Эти деяния,— говорил он,— вдохнули душу живую в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России.

Нелепые порядки и дикие обычаи, установившиеся на Руси и унижающие человеческое достоинство, народная нищета и темнота, бессилие и забитость при могучем духе и природной смышлености народа, при способности свергнуть трехсотлетнее иго и возродиться — все это оскорбляло национальные чувства Белинского, страстно желавшего своему народу и стране лучшей участи и более достойной жизни. Поэтому в своих статьях Виссарион Григорьевич истово ратовал за продолжение Петрова дела, за усвоение и перенесение на русскую почву прогрессивных достижений европейской общественной жизни и культуры. При этом он особо подчеркивал, что все реформы и преобразования Петра I и насаждавшийся им «европеизм» «нисколько не изменили и не могли изменить нашей народности, но только оживили ее духом новой и богатейшей жизни и дали ей необъятную сферу для проявления и деятельности».

Сам Петр ему представлялся великим человеком, героем русской истории, лучше других выразившим сердце и дух русский.

Поставив в статье о «Деяниях Петра Великого» вопрос о путях развития России, Белинский смело заговорил и о самой сущности прогресса, невозможного без отказа от одряхлевших идей и отрицания сомнительных форм жизни, без политической активности членов общества. Русскому народу,— писал он, «столь юному, свежему и девственному, столь могучему родовыми, первосущными стихиями своей жизни,— народу, который с небольшим во сто лет своей новой жизни, воззванный к ней творящим глаголом царя-исполина, проявил себя и в великих властителях, и в великих полководцах, и в великих государственных мужах, в великих ученых и в великих поэтах», нельзя бояться в общественной жизни сомнения и отрицания, «которые суть первый шаг ко всякой истине, исходный пункт всякой мудрости». «Нет, мы унизили бы свое национальное достоинство,— заявил Белинский,— если б стали бояться духовной гимнастики, которая во вред только хилым членам одряхлевшего общества, но которая в крепость и силу молодому, полному здоровья и рьяности обществу».

Выступления Белинского в защиту Петрова дела сразу поставили его во враждебные отношения с официозной печатью, с «Москвитянином» и со всеми сторонниками самобытности и национальной исключительности России, противопоставлявшими «дремлющий Восток» «гниющему Западу».

Неудивительно, что уже вторую статью Белинского о Петре I в цензурном комитете сократили до неузнаваемости, выкинув ровно половину и тем самым, по сути, исказив ее смысл: «...в рукописи,— сообщал Виссарион Григорьевич 28 июня 1841 года Боткину,— это точно о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная,

живая; но в печати — это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии... Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого. Да здравствует Погодин и Шевырев — вот люди-то! Да здравствует «Москвитянин» — вот журнал-то! Ну, да к черту их всех...»

От окончания задуманной им большой работы о Петре I Белинский был вынужден отказаться ввиду полной невозможности обнародовать свои мнения. В результате в пятой книжке «Отечественных записок» появилось объявление: «Предположенного продолжения статьи о «Деяниях Петра Великого» по независящим от редакции причинам не будет».

К середине 1841 года для читающей публики не были уже секретом враждебные отношения Белинского с публицистами журнала «Москвитянин», выходившего под покровительством министра народного просвещения графа С. С. Уварова.

Редактор журнала М. П. Погодин и его ближайшие сотрудники В. А. Жуковский и С. П. Шевырев видели в «Москвитянине» орган, призванный вести борьбу за старые предания русской истории и литературы с прогрессистами так называемого западнического лагеря, которые группировались вокруг петербургских «Отечественных записок», а позднее в «Современнике» Н. А. Некрасова.

Правда, какое-то время, рассчитывая на лояльность Краевского, Погодин надеялся избежать резкой полемики. Еще 7 января, посылая Краевскому первую книжку «Москвитянина», он писал: «В благонамеренности и добросовестности вашей мы убеждены,— но ваши сотрудники! Они несут иногда такую околесную, что, право, читать совестно...— И недоумевал: — Да что вы их не удерживаете? Не давайте им разбирать ничего важного — вот и вся история».

Однако, несмотря на желание редакторов, оба журнала очень скоро заняли крайние позиции в общественной и литературной жизни России. В апреле 1841 года Белинский выступил в «Отечественных записках» с возражениями против оценки Лермонтова, содержавшейся в статье Шевырева, напечатанной в четвертой книжке «Москвитянина», а затем буря негодования московских литературных консерваторов обрушилась на Белинского за напечатанную в апрельской книжке «Отечественных записок» рецензию, в которой был высмеян сотрудник «Москвитянина» поэт Ф. Н. Глинка. Эта неподписанная рецензия принадлежала не Белинскому, а историку литературы и педагогу А. Д. Галахову, но сотрудники «Москвитянина» приписали ее Белинскому, и именно она явилась поводом для полного разрыва между журналами. Шевырев сделал раздраженные выпады по адресу Белинского в обращении «К „Отечественным запискам"»; другой сотрудник «Москвитянина», М. А. Дмитриев, потребовал от Погодина официальной жалобы на журнал Краевского в Главное управление цензуры. (Оно располагалось в Министерстве народного просвещения, на Фонтанке, у Чернышева, Цепного, моста — ныне мост имени М. В. Ломоносова.)

3 августа 1841 года в письме к Н. Х. Кетчеру Виссарион Григорьевич саркастически обрисовал положение, сложившееся в русской литературе и журналистике: «...Булгарин все молодеет и здоровеет, а Межевич подает надежду превзойти его и в таланте и в добре. Фаддей Венедиктович ругает Пушкина печатно, доказывает, что Пушкин был подлец, а цензура, верная воле Уварова, марает в «Отечественных записках» все, что пишется в них против Булгарина и Греча. Литература наша процветает, ибо явно начинает уклоняться от гибельного влияния лукавого Запада — делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною,

что не выражается иначе, как по-матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погодину. Носятся слухи, что Погодин (вместе с Бурачком, Ф. Н. Глинкою, Шевыревым и Загоскиным) будет произведен в святители российских стран... Погодин снимает все кабаки и торгует водкою. Одним словом, будущность блестит всеми семью цветами радуги. А между тем Европа гниет...»

Защищать Петрово дело, отстаивать свой взгляд на дальнейшие пути отечественного развития Белинскому приходилось в острой борьбе не только с официозным «Москвитянином» — оппонентами Белинского были также славянофилы.

С. Т. Аксаков и его сыновья Константин и Иван, братья И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф. Самарин и другие представители московского славянофильства были по-своему оппозиционны бюрократической и крепостнической политике Николая I. Их культ народа несомненно был далек от официальной народности, но привкус «квасного патриотизма», как говорил Белинский, был силен и в их выступлениях. Они также обращали свои взоры в прошлое: их идеалом была патриархальная крестьянская община, а историческим примером лучшего состояния отечества они считали допетровскую Русь, что вызывало похвальные отзывы и поддержку со стороны «Москвитянина».

Такой взгляд на историю и будущее России претил Белинскому, сознававшему великую заслугу Петра, начавшего европеизацию России. Поэтому в пылу полемики Виссарион Григорьевич не обращал внимания на те разногласия, которые были между московской славянофильской интеллигенцией и редакцией «Москвитянина», и свои полемические удары направлял в равной степени на то, что их сближало.

«Белинского нередко обвиняли в непонимании и даже в нежелании понять то, что было в славянофильстве хоро-

шего и справедливого,— писал А. Н. Пыпин в начале XX века,— но чтобы верно представить себе отношения Белинского к славянофильству, надо помнить время и лица. Первые впечатления славянофильства дал Белинскому «Москвитянин». Теперь уже забыли, что это было. Но стоит взглянуть на первые годы этого журнала, чтобы понять вражду Белинского: невозможно было иначе отнестись к нелепой, юродивой форме, в которой даны были здесь первые заявления новой школы... Впоследствии,— добавляет А. Н. Пыпин,— когда славянофильство больше определилось и очистилось, значительно изменились и отзывы Белинского».

Размышляя о судьбе и значении народа, Белинский не раз признавался:

— Я почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не слепая.

— Что вы имеете в виду? — спрашивали у него.

— То, что отрицать субстанцию народа — значит оскорблять народ, но нападать, даже слишком резко, на недостатки народности — это не преступление, а заслуга. Именно в этом и состоит истинный патриотизм. Я не могу быть равнодушным к тому, что люблю всей душой, всем существом моим. В том, что я люблю, я сильнее, чем в другом, люблю хорошее и по тому же закону сильнее, чем в другом, ненавижу дурное.

Полемизируя со славянофилами и сторонниками «официальной народности» о коренных свойствах русского народа, Белинский писал в статье «Россия до Петра Великого» (1841): «...национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума. Это не признаки даже и народности, а скорее наросты на ней». Он ценил в народе бодрость и смелость, находчивость и

молодечество, широту и размах в горе и в радости, сильную тягу к знаниям и способность к учению.

— Русский народ — один из даровитейших народов в мире,— утверждал он.

Причины же бедственного и позорного состояния, в котором находился русский народ, Белинский видел не в его «дурных наклонностях», как считали многие современники, а в неблагоприятных исторических условиях—прежде всего татаро-монгольском иге и крепостничестве,—искажавших исконные черты национального характера.

Мечтая о «золотом веке» для своей родины, своего народа, он в противоположность славянофилам угадывал его черты не в патриархальной старине, а в развитии, прогрессе общественной жизни. 8 сентября 1841 года в письме к Боткину он писал: «...нет, я не отвергаю прошедшего, не отвергаю истории — вижу в них необходимое и разумное развитие идеи; хочу золотого века, но не прежнего, бессознательного, животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло».

В противоположность славянофилам, выступавшим за национальную замкнутость русского народа, Белинский восставал против изолированности от других народов в общественной и в литературной жизни.

— Нельзя написать дельной истории русской литературы, не зная литератур западноевропейских,— говорил он и добавлял: — Только та литература есть истинно народная, которая в то же время есть общечеловеческая; и только та литература есть истинно человеческая, которая в то же время есть и народная.

Не разделял он и почти всеобщего в его время заблуждения, будто русский во фраке или русская в корсете — не русские. Даже Н. И. Надеждину казалось, что в среде образованных людей нельзя искать и признаков народ-

ности. Белинский проявил глубокое и тонкое понимание проблемы народности, когда страстно защищал народность «Евгения Онегина» и «Мертвых душ». Больше того, сравнивая народность пушкинского гения с народностью стихов Кольцова, Виссарион Григорьевич отдавал предпочтение первому, потому что считал, что народность творчества не всегда определяется происхождением художника: Пушкин — аристократ, но объем его таланта, объем и высота народности его поэзии таковы, что народный по происхождению и по всем источникам своего творчества Кольцов относится к Пушкину «как бьющий из горы светлый и холодный ключ относится к Волге, протекающей бо́льшую половину России и поящей миллионы людей».

Уже в самом начале споров со славянофилами Белинский сознавал уязвимость и вредность их позиции, сосредоточенной на национальном содержании понятия народности. Живя в Петербурге, каждый день наблюдая его контрасты, он все больше убеждался в том, как важно поднимать не просто национальные, но социальные вопросы общественной жизни России.

Размышляя о путях и о судьбах русского народа, он думал об истории человечества, ища в мировом опыте и сравнениях ответы на мучившие его вопросы о будущем своей родины.

Зимой 1841 года Виссарион Григорьевич получил очередное, на многих страницах, письмо из Москвы от В. П. Боткина; в конверте был и специально переведенный для него отрывок из журнала «Галльские летописи» («Hallische Jahrbücher», позднее — «Deutsche Jahrbücher»[1]), который издавали левые гегельянцы (с 1837 года Эхтермейер и Арнольд Руге, а с 1842-го, после смерти Эхтермейера, один Руге).

---

[1] «Немецкие ежегодники» *(нем.)*.

Эхтермейер в своих статьях не однажды резко критиковал Гегеля за трусость и измену собственному диалектическому принципу, когда дело касалось конкретной прусской действительности. Выписку из одной его статьи как раз и получил Белинский от Боткина.

— О, это энергическая стукушка по философскому колпаку Егора Федоровича,— довольно сказал он, прочитав присланный отрывок. Егором Федоровичем он называл Гегеля.

В мыслях, высказанных Эхтермейером, Виссарион Григорьевич обнаружил то, о чем сам думал уже не один месяц. «Отрывок из «Hallische Jahrbücher» меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту — спасибо тебе за него, сто раз спасибо,— писал он 1 марта 1841 года Василию Петровичу.— Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к <...> не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я сбирался писать к тебе до получения твоего этого письма».

В этом же письме Виссарион Григорьевич объяснил, почему он не согласен с гегелевским абсолютизмом, чего ему, Белинскому, не хватает для гармонии.

«Мне,— писал он,— говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы развития, а споткнешься,— падай, черт с тобою, таковский и был, сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорович, кланяюсь вашему философскому колпаку,— но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случай-

ностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».

Некоторые современники Белинского, а позднее и его биографы, утверждали, будто увлечение Гегелем принесло вред общественно-политическим, философско-этическим, литературно-критическим взглядам Белинского, и, наоборот, отказ от примирения с действительностью, навеянного философией Гегеля, знаменовал собой целый переворот, как в общественных взглядах, так и в эстетическом кодексе Белинского.

Это был ошибочный вывод.

Восстав против абсолютности Гегелевой философии, отказавшись от примирения с действительностью, Белинский не отказался от философии Гегеля вообще как от диалектической системы. «Совсем напротив,— писал Герцен в «Былом и думах»,— отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными».

Много позднее В. И. Ленин напишет, что «передовая мысль в России... жадно искала правильной революционной теории» [1]. Это в большой степени и о Белинском.

Он не пропускал ничего, что могло бы дать ему новые сведения о политических настроениях, философских исканиях и культурной жизни в странах Западной Европы.

С марта 1841 года в «Отечественных записках» стали печататься «Письма из-за границы» П. В. Анненкова, ко-

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр., соч., т. 41, с. 7.

торый знакомил своих соотечественников с бытом и нравами, с литературными и театральными новостями, с постановкой образования в западных странах.

— Какая прелесть — его письма,— говорил Виссарион Григорьевич.— Я еще больше полюбил Анненкова.

Лучше ориентироваться в современной немецкой литературе помог Белинскому новый обозреватель иностранной литературы в «Отечественных записках» Карл Липперт, переводчик на немецкий язык произведений Пушкина и Лермонтова. Липперт переехал в русскую столицу весной 1841 года, заменив в журнале М. Н. Каткова. Белинский познакомился и скоро сблизился с новым сотрудником, так что Липперт даже вызвался учить его немецкому языку.

Стремясь понять движущие силы истории, Белинский поглощает одну за другой исторические книги, все меньше времени оставляя для отдыха.

Летом 1841 года Виссарион Григорьевич опять оставался в городе и изредка ездил к Краевскому и Панаевым, снова снимавшим дачи в Павловске.

В 40-е годы в Павловске было гораздо меньше дачников, чем во многих других пригородах столицы. Это объяснялось тем, что Павловск являлся резиденцией великого князя Михаила Павловича, который лично просматривал списки желавших снять здесь дачу и вычеркивал фамилии тех, кто вызывал у него какое-либо сомнение.

Может быть, раз или два за лето Белинский выбрался в Екатерингоф — любимое место воскресных прогулок жителей Коломны, Семеновского и Измайловского (ныне район Красноармейских улиц) полков. Там, в екатерингофских лугах, отдыхая, замечательно пел и плясал рабочий люд с табачной фабрики В. Г. Жукова.

Летом 1841 года Белинский прочел «Историю французской революции» Л.-А. Тьера и со свойственным ему максимализмом заявил:

— Новый мир открылся передо мною. Я все думал, что понимаю революцию,— вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают. Великая нация французы.

Летом же по совету Боткина Виссарион Григорьевич купил «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, которыми в свое время зачитывались декабристы, и проштудировал их с самым живым интересом, открыв для себя в этой древней книге много злободневного.

Читая Плутарха, он мысленно протягивал нить от героев древности к своему времени. Сравнивал политических деятелей Древнего Рима Тиберия и Гая Гракхов с Цезарем, а от них переходил к героям французской революции. Да, трагическое величие Гракхов и Марата с их «кровавой любовью к свободе» ему было понятнее и ближе, чем великие завоевания Цезаря.

Виссариона Григорьевича захватывает идея революционной борьбы и подвига во имя свободы: «...я весь,— признается он в письме от 28 июня 1841 года к Боткину,— в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести, и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие. <...> Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести».

Нет, его совсем не привлекает конституционная монархия, о которой мечтал Гегель как об идеале государственного устройства.

— Какое узенькое понятие! — говорил Белинский.— Не должно быть монархов... Почему, по какому праву подобный мне человек становится выше человечества и отделяется от него короною и мантией?

Он верил, что когда-нибудь все будет по-другому, не так, как в его время, когда надо надеть схиму и терпеть, терпеть.

— Настанет время,— мечтал он,— когда не будет ни царей, ни подданных, ни богатых, ни бедных, а все люди будут братья, все будут равны перед законом и друг другом и жизнь будет основана на разумных, справедливых началах.

Каким должно быть это новое общество? В поисках ответа на этот вопрос Белинский знакомится с учением социалистов-утопистов. Одним из источников познания их идей стали романы Жорж Санд, так возмущавшие его в «примирительный период». Теперь же романы французской писательницы — «вдохновенной пророчицы, энергического адвоката прав женщины» — вызвали в его душе горячий отклик, и он немало способствовал их публикации в русских переводах в журнале «Отечественные записки».

— Это Жанна д'Арк нашего времени,— с восторгом говорил он,— это звезда спасения и пророчица великого будущего. Ей-богу, стоит выучиться французскому языку хотя бы только для того, чтобы читать ее произведения в подлиннике.

Мысли об истории и о современности, поиски общественных идеалов, попытки представить образ будущего счастливого общества привели Виссариона Григорьевича к решению «подробнее познакомиться с сенсимонистами».

Нельзя сказать, чтобы он прежде ничего не знал об учении Сен-Симона, которым еще в 30-годы увлекались московские студенты Герцен, Огарев и их друзья. Правда, тогда Белинский не принадлежал к их кругу. Но в кружке Станкевича знали, что́ интересует Герцена и его товарищей. Кроме того, Боткин, один из ближайших друзей Виссариона Григорьевича, еще в середине 30-х годов испытал на себе влияние сенсимонизма. Как бы то ни было, прежде идеи Сен-Симона не произвели на Белинского такого впечатления, как во второй половине 1841 года.

«Я теперь в новой крайности,— признавался он Бот-

кипу,— это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. <...> Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни».

Но учение утопического социализма он принял с поправками.

Социалисты-утописты, и в частности французы Сен-Симон и Фурье, верили, что существующую действительность можно преобразовать без революций, одной пропагандой социалистических идей.

Белинский не поверил в это.

— Но смешно и думать,— говорил он,— что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови.

В сентябре в письме к Боткину он писал о страданиях большей части общества как факте, требующем социальных преобразований, изменения самих основ существующей действительности.

«Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой,— восклицает он.— Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? <...> Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? <...> Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмоть-

ях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела! Не знаю, что со мною делается, но иногда с сокрушительною тоскою смотрю я по нескольку минут на девку <...>, и ее бессмысленная улыбка, печать разврата во всей непосредственности рвет мне душу, особенно если она хороша собою. Рядом со мною живет довольно достаточный чиновник, который так оевропеился, что, когда его жена едет в баню, он нанимает ей карету; недавно узнал я, что разбил ей зубы и губы, таскал ее за волосы по полу и бил липками за то, что она не приготовила к кофею хороших сливок; а она родила ему человек шесть детей, и мне всегда тяжело было встречаться с нею, видеть ее бледное, изнеможенное лицо, с печатью страдания от тирании... И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности!»

Эти образы, выхваченные из петербургской уличной толпы, это внимание к незаметному, маленькому человеку, жертве социальной несправедливости, предвосхитили демократическую направленность и тематику натуральной школы, идеологом и вдохновителем которой стал Белинский через три-четыре года.

Впечатления от окружающей действительности, в первую очередь от петербургских контрастов, вопиющих социальных противоречий, знакомство с идеями французских утопистов, раздумья об истории России и судьбе народа привели Белинского к размышлениям о необходимости коренных насильственных переворотов не только в общественно-политической жизни человечества, но и в его нравственной природе, в повседневных правовых и бытовых отношениях.

— Отрицание — мой бог,— говорил он.— В истории мои герои разрушители старого: Лютер, Вольтер, энциклопедисты, Байрон, Марат... Нельзя любоваться на ужасы

и несправедливости жизни, надо действовать елико возможно, чтобы другие потом могли жить лучше.

Начиная с октября 1841 года собиравшиеся у Панаевых, в доме у Пяти Углов, Белинский и его петербургские друзья всерьез занялись политическими чтениями вслух. Для этих чтений, продолжавшихся несколько месяцев, по запрещенным и редким в России книгам Иван Иванович Панаев специально готовил обзоры событий французской революции 1789—1794 гг., переводы речей Робеспьера и других ее вождей.

Наблюдавший за работой Панаева его родственник Валериан как-то сказал:

— Теперь я вижу, что Виссарион Григорьевич обладает силой привязывать к себе людей. Ваше уважение к нему так велико, что и вы, человек не праздный, почти полгода бескорыстно делаете для него переводы.

— Что же делать,— отвечал Иван Иванович,— это Белинскому необходимо, да и нам важно знать, что он обо всем этом думает.

В одну из очередных суббот Панаев читал переведенные им речи жирондистов и монтаньяров. Первые отражали интересы крупной буржуазии, вторые опирались на демократические слои населения.

Виссарион Григорьевич слушал в большом волнении, то и дело порываясь со своего места и бросая восторженные реплики. Когда чтение дошло до смерти жирондистов Верньо и Гаде, неожиданно расплакался Иван Ильич Маслов, двадцатичетырехлетний секретарь военного писателя, коменданта Петропавловской крепости И. Н. Скобелева.

Все зашумели, заговорили, вспыхнул спор. Белинский с горячностью защищал монтаньяров, задыхаясь и теряя голос в моменты особого волнения.

— Тут нечего объяснять,— говорил он с воодушевлением,— дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный

человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а обоюдным мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов.

Отложив рукопись, отдыхая, Панаев смотрел на Белинского и думал, что в такие вот минуты искренняя, благородная и пламенная натура Неистового Виссариона проявляется во всем блеске, красоте и страшной энергии. В его речах воскресали голоса героев французской революции, их убежденность, их воля к борьбе за свои идеи. Недаром именно с Робеспьером сравнил Белинского А. И. Герцен, написав о нем в дневнике 14 ноября 1842 года: «Фанатик, человек экстремы (крайностей), но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для него ничего, убеждение — все».

Увлечение Белинского социальными проблемами, резко усилившийся интерес к истории и политике отразились в печатных выступлениях критика. В его статьях, даже искаженных цензурой, жили и будоражили умы современников смелые, враждебные официозным идеи о дальнейшем развитии России, о народе, об общественной жизни и общественной литературе.

— За неимением у нас места бунтовать на площади Белинский бунтовал в журналах,— сказал как-то Вяземский.

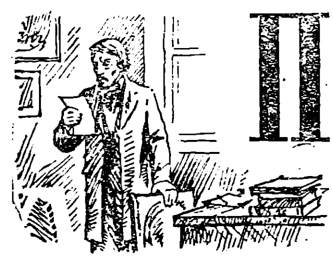
А комендант Петропавловской крепости генерал И. Н. Скобелев, встречая Виссариона Григорьевича, всякий раз шутил:

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат. Специально для вас берегу...

«ЛИТЕРАТУРЕ РАСЕЙСКОЙ МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ КРОВЬ»

Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский.

В. В. СТАСОВ



По договору с Краевским Белинский должен был ежемесячно сдавать статьи, рецензии и заметки для каждой книжки «Отечественных записок». «Завтра,— сообщал он 22 января 1841 года Боткину,— должен кончить побиение книжонок и театральных пьес — дня два погуляю, а там — огромную статью... «О разделении поэзии на роды и виды» и критику — огромную — о Петре Великом, статья, которая лежит у меня на сердце, давит его и просится вон. Между тем (в это же время) надо *пробежать тридцать* томов Голикова да еще сочинения два, три о царствовании Алексия Михайловича, а там десятка полтора рецензий...»

Стол, стулья, диван — все в его комнате во флигеле дома Бема бывало завалено книгами и журналами, присланными на отзыв. Иногда Виссарион Григорьевич, не выдержав, с возмущением отбрасывал в сторону какую-нибудь особенно жалкую книжонку, подсунутую ему редактором, и начинал кружить по комнате, кашляя, левой рукой растирая грудь и размахивая правой.

— Что это с вами? — спросил его как-то Иван Иванович Панаев, зайдя в такую минуту.

— Рука отекла от писанья,— с досадой ответил Виссарион Григорьевич.— Я часов восемь сряду писал. Взгляните, сколько книг мне присылают. И каких книг! Азбуки, грамматики, сонники, гадальные книжонки! И хоть по нескольку слов я должен непременно написать о каждой из этих книжонок!

Нередко Виссарион Григорьевич был вынужден засиживаться над рукописями часов до трех-четырех ночи. Впрочем, из-за больной груди он больше работал, стоя у конторки.

Писал он быстро, крупным почерком, почти набело, редко внося поправки. Чтобы не ждать, пока просохнут чернила, писал на одной стороне полулиста, отбрасывая в сторону исписанные прямыми и ровными строчками страницы. Если же приходилось ждать, Виссарион Григорьевич не терял времени даром: брал из приготовленной пачки очередную книжку и, просматривая ее, делал пометки для следующей статьи или рецензии.

Читал Белинский очень много. Помимо книг, которые можно было взять в редакции «Отечественных записок», он пользовался книгами из личных библиотек Панаева, Краевского и других петербуржцев, посещал Публичную библиотеку и был завсегдатаем книжных лавок. Кроме магазина и лавки Полякова близко от редакции «Отечественных записок» в доме Лютеранской церкви, на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, находились книжная лавка и библиотека для чтения Александра Филипповича Смирдина (ныне Невский пр., 22, угол ул. Желябова; в 1909—1911 гг. дом был надстроен двумя этажами; теперь в первом этаже дома расположены аптека и магазины). Белинский покупал книги и целые комплекты старых и новых периодических изданий. Одних только журналов, газет, альманахов и сборни-

ков в его личной библиотеке насчитывалось более сорока названий.

Конечно, он очень любил книги. Чтению и размышлениям над прочитанным, служению истине, добытой сложным путем сопоставления книг с книгами и с жизнью, путем борьбы за дорогие идеи и убеждения, он отдал свою жизнь, небогатую внешними событиями. Однако, как писал Анненков, «если судить по количеству и массе ощущений, порывов и мыслей, какие переживал этот замечательный человек каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, так быстро сгоревшую на наших глазах, достаточно продолжительной и полной».

Читал он необычно. В его манере чтения непосредственность и возбуждение, с какими дети воспринимают «страшное» в сказках, сочетались с дотошной пытливостью ученого, выискивающего причины и истоки явлений. Для него любая книга, как человек, имела определенную нравственную физиономию, и он не оставлял ее, пока суть не становилась понятой. При этом он всерьез, со всей страстностью своей «неистовой» натуры, страдал над книгами, как другие страдают от общения лишь с живыми людьми. Во время чтения Виссарион Григорьевич волновался, вспыхивал от гнева и восхищался, словно был непосредственным участником описанных в книге событий. Он «выбирал сторону, которую следовало защищать, и боролся с противной стороной, уже давно замолкшей, так, как будто она сейчас нарушила его нравственный покой и убеждения».

Читая, он как бы вживался не только в героев книг, но и в их авторов. Это делало его критические разборы откровениями, в которых авторы могли обнаружить свои невысказанные или нарочно ими затемненные мысли. Белинский докапывался до них, отыскивал глубинный смысл и выносил ему свой честный и прямой приговор.

Художественное произведение неизменно затрагивало в нем не только литературные, но и насущные жизненные интересы, заставляя высказываться о таких проблемах, о каких критик более осторожный не решился бы заговорить. И читатели «Отечественных записок» это очень скоро поняли.

Демократическая молодежь, прежде всего студенты — наиболее живая и восприимчивая ко всему прогрессивному часть общества,— зачитывались статьями Белинского, находя в них ответы на волновавшие вопросы. Молодые люди забегали в кондитерские, где можно было посмотреть свежие журналы, чтобы узнать, получены ли «Отечественные записки» и есть ли в них статья Белинского.

— Есть!

И тут же книжка журнала переходила из рук в руки, а потом допоздна не затихали споры.

«Статьи его были не просто журнальными рецензиями,— они составляли почти *события* в литературном мире того времени»,— писал Анненков. И. С. Тургенев впоследствии говорил: «...замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, чтó именно стоит на очереди, чтó требует немедленного разрешения, в чем сказывается „злоба дня"».

Но сам Белинский по временам испытывал мучительное неудовлетворение от своей работы в «Отечественных записках». Было тяжело сознавать, что драгоценное время, здоровье, силы ума и души нужно тратить на разбор бесчисленных базарных изданий, бездарных брошюрок, отвлекавших от серьезной работы, мешавших лишний раз пробежать глазами написанное.

— Хорошо,— жаловался он,— какому-нибудь Ретшеру [1] издать в год брошюрку, много — две. А тут напи-

[1] Генрих Теодор Ретшер (1803—1871) — немецкий теоретик искусства, правый гегельянец. В 1841 г. Белинский относился к нему весьма критически.

шешь пять полулистов да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет.

«Теперь совершенно убедился я,— с горечью признавался Виссарион Григорьевич Боткину в январе 1841 года,— что нет никакой возможности писать хорошо для журнала. Мне сдается, что моя статья недурна,— но это — *сыромятина,* не выделанная, и повторения, и ненужного, лишнего много, и нет последовательности, соответствия между частями, выдержанности в тоне, многое сказано наудачу, необдуманно, многое выражено слабо, темно и пр. Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать — ручаюсь, что будет стоить прочтения, будет стоить даже перевода на иностранный язык, в доказательство, что и на Руси кое-что разумеют и умеют человечески говорить...»

Новый, 1841 год он встретил пересмотром не только своих общественно-политических и философских позиций прошедшего — примирительного — периода, но и уточнением эстетических критериев, исправлением некоторых литературных оценок 1839—1840 гг.

Если у него спрашивали, какое место и роль в действительности он теперь отводит человеку вообще и писателю в частности, он отвечал:

— Что действительно, то разумно, и что разумно, то и действительно: это великая истина, но не все то действительно, что есть в действительности, а для художника должна существовать только разумная действительность. Но и в отношении к ней он не раб ее, а творец, и не она водит его рукою, но он вносит в нее свои идеалы и по ним преображает ее.

Петербургская действительность и литературная жизнь столицы сослужили Белинскому еще и ту службу, что здесь он с еще большей требовательностью взглянул не только на качество своих статей, но и на удельный вес

в них разных компонентов, из которых слагается или не слагается общественное звучание и историко-литературное значение критического выступления. Год назад, в январе 1840 года, Виссарион Григорьевич с горечью, но и с надеждой на будущее признавался Константину Сергеевичу Аксакову: «Приехавши в Питер, я увидел, что еще не умею писать — надо переучиваться, и я переучиваюсь. Никогда не сознавал я так ясно поверхности и недостатков своих писаний, как теперь. Пребывание в Питере для меня тяжело — никогда я не страдал так, никогда жизнь не была мне таким мучением, но оно для меня необходимо».

Усиление исторического начала в философских и литературно-критических мнениях Белинского не замедлило сказаться в годовых обозрениях отечественной литературы, написанных им в период творческой зрелости.

Первое обозрение Белинского «Русская литература в 1840 году» появилось в январской книжке «Отечественных записок» за 1841 год.

Жанр годового обозрения литературы был известен в России и раньше: его ввел Н. И. Греч своими публикациями в журнале «Сын отечества» (1815, № 1—4).

Особенно удачно в этом жанре выступал в 1823—1825 гг. печатавшийся в альманахе «Полярная звезда» А. А. Бестужев-Марлинский, писавший, по мнению Белинского, выразительно, «оборотами новыми и смелыми, игривыми, живописными, образными». В 30—40-е годы такие обзоры литературы писали И. В. Киреевский, Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин и некоторые другие.

Да и первые статьи Белинского — вдохновенные и прозорливые «Литературные мечтания» (1834) и статью «Ничто о ничем, или Отчет господину издателю «Телескопа» за последнее полугодие русской литературы» (1835) — можно отнести к блистательным опытам в этом жанре.

До прихода Белинского в «Отечественных записках» был опубликован только один обзор — «Русская литература в 1838 году», написанный тогдашним заведующим критическим отделом В. С. Межевичем. Но не зря Краевский решил отказаться от этого поначалу показавшегося ему симпатичным сотрудника в пользу «мальчишки-крикуна» Белинского: слишком произвольны, далеки от реальных путей развития отечественной литературы были суждения Межевича, ставившего Марлинского и Вельтмана выше Гоголя.

Белинский, с 1841 года печатавший в «Отечественных записках» свои знаменитые обзоры русской литературы, поднял жанр годового обозрения до высоты серьезных теоретических и исторических обобщений о литературном процессе.

В обзоре «Русская литература в 1840 году» он не только определил расстановку сил в литературе и журналистике к началу 1841 года, но и дал схему русского литературного развития от Кантемира и Ломоносова до Лермонтова. Белинский снова повторил здесь высказанную им еще в «Литературных мечтаниях» мысль о народности как главном направлении и содержании искусства, о долге художников перед народом. «У нас еще нет,— писал он,— литературы как выражения духа и жизни народной, но она уже начинается, а это, в такой короткий период времени,— успех, и успех великий, который не должен обольщать нас в настоящем, но который должен казаться залогом великих надежд в будущем».

Замечательны мысли о современной литературе и искусстве, высказанные Виссарионом Григорьевичем в статье «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Статья была напечатана в девятой книжке «Отечественных записок» за 1841 год и привлекла к себе внимание постановкой важнейших теоретических проблем художественной литературы. «„Народ-

ность" — есть альфа и омега эстетики нашего времени»,— утверждал в этой статье критик.

Но что такое народность? Истинная народность? Что необходимо понимать под ней? Каковы должны быть эстетические принципы изображения народной жизни? Эти вопросы отныне заняли главное место в раздумьях Белинского о литературе и искусстве. Ответить на них — пусть не полностью — он попытался и в статье о Кирше Данилове, где заявил:

«Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек,— и, чтобы иметь право на изображение искусства, человеку нужно быть человеком, а не чиновником 14-го класса или дворянином. И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом — есть жизнь. Но чтобы изобразить жизнь мужиков, надо уловить... идею этой жизни, и тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого».

Теперь Виссарион Григорьевич уже не следовал безоглядно ни одному признанному гению, как пошел он было за Гегелем в его теории разумной действительности, а, обращаясь к какому-нибудь источнику, более критично осмысливал его и перерабатывал в соответствии со своими исканиями, устремленными к материализму.

Это сказалось, между прочим, в статье «Разделение поэзии на роды и виды», опубликованной в третьей книжке «Отечественных записок» за 1841 год и представлявшей собой главу из задуманного Белинским «Теоретического и критического курса русской литературы», который он в какой-то части успел осуществить, но в 1848 году рукопись была уничтожена, и судить об этом большом труде можно лишь по опубликованным фрагментам.

Работая над этой статьей, Виссарион Григорьевич пользовался тетрадями М. Н. Каткова с выписками из «Эстетики» Гегеля, а также в известной мере опирался на

«Введение в эстетику» (1804) Жана Поля Рихтера, но оба источника были осмыслены и использованы им критически.

Краевского не на шутку встревожила решительность, с которой Белинский в 1841 году стал сокрушать «примиренческие» идеи и «квасной патриотизм», защищая радикальные взгляды на жизнь и искусство, отстаивая право на думающую, критическую и требовательную любовь к отечеству. Редактор «Отечественных записок» то и дело получал нарекания из-за своего ведущего сотрудника от цензуры и благонамеренных читателей, и, чтобы поладить с ними и отвести удар от журнала, он стал по собственному разумению исправлять критика, иногда заменяя его суждения едва ли не противоположными по содержанию, еще больше загружал его никчемной работой. Часто Виссарион Григорьевич имел право быть недовольным и цензором, профессором университета А. В. Никитенко, из чрезмерной осторожности вычеркивавшим целые куски и порой запрещавшим чуть ли не половину статьи, тем самым лишая смысла публикацию уцелевшей части.

Позднее И. С. Тургенев напишет на Никитенко такую эпиграмму:

Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов.

Белинский приходил в отчаянье: так много работать — и не иметь возможности обнародовать свои мысли о современности и перспективах общественного развития. Очень горько было, получив до неузнаваемости искромсанную редактором и цензором статью, тут же приниматься за следующую и не быть уверенным, что и ее не постигнет та же участь.

«Мы живем в страшное время,— писал Виссарион Григорьевич Боткину,— судьба налагает на нас схиму,

мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить».

И все-таки он прекрасно понимал, что значит такая трибуна, как журнал, и потому относился к журналистике как к делу большой гражданской важности.

— Для нашего общества журнал — это все,— говорил он.— Делай всякий не что хочет и что бы должно, а что можно. Через журнал можно учить человечности, дать для начала гуманистическое образование,— и добавлял: — Умру на журнале и в гроб под голову велю положить книжку «Отечественных записок».

Русская литература уже четыре года была без Пушкина. Самыми значительными продолжателями его дела стали Гоголь и Лермонтов, которого Белинский назвал третьим после Пушкина и Гоголя великим русским поэтом, призванным выразить «совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества».

В феврале 1841 года М. Ю. Лермонтов последний раз приехал в Петербург. Как желал Белинский новой встречи! Ему казалось, что после беседы весной 1840 года в Ордонансгаузе поэт тоже захочет поближе сойтись с ним. Но, вопреки надеждам критика, они виделись в феврале и марте лишь случайно и мимолетно у Краевского, жившего в доме на углу Невского проспекта и Фонтанки, да у князя Одоевского — в доме Долгорукова, на другом берегу Фонтанки. Там Виссарион Григорьевич узнал о намерении Лермонтова выйти в отставку и целиком отдаться литературным занятиям, услышал его новые стихотворения.

Знакомство с одним из них — «Родиной» — доставило Виссариону Григорьевичу минуты душевного восторга. Он быстро запомнил это стихотворение:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

13 марта Виссарион Григорьевич сообщал Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина»,— то, аллах-керим,— что за вещь,— пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских». Белинский совсем не был уверен, что цензура пропустит это стихотворение, по-видимому направленное против поэтической декларации поэта-славянофила А. С. Хомякова, опубликованной под заглавием «Отчизна» 8 октября 1839 года в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Лермонтов писал о такой любви к родине и народу, которая была далека от славянофильского умиления и не имела ничего общего с официальной народностью и официальным патриотизмом министра просвещения С. С. Уварова — гонителя Пушкина, одного из виновников его гибели.

Еще в марте 1833 года граф Уваров, получив соответствующее указание от императора, подписал циркуляр, требовавший, чтобы профессора университетов считали основой своей деятельности формулу «православие, самодержавие и народность». Объявленное триединство тотчас сделалось знаменем всей официозной верноподданнической печати. Прозорливый Герцен говорил: «Николай I поднял хоругвь православия, самодержавия и народности для того, чтобы отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря».

В начале 1840-х годов Белинскому, уже переболевшему идеей примирения с «разумной действительностью», была особенно понятна «странная любовь» Лермонтова к отчизне. К этому времени и сам Белинский четко сформулировал свое понимание истинного патриотизма: «Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. <...> ...нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования...» Здесь каждое слово было направлено против Уварова с его православием, самодержавием и народностью, или, как говорил Белинский, «с кутьею, кнутом и матерщиною».

— Да будет проклята всякая народность, исключающая из себя человечность! — восклицал он.

Ситцевые балы во дворцах — вот какую «народность» признавали в верхах общества и — «патриотизм», который заставлял полицейского останавливать нарушившего выездную форму лакея или купчиху, надевшую шляпку не традиционного фасона.

А самодержавие было воистину вездесущим и всевидящим: не дай бог, если царь или великий князь Михаил Павлович, катавшиеся в определенные часы вместе со своими семействами по Невскому, замечали хоть малую

небрежность в форме встреченного офицера или солдата... Император, кроме того, любил собственной персоной неожиданно являться поутру в какое-нибудь казенное учреждение, чтобы лично удостовериться в рвении и прилежности своих подданных.

А религия с ее лицемерием и ханжеством? Какой повод для размышлений острого ума могло дать хотя бы празднование дня преполовения, которое мог видеть и Белинский, вблизи от каменных казематов Петропавловской крепости!

На Неве устраивалось водоосвещение. В крестном ходе участвовало все духовенство Петербурга, одетое по случаю торжества в блестящие праздничные ризы. Посмотреть вынос креста, икон, развевающихся хоругвей, символизирующих победы церкви над миром, послушать церковное пение на крепостные стены допускался народ. Голоса поющих доносились и до петропавловских узников...

6—8 апреля 1841 года Белинский писал Николаю Бакунину:

«Вы не узнали бы меня, встретившись со мною. Лицо мое то же: апатическое всего чаще, бешеное и страстное иногда и одушевленное тихою грустию очень редко; все так же резки его черты и так же некрасиво оно... <...> Я уж не та экстатическая прекрасная душа, которая, обливаясь кровавыми слезами, избичеванная внутренними и внешними бедами, оскорбленная в самых законных и святых стремлениях и желаниях, клялась и уверяла всех и каждого, а вместе и себя, что жизнь — блаженство и что лучше жизни нет ничего на свете. Опыт сорвал покров с жизни — и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление — противоречие».

Этим же, мыслью о противоречиях жизни, о противоречивости сыновних чувств к отечеству, было близко

и дорого Белинскому и стихотворение Лермонтова «Родина». Оно было напечатано в четвертой книжке «Отечественных записок», и Виссарион Григорьевич радовался его опубликованию.

Белинский затевал разговор о Лермонтове с каждым, кто заходил к нему во флигель во дворе дома на 2-й линии Васильевского острова. Имя Лермонтова не раз было названо им и в дружеском застолье в ресторане Кулона на углу Михайловской площади и Михайловской улицы (ныне угол пл. Искусств и ул. Бродского), где он, Герцен, Панаев и Языков 3 марта устроили проводы Николаю Михайловичу Сатину.

Особенно подробно, словно о своих личных делах, Виссарион Григорьевич говорил о Лермонтове с Боткиным, приехавшим в Петербург 16 марта по делам отца, крупного чаеторговца. Василий Петрович, по обыкновению, остановился у Белинского, но вскоре получил из Москвы известие о смерти мачехи и должен был уехать обратно. Свидание друзей было кратким, но 9 апреля Виссарион Григорьевич писал в Москву: «Твой приезд был для меня таким толчком, что и теперь не могу опомниться. Мне легко стало смотреть на Питер...»

После смерти мачехи на попечении Боткина остались старик отец и малые дети от его второго брака. Понимая, как это осложнило жизнь друга, Белинский старался поднять его дух, взывал к его лучшим человеческим чувствам: «Тяжело и грустно,— писал он ему,— но и тут есть своя хорошая сторона: служа опорою дряхлому и слабому старику отцу и малым детям, ты будешь иметь право иной раз с уважением взглянуть и на себя. Не все же жить в себе — не мешает и выйти вовне — лишь бы стоило выходить, а тебе теперь и есть куда и есть зачем выходить из себя».

Сам Белинский тяготился своим одиночеством и неизменно радовался, когда кто-то из друзей приезжал в Пе-

тербург и останавливался у него. В 1841 году его порадовал своим присутствием и душевным участием князь П. Д. Козловский, в недавнем прошлом сослуживец Белинского по Московскому межевому институту. Время нисколько не изменило его.

— Только я теперь люблю его еще больше, потому что теперь понимаю его лучше. Благородный и простой человек! — говорил о нем Виссарион Григорьевич.

Некоторые друзья Белинского скептически относились к их дружбе, считая Козловского человеком чрезвычайно слабого духа при могучей физической силе (говорили, что он ломал кочерги и свертывал в трубку серебряные целковые).

Но Виссарион Григорьевич, не избалованный заботой, проникся к своему гостю искренней симпатией и благодарностью за его неожиданное, щедрое и бескорыстное внимание. Князь Козловский, как мог, ухаживал за Белинским.

Его участливое и дружеское отношение поддержало Белинского в момент особенно острого безденежья весной 1841 года. В это время Краевский оказался на грани банкротства. Несмотря на все возраставший интерес передовой молодежи к «Отечественным запискам», число подписчиков по сравнению с 1840 годом уменьшилось. Редактор судорожно искал, у кого бы занять деньги, необходимые для издания журнала, и в это время действительно не всегда был в состоянии своевременно расплачиваться со своими сотрудниками.

Но если Краевскому было туго, то каково же приходилось Белинскому, не располагавшему никакими иными средствами к существованию, кроме платы за свой труд в «Отечественных записках».

Виссарион Григорьевич снова был вынужден искать дополнительные заработки. На этот раз он задумал составить историю Робинзона Крузо, а также переделать для

издания отдельной брошюрой свою статью о детских книгах.

— Я не отказываюсь,— сказал он Краевскому,— в коротких рецензиях разбирать для «Отечественных записок» любые книжки, но от писания критических статей должен отказаться. Эта работа требует, чтобы внутри не скребли кошки.

Намерение Белинского сократить объем работы в журнале встревожило Краевского, и, чтобы удержать нужного сотрудника, он срочно уплатил часть своего долга. И, хоть это была ничтожная часть, Виссарион Григорьевич, очень щепетильный в денежных вопросах, вернулся к своим обычным обязанностям по журналу во всем их изнурительном объеме. Замыслы опять остались неосуществленными.

В это время Краевский еще не очерствел и, видимо, с искренним сочувствием писал Каткову: «Белинский работает по-прежнему, плохо ему, бедному, приходится от моего безденежья: глаза у меня на него не смотрят. В последнее время он сильно было захандрил, но теперь поправился».

В начале апреля Белинскому были особенно нужны деньги еще и потому, что с наступлением теплой погоды он должен был думать о перемене квартиры. В доме Бема его окна выходили на скульптурные мастерские Академии художеств. Это причиняло Виссариону Григорьевичу немало страданий, он беспрестанно кашлял, «глотая с воздухом, и с чаем» проникавшую в комнаты алебастровую пыль.

Но переехать отсюда он смог только в начале лета. Новая квартира находилась в Семеновском полку, на Госпитальной улице, 17, в доме Бутаровой, на углу Среднего проспекта. В те времена Семеновским полком назывался район от нынешней Звенигородской улицы до Московского проспекта. Здесь был расквартирован лейб-гвардии

Семеновский полк. Ныне Госпитальная улица называется Бронницкой, а Средний проспект — Клинским, таким образом, современный адрес этой квартиры Белинского — дом 18/22, на углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта. В 40-е годы прошлого века этот каменный дом был двухэтажным, позднее его надстроили еще двумя этажами. Эта квартира Белинского была неподалеку от Грязной улицы, где Виссарион Григорьевич жил по приезде в Петербург.

Несмотря на шутливое заявление, будто сад у дома располагает к безделью, Виссарион Григорьевич и на этой квартире работал, как всегда, напряженно.

В первых числах августа 1841 года в Петербурге стало известно о гибели Лермонтова. И Лермонтов убит! Убит, как и Пушкин! Белинский пережил эти смерти как личное горе.

— Я считаю их моими потерями,— признавался он,— и внутри меня не умолкает дисгармонический, сухомучительный звук, по которому я не могу не знать, что это мои потери, после которых жизнь много утратила для меня.

На известие о смерти Лермонтова Виссарион Григорьевич откликнулся в статье, посвященной выходу в свет второго издания «Героя нашего времени». «Немного стихотворений осталось после Лермонтова,— писал он.— Найдется пьес десяток первых его опытов, кроме большой его поэмы «Демон»; пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных записок» перед отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но драгоценное! «Отечественные записки» почтут священным долгом скоро поделиться ими с своими читателями. Лермонтов немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни,— отвлекали его от мирных кабинетных занятий,

от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни».

Гибель Лермонтова заставила Белинского еще острее ощутить дисгармонию в окружающей николаевской действительности, где господствовали интересы «материальной животной жизни, чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества», где «все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена», где «Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою, помощию *доносов*, и живут припеваючи...»

«Я РОЖДЕН ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ БИТВ»

В этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец!

А. И. ГЕРЦЕН



В конце 1841 года Виссарион Григорьевич выхлопотал у Краевского двухнедельный отдых и 24 декабря выехал из Петербурга в Москву с намерением по пути заехать в тверское имение Бакуниных Премухино. На другой день после отъезда из столицы он остановился в Новгороде у Герцена, находившегося в ссылке. Случилось так, что в этот день были похороны маленькой дочери Герцена Наталии. Однако вечером Белинский все же прочел своему другу только что законченный им обзор «Русская литература в 1841 году», предназначавшийся для первой книжки «Отечественных записок» на 1842 год. Позже Герцен писал Краевскому: «...статья эта поставит Белинского у многих головою выше, я здесь это вижу. Я не умею хвалить, а что ни начну говорить, все выйдет одна похвальба. А, ей-богу, статья Белинского увлекательна».

Когда статья вышла в свет, на нее обратил внимание даже министр просвещения Уваров: ему очень не понравился независимый тон критика.

Простившись с опальным Герценом, Виссарион Григорьевич провел три дня в Премухине и 30 декабря уже был в Москве у В. П. Боткина. Новый год он встретил в кругу московских друзей. Время в дружеских беседах и встречах пролетело незаметно, и через две недели, на обратном пути снова заехав к Герцену, Белинский вернулся в свою квартиру в Семеновском полку, чувствуя себя возрожденным, поздоровевшим и помолодевшим, окончательно излечившимся от «москводушия».

Он привез в Петербург рукопись первого тома «Мертвых душ», издание которого сорвалось в Москве из-за цензурных препятствий.

Сначала Гоголь хотел было послать свое новое произведение через графа М. Ю. Виельгорского и В. А. Жуковского самому императору, но потом передумал. Тайно от своих славянофильствующих друзей он встретился в Москве с Белинским и вместе с письмами для В. Ф. Одоевского и А. О. Смирновой-Россет передал ему рукопись «Мертвых душ».

Виссарион Григорьевич не замедлил выполнить поручение писателя. Отнес письма Одоевскому в дом Долгорукова на Фонтанке и Александре Осиповне Смирновой-Россет, жившей в собственном доме на набережной Мойки (ныне Мойка, 78; дом перестроен). Тотчас дал он ход и рукописи: сначала она попала к Одоевскому, от того — к Виельгорскому, который обещал показать рукопись министру просвещения графу Уварову. К счастью, «Мертвые души» не попали, как говорил Белинский, к «сему министру погашения и помрачения просвещения в Ро́ссии». Виельгорский, занятый мыслями о предстоящем бале у великой княгини, не спешил. К тому же всюду говорили о безымянных «возмутительных» письмах, появившихся в гвардейских полках. Власти были встревожены, цензура усилила террор. Момент, конечно, был не очень подходящий. В конце концов Виельгорский приватно пе-

редал рукопись цензору Никитенко. Тот начал читать, но так увлекся, что забыл о своих цензорских обязанностях и был вынужден перечитать «Мертвые души» еще раз. Он вымарал несколько фраз, вычеркнул эпизод о капитане Копейкине, а в остальном рукопись одобрил.

Однако, получив в Петербурге цензурное разрешение на публикацию, Гоголь неожиданно отдал «Мертвые души» не в «Отечественные записки», а официозному «Москвитянину». Белинский написал Гоголю, что тот отказался от сотрудничества в *«единственном* журнале на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и... умное мнение».

Досада и возмущение Белинского были понятны: «Москвитянин» в последние месяцы встал на путь резкой, ожесточенной полемики с «Отечественными записками». Еще в Москве у актера М. С. Щепкина Виссарион Григорьевич познакомился со статьей Шевырева «Взгляд на современное направление русской литературы. Сторона черная». Н. Х. Кетчер читал вслух эту статью, опубликованную в первом номере «Москвитянина» за 1842 год. В ней Шевырев характеризовал литературную деятельность Белинского как цепь «преступлений против величества русского народа», а самого Белинского именовал не иначе как «недоучившимся студентом», «рыцарем без имени», надевшим «броню наглости», и т. п.

У Белинского тут же возникла идея написать памфлет под названием «Педант».

— Еще не знаю, как и что отвечу,— сказал он Боткину,— но впечатление от доноса Шевырки такое, что, кажется, напишу что-то хорошее.

Статья Шевырева не была частным выпадом против Белинского, она носила программный для «Москвитянина» характер, о чем свидетельствовал и подзаголовок: «Вместо предисловия ко второму году „Москвитянина"». Это был прямой политический выпад против «Отечествен-

ных записок» и прогрессивных деятелей русской литературы. Даже представитель весьма умеренной аристократической оппозиции В. Ф. Одоевский назвал «Сторону черную» голубою статьей, намекая этим на то, что она ассоциируется с голубым цветом жандармских мундиров.

Памфлет Белинского на Шевырева был напечатан в мартовской книжке «Отечественных записок» со многими купюрами цензурного комитета. В частности, были выкинуты стихи Н. Полевого, содержавшие злую пародию на стихи Шевырева. От них осталась лишь фамилия Картофелина, придуманная Полевым еще в 1832 году для пародии на «Стансы Риму» Шевырева.

В герое памфлета — педанте Лиодоре Ипполитовиче Картофелине многие сразу узнали Шевырева, а в «литературном цинике» — его сотрудника по «Москвитянину» Погодина.

В карикатурных портретах Картофелина разных периодов его деятельности Белинский настолько метко передал внешность и манеры Шевырева, что нельзя было не догадаться, о ком идет речь. Вот он, Картофелин, после семилетнего пребывания за границей «возвращается в любезное отечество... <...> ...с брюшком — доказательство, что он страдал о судьбе человечества в своих стишонках... Натянутая важность лица, при смешной фигуре и круглом брюшке, сделала его похожим на лягушку, которая в басне Езопа хочет раздуться в вола. Самолюбие его действительно раздулось, как прыщ: страшно и гадко прикоснуться к нему. Общество педант стал принимать за свое училище, салон — за аудиторию, светских людей — за школьников: говорит все свысока, словно лекцию читает, и если кто не слушает его с благоговением, на тех смотрит он презрительно, и если кто заговорит, хотя бы на противоположном конце залы, он посмотрит на того, как Юпитер олимпийский,— с гневом и помаванием бровей... <...> Педант мой говорит голосом важным, про-

тяжным и тихим, несколько переходящим в фистулу, как будто от изнурительной полноты ощущений в пустой груди, как будто бы от изнеможения вследствие частой декламации ex officio[1]. В школу он приносит с собою графин сахарной воды, которою запивает почти каждую свою фразу...»

Памфлет изобиловал намеками и высказываниями, пародирующими печатные выступления Шевырева. В заключение Белинский разоблачал нетерпимость педанта ко всякой критике, пристрастность его суждений, ревнивое отношение к чужому уму и таланту. Он нисколько не преувеличивал. Позднее, около 1845 года, появилась эпиграмма на Шевырева поэтессы и переводчицы Каролины Павловой — доказательство того, что с этой стороны Шевырев был достаточно известен:

Преподаватель христианский,
Он духом тверд, он сердцем чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист!
По собственному убежденью
Стоит он скромно выше всех!..
Невыносим его смиренью
Лишь только ближнего успех.

Выступление Белинского наделало много шума в литературных кругах и особенно в Московском университете, где Шевырев преподавал русскую словесность. Задетый за живое, профессор с неделю нигде не показывался, но времени даром не терял: обдумал жалобу и повидался с московским генерал-губернатором князем Д. В. Голицыным, который собирался ехать в Петербург и обещал поддержать жалобу. Славянофилы, объединившиеся вокруг «Москвитянина», извергали на голову Белинского страшные ругательства. Профессор Московского универ-

[1] По служебной обязанности *(лат.)*.

ситета историк Т. Н. Грановский попробовал вступиться за Виссариона Григорьевича и «Отечественные записки».

— Неужели после этого вы не постыдитесь подать Белинскому руку? — возмущенно спрашивал Киреевский.

— Не только не постыжусь, а хоть на площади перед всеми обниму! — отвечал Тимофей Николаевич.

Белинский понимал, что стрела попала в цель, и после опубликования памфлета ощущал творческое возбуждение и подъем. «Чувствую теперь вполне и живо,— писал он 31 марта 1842 года Боткину,— что я рожден для печатных битв и что мое призвание, жизнь, счастие, воздух, пища — *полемика*».

Именно такого Белинского запечатлел позже Некрасов в поэме, посвященной великому критику:

И он пришел, плебей безвестный!..
Не пощадил он ни льстецов,
Ни подлецов, ни идиотов,
Ни в маске жарких патриотов
Благонамеренных воров!
Он все предания проверил,
Без ложного стыда измерил
Всю бездну дикости и зла,
Куда, заснув под говор лести,
В забвеньи истины и чести,
Отчизна бедная зашла!
Он расточал ей укоризны
За рабство — вековой недуг, —
И прокричал врагом отчизны
Его — отчизны ложный друг.

Вот почему Виссариона Григорьевича и огорчил, и возмутил поступок Гоголя, отдавшего «Мертвые души» «Москвитянину». Но Гоголь был единственным из трех великих русских писателей, кто оставался в живых. И Белинский начал борьбу за Гоголя.

Совсем недавно в обозрении «Русская литература в 1841 году» он писал о том, что, как с Пушкина началась

истинно русская поэзия, так с Гоголя начался русский роман и русская повесть, а значит — новый период отечественной литературы. Вот почему, несмотря на возмущение поступком Гоголя, письмо Виссариона Григорьевича к нему от 20 апреля 1842 года исполнено самого высокого уважения:

«Дай Вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю Вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь *один,*— и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустною отрадою буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома...»

Гоголь не ответил на апрельское письмо Белинского, но 11 мая он написал Н. Я. Прокоповичу: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой через Петербург». Спустя четыре дня, за неделю до выхода в свет «Мертвых душ», Гоголь снова обратился к Прокоповичу, на этот раз прося его похлопотать, чтобы Белинский в немногих словах откликнулся на его новую книгу.

Виссарион Григорьевич охотно выполнил просьбу Гоголя. В ближайшей, июньской, книжке «Отечественных записок» он упомянул «Мертвые души» в рецензии на роман Н. Кукольника «Альф и Альдона», в «Библиографические и журнальные известия» включил особую заметку, в которой назвал «Мертвые души» самым зрелым и сильным произведением единственного русского поэта-юмориста.

Гоголь, как и обещал, по пути за границу около 20 мая заехал в Петербург. И хотя еще совсем недавно он намеревался встретиться с Белинским и «потрактовать лично», между прочим и о «Мертвых душах», теперь, после появления памфлета против Шевырева и Погодина, он явно избегал общения с критиком, очевидно, не желая, чтобы слухи о встрече дошли до его московского окружения. Однако в начале июня встреча все же состоялась. Возможно, она произошла в квартире Николая Яковлевича Прокоповича в доме Желтухиной на 9-й линии Васильевского острова, где Гоголь останавливался во время своих наездов в столицу. Но личные дружеские отношения между Гоголем и Белинским не завязались и на этот раз, несмотря на то что интерес писателя к статьям критика все возрастал.

Большая статья Белинского с развернутым анализом «Мертвых душ» появилась в седьмом, июльском, номере «Отечественных записок». В первых же ее строчках Гоголь был назван великим талантом, гениальным поэтом и первым писателем современной России.

Независимость и смелость такого утверждения можно в полной мере оценить только на общем фоне непонимания и непризнания «Мертвых душ» читателями и критиками — современниками Гоголя. В помещичьей и чиновничьей крепостнической России «Мертвые души» вызвали еще большее ожесточение, чем «Ревизор». Характерно свидетельство Герцена, записавшего в своем дневнике 29 июля 1842 года: «Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, «Илиада» наша, и хвалят (К. Аксаков), следовательно, другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже разделились антиславянисты». Под антиславянистами Герцен имел в виду русских западников.

Эти разноречивые толки о «Мертвых душах» и их авторе Белинский проницательно объяснил в своей первой большой статье, посвященной новой книге Гоголя: «...ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. <...> Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что обществу легче полюбить его, чем понять...»

Но бранные рецензии, помещенные в петербургских изданиях — «Северной пчеле», «Библиотеке для чтения», «Сыне отечества» и других, возмущенных провозглашением Гоголя первым современным русским писателем,— не представляли ни для Гоголя, ни для прогрессивного развития литературы той опасности, какая крылась в сочувственных и даже хвалебных отзывах Плетнева, Шевырева и К. С. Аксакова. Борьба с ними потребовала от Виссариона Григорьевича не только серьезных усилий, но и известного мужества: ведь это были люди, близкие к Гоголю.

Что же писали о «Мертвых душах» эти друзья Гоголя? Идеализируя патриархально-феодальный уклад жизни, Аксаков, как и другие славянофилы, сводил характерные черты русского народа лишь к приметам национального быта. В этом была одна из причин того, почему в «Мертвых душах» он уловил проповедь классового мира, а отнюдь не сатирическое изображение русской жизни той эпохи. Такой вывод он сделал в своей брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя „Мертвые души"».

Не признал сатирическую направленность «Мертвых душ» и Шевырев, особенно близкий в это время писателю. Он выступил адвокатом большинства гоголевских ге-

роев, очень своеобразно истолковав их сущность. Манилов, по его мнению, плох только потому, что он не деловой человек; Коробочка же с ее памятью и страстью к порядку — в своем роде министр хоть куда; Собакевич, несмотря ни на что, показался ему человеком солидным и твердым, а в кучере Селифане он узрел подлинно русскую натуру. Весь смысл произведения Шевырев свел к игре комической фантазии писателя, якобы придумавшего странный мир сельских и губернских жителей в противоположность «великолепному» и «пленительному» реальному миру.

Не так отнеслись к «Мертвым душам» друзья Белинского. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» (1851) писал: «Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя — это крик ужаса, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения». Так же думал о новом произведении писателя и Белинский.

Иронизируя над славянофильским пониманием национальных особенностей русского народа, Виссарион Григорьевич не раз говорил:

— Наши противники думают, что национальные особенности застыли раз и навсегда, а они развиваются вместе с распространением цивилизации и просвещения.

— Иначе и быть не может,— считал он,— свет победит тьму, просвещение победит невежество, образованность победит дикость, а железными дорогами будут побеждены телеги и тройки.

В большой рецензии, опубликованной в седьмой книж-

ке «Отечественных записок» за 1842 год, он, как и славянофилы, назвал «Мертвые души» «творением чисто русским, национальным», но подразумевалось под этим совсем не то, что у Аксакова. Белинский очень четко разделил две стороны той любви к родине, которая ощущается в новом произведении писателя: это, писал он, произведение «столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни...»

В восьмой книжке «Отечественных записок» Белинский специально выступил с критикой брошюры Аксакова о «Мертвых душах». Тот напечатал ответ в девятой книжке «Москвитянина», после чего в одиннадцатом номере «Отечественных записок» появилась новая рецензия Белинского все на ту же тему: «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души"».

Виссарион Григорьевич согласился со своим бывшим другом, а теперь убежденным, активным противником в том, что Гоголь обладает «удивительной силой непосредственного творчества», но, в отличие от Аксакова, он высказал опасение, что Гоголь порою довольствуется талантливым изображением жизненных фактов, не заботясь об идеях и нравственных вопросах современности или не умея в них разобраться. Белинский предупреждал, что в конце концов это может привести к тому, что гений писателя начнет постепенно падать.

Московские славянофилы бурно выражали свое недовольство выступлениями Белинского.

— Он защищает наносную, чуждую народу петербургскую цивилизацию,— говорили они.

Полемика со славянофилами и с официозным «Москвитянином» захватила Виссариона Григорьевича. По выражению Герцена, он «додразнил их до мурмолок и зипунов».

«Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить,— признавался Белинский в письме Боткину 9 декабря 1842 года.— Бой мелочный, но все же бой, война с лягушками, но все же не мир с баранами». Это была борьба идей и на пересечении ее в 1842 году оказался Гоголь.

Когда в июльской книжке «Отечественных записок» появилась большая статья Белинского о «Мертвых душах», Гоголь был в Гастейне. Мнение Белинского очень интересовало его, и он попросил Прокоповича раздобыть и прислать в письмах по листам экземпляр статьи, особенно страницы, содержащие критику «Мертвых душ». Прочитал он, правда с опозданием, и две следующие статьи Белинского о «Мертвых душах», напечатанные в восьмой и одиннадцатой книжках журнала за 1842 год. Эти статьи произвели на писателя неблагоприятное впечатление из-за полемики с К. С. Аксаковым и из-за того, что Белинский высказался не только о недостатках «Мертвых душ», а гораздо шире — о недостатках, присущих таланту писателя в целом. Этого Гоголь не ожидал.

В отзывах Белинского о «Мертвых душах» был дан честный и прозорливый анализ творчества Гоголя, однако писатель, все больше сближавшийся с идейными противниками Белинского, не хотел этого признать.

Белинский же, несмотря на сделанные им критические замечания и предостережения, не перестал уважать и ценить Гоголя как крупнейшего современного писателя России и, несмотря на постоянную загруженность в журнале Краевского, в октябре 1842 года ходил на 9-ю линию Васильевского острова, в дом Желтухиной, где жил Прокопович, чтобы помогать ему в работе над корректурой «Сочинений Н. В. Гоголя».

...Лето 1842 года Виссарион Григорьевич опять провел в городе, лишь изредка выезжая в Павловск к Панаевым, у которых в этот раз жил и Языков, а позднее — Боткин.

И снова беседы с друзьями и чтение, «неослабное преследование быстро несущейся умственной жизни современного мира» дали Белинскому массу новых и важных духовных впечатлений.

11 июня в Петербург приехал и поселился у Белинского в Семеновском полку Н. П. Огарев, почти две недели перед тем живший у опального Герцена в Новгороде. Виссарион Григорьевич допоздна засиживался со своим гостем. Разговоры шли об общественном, политическом положении в России, о литературе и журналистике, о цензуре, о безрадостных перспективах на ближайшее будущее. Белинский скоро заметил, что хорошее, даже веселое состояние духа, в котором Николай Платонович приехал из Новгорода, сменилось в Петербурге тяжелым и мрачным. После одного откровенного обмена мнениями в бессонную ночь Огарев написал Е. В. Сухово-Кобылиной: «Куда ни обернусь, об чем ни подумаю, от всего так тяжело становится, что глаз не затворишь».

В январе 1842 года Огарев привез из-за границы книгу Людвига Фейербаха «Сущность христианства». Внимательно проштудировав работу немецкого философа, он пришел к выводу, что это самое разрушительное сочинение для религии. Огарев подробно изложил Виссариону Григорьевичу суть его.

Белинский уже был знаком с трудом Фейербаха. О нем еще в марте писал ему Боткин. Потом, когда в начале мая Василий Петрович приехал в Петербург и больше месяца гостил у Белинского в Семеновском полку, они подробно говорили об этой книге. Приезд Огарева привел к новым беседам в Павловске, где последние недели до отъезда в Москву Боткин отдыхал в обществе Панаева и Языкова.

В середине июля 1842 года из новгородской ссылки вернулся в Москву Герцен, и Виссарион Григорьевич получил возможность переписываться с ним, отправляя

письма с друзьями. Александр Иванович в кругу друзей также пропагандировал работу Фейербаха «Сущность христианства».

— Эта книга,— говорил он,— сделала переворот в области метафизических идей, и этот переворот необходимо связать с политическими переворотами, которые возвещали социалисты.

Знакомство с трудом Фейербаха, беседы с Боткиным и Огаревым помогли Виссариону Григорьевичу критически отнестись к мистико-религиозным воззрениям Пьера Леру, Жорж Санд и других утопистов, которых он, захваченный идеями утопического социализма, в это время усиленно читал. Вот что писал, например, П. В. Анненков о сделанных Белинским поправках и замечаниях к изучаемым авторам: «...он говорил о Жорж Санде, которого, впрочем, очень уважал, что писательница эта гораздо более связана теми идеями и принципами, которые отвергает, чем сколько сама то думает; о Тьере он замечал, что в его «Истории французской революции» последняя является чем-то вроде божьего попущения, отчего в ней становится многое непонятным, несмотря на очень ясное и гладкое изложение. Пьера Леру Белинский называл взбунтовавшимся католическим попом и т. д...»

В материализме и атеизме Фейербаха Белинский увидел научное обоснование социализма и стал горячим защитником Фейербаховой философии. И в этом он шел рука об руку с Герценом.

В сентябре в Петербург снова приехал В. П. Боткин и опять, к большой радости Виссариона Григорьевича, остановился у него в Семеновском полку. Возвращаясь домой и завидев в своих окнах свет, Белинский ускорял шаги, с удовольствием представляя, как его друг уже священнодействует над чаем и всякими редкостными кулинарными произведениями.

Боткин, как всегда, привез важные для Белинского новости. Между двумя приездами в Петербург, во второй половине июля, он встречался в Москве с Герценом и обсуждал с ним последние статьи во французских и немецких журналах, появившиеся в связи с идейным размежеванием последователей Гегеля. В некоторых из этих статей критиковались религиозно-догматические учения.

— Обрати особое внимание,— советовал Боткин Виссариону Григорьевичу,— на статьи левых гегельянцев в «Deutsche Jahrbücher»: Герцен их очень хвалил.

В январе — феврале 1842 года К. Маркс написал для этого журнала не пропущенную цензурой статью «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции», а Ф. Энгельс в июле того же года поместил в нем свой отзыв о книге Юнга «Лекции о современной литературе немцев». Именно в этом году в поле зрения Белинского попадают ранние работы основоположников научного коммунизма.

В этот приезд в Петербург Боткин уже был знаком с брошюрой Энгельса «Шеллинг и откровение» и готовил ее сокращенный перевод для первой книжки «Отечественных записок» на 1843 год без указания источника под названием «Германская литература». Виссарион Григорьевич одобрил его намерение и заставил Василия Петровича пересказать ему основные положения книжки «Шеллинг и откровение».

О том, с каким вниманием Белинский отнесся и какое большое значение он придавал выступлениям левых гегельянцев, говорит, между прочим, и такой факт. До Виссариона Григорьевича дошли слухи о том, что уехавший за границу Михаил Бакунин, с которым он расстался более чем холодно, примкнул там к левым последователям Гегеля и напечатал в журнале «Deutsche Jahrbücher» статью «Реакция в Германии». Виссарион Григорьевич

усмотрел в этом дальнейшее развитие его мировоззрения.

— Дорога, на которую теперь вышел Мишель,— говорил он,— должна привести его ко всяческому возрождению.

И он первый поздравил с этим Михаила Александровича Бакунина. Что из того, что расстались они почти враждебно, что на какое-то время их разделили резкие разногласия во мнениях? Теперь снова близки их мысли, а потому — прочь все личное, прочь самолюбие, и да здравствует светлое и высокое убеждение, которое соединяет людей! Не в привычках Белинского было отмалчиваться, ожидать от кого-либо шагов к сближению и признания неправоты. Видя поворот во мнениях друзей — бывших и настоящих,— первым спешил протянуть руку, если их новые мнения сходились с его мнениями. «До меня дошли хорошие слухи о Мишеле,— сообщил он Н. Бакунину,— и я написал к нему письмо!! Не удивляйтесь — от меня все может статься».

«Гадки и пошлы ссоры личные,— писал он тому же Н. Бакунину 28 ноября 1842 года,— но борьба за „понятия" — дело святое, и горе тому, кто не боролся!»

6 ноября Боткин выехал в Москву. Случилось так, что они нечаянно разминулись и не простились: Василий Петрович поехал в полицию за разрешением на выезд, а Белинский отправился пешком на Почтамтскую улицу в контору дилижансов (здание нынешнего почтамта), куда вскоре должен был явиться и Боткин.

Виссарион Григорьевич, не торопясь, в задумчивости пошел к Синему мосту, на котором обычно проводился торг крепостными. Тут вовсю кипела работа: продолжалось начатое еще в 1839 году по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера строительство Мариинского дворца (ныне здание Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся), а рядом уже шла реконструкция деревянного

Синего моста, который было решено расширить почти до ста метров. Ни памятника Николаю I, сооруженного в середине XIX века, ни гостиницы «Астория», построенной в начале XX века, тогда не было.

Оглядевшись, Белинский нигде не нашел Боткина и снова повернул на Почтамтскую. Так и ходил раза три туда и обратно. Все безрезультатно. Пришел домой, на Госпитальную, в Семеновский полк, в надежде, что Василий Петрович вот-вот явится, но, просидев час-другой, наконец понял, что пропустил дилижанс. «Мне стало досадно,— писал он на следующий день Боткину,— что я так глупо не простился с тобою — для чего стоило мне только подождать тебя лишних 5 минут. Оно, конечно, беды большой нет; но как-то неловко и досадно: точно как проигрался или глупость какую отпустил в обществе, одним словом — нехорошо. Я чувствовал себя как будто в положении майора Ковалева, потерявшего нос: роль носа на этот раз играла твоя особа. Чтобы не пропала для потомства сия назидательная фантастическая история, я решился поскорей написать ее тебе, а ты помести ее, для пользы отечества, хоть в «Московских ведомостях», где описываются разные пассажи, назидательные даже».

Белинского ждала срочная работа, и он придвинул было бумаги. Но дело не ладилось, нелепый случай с проводами выбил его из колеи. «Ты поторопился уехать в пятницу утром, вместо субботы вечером, чтоб не мешать мне работать,— и ошибся в расчете,— писал он Боткину,— я вообразил, что ты не уехал, и ничего не делал ни в пятницу, ни в субботу, а потом с неделю посвятил на грусть по разлуке с тобою: у меня сердце нежное и к дружбе склонное... Но Краевский не таков... говорит, дружба — вздор и лень, а надо работать, и я сказал себе, как Кин в глупой трагедии Дюма: „Ступай, бедная, водовозная лошадь"».

Осенью 1842 года Белинский с Госпитальной улицы переехал в дом на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки (ныне Невский пр., 68 — Фонтанка, 40). Построенный в конце XVIII века, этот дом в 30-е и 40-е годы принадлежал купцу А. Ф. Лопатину и был известен как один из самых больших доходных домов в Петербурге. В середине 30-х годов к дому на Невском владелец пристроил дом по Фонтанке и появились корпуса нынешнего второго двора. После этих достроек и перестроек Лопатин сдавал жильцам до 80 квартир.

Это был типичный петербургский доходный дом, подобный тому, в котором в начале 40-х годов жил и который описал в «Былом и думах» Герцен: «...тут есть лавки, магазейны, директоры министерств, m-me Allan (известная артистка), офицеры, винные погреба, шесть этажей и несколько сот окон; по порядку на весь дом ставят воду, топят печи, вставляют рамы, натирают полы».

Белинский называл этот большой дом Ноевым ковчегом, и сам блестяще описал такие дома в очерке «Петербург и Москва». Он снял в доме Лопатина квартиру подешевле с входом по черной лестнице. Окна его комнат выходили во двор, на конюшни и навозные кучи. Но жить ему здесь было удобно и потому, что редакция «Отечественных записок» в это время находилась совсем близко — на Невском проспекте, напротив Гостиного двора, в доме Лукина (ныне участок дома № 44; дом Лукина не сохранился), и потому, что в доме Лопатина, в квартире № 47, жил редактор журнала А. А. Краевский и все журнальные новости Виссарион Григорьевич мог узнать, не выходя из дома, и потому, что дружественные ему Панаевы в начале 1842 года тоже переехали в этот дом — «от Пяти Углов к одному углу». Теперь Белинский мог видеться с ними каждый день и нередко обедал у Панаевых.

Дом находился в непосредственной близости от нового — во всю ширину Невского проспекта — Аничкова

моста, за шесть месяцев возведенного в 1841 году вместо разобранного старого узкого, служившего помехой усилившемуся движению. Новый мост украшали четыре конные группы, отлитые по моделям П. К. Клодта. Жители близлежащих районов были свидетелями не одной метаморфозы, которую претерпевало скульптурное убранство моста: сначала с помощью взвода саперов на специальных катках с Васильевского острова, из мастерской скульптора, были доставлены две бронзовые и две гипсовые скульптуры. Две новые бронзовые отливки, которые должны были заменить временные гипсовые фигуры, до моста не доехали: прямо с Литейного двора их отправили в Берлин прусскому королю, в 1842 году приезжавшему в Петербург на празднование серебряной свадьбы своей сестры и зятя — Николая I. Пришедшие в ветхость, с отвалившимися хвостами, трещинами гипсовые фигуры лошадей были заменены бронзовыми лишь в октябре 1843 года, но в апреле 1846 года их сняли, на этот раз для неаполитанского короля. Новые бронзовые отливки появились на Аничковом мосту только в 1849—1850 гг.

На другом берегу Фонтанки, против дома Лопатина, в доме № 29/66, находилась аптека. Аптечная вывеска и традиционное тогда украшение аптек — двуглавый орел — были прикреплены к угловой части дома, но вход в аптеку, размещавшуюся на втором этаже, был с Невского. Лекарства стоили дорого, потому что за недостатком отечественной фармацевтической промышленности они готовились в основном из заграничного сырья. Недешево обходились покупателям и распространенные тогда лечебные препараты из размельченных драгоценных камней, респираторы из золота для легочных больных. Но для Белинского с его слабым здоровьем близость аптеки все-таки была большим удобством.

По утрам Виссарион Григорьевич чаще всего оставался дома. Поднимался он рано, сам смахивал со всех ве-

щей в кабинете пыль и вскоре уже стоял у конторки или сидел за столом, на котором лежали книги, ожидавшие срочного отзыва.

Стол и конторка были поставлены справа от двух окон. Всю стену над столом занимали портреты исторических деятелей и знакомых критика, среди них акварельный портрет Николая Станкевича. К остальным стенам кабинета — самой просторной комнаты в квартире — примыкали простые, до потолка, незастекленные книжные полки. Чтобы достать книги сверху, Виссарион Григорьевич придвигал складной табурет, легко превращавшийся в лестницу.

В доме Лопатина, в своей сырой и мрачной, никогда не освещавшейся солнцем квартире, критик написал очередной обзор «Русская литература в 1842 году», появившийся в первой книжке «Отечественных записок» за 1843 год. Белинский дорожил этой статьей, четкой по идее и изложению, но петербургская цензура искалечила и эту работу, вырезав из обзора целый печатный лист.

Однако эта статья, известная лишь в искаженном цензурой виде, имела большое теоретическое значение и намечала перспективы развития отечественной литературы. Русскому романтизму, сыгравшему прогрессивную роль, очистившему литературную арену от сора и дрязг псевдоклассических предрассудков и подготовившему возможность самобытной литературы, Белинский противопоставил теперь новое, более мужественное и зрелое, направление, имеющее огромную будущность и начатое гениальными произведениями Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Критик не произнес слова «реализм», но по существу в обзоре русской литературы за 1842 год речь шла именно о становлении русского реализма.

Над своими статьями о литературе Белинский работал со всей присущей его натуре гражданской страстностью. Однако все чаще его тяготили рамки литературно-крити-

ческого жанра, и не только потому, что цензура постоянно калечила его статьи о литературе, вымарывая в них целые страницы, но и потому, что она мешала ему выйти из границ художественно-философской критики.

Узнав о том, что цензура искалечила его обзор о русской литературе в 1842 году, он с горечью писал Боткину: «Писать ничего и ни о чем со дня на день становится невозможнее и невозможнее. Об искусстве ври что хочешь, а о деле, т. е. о нравах и нравственности — хоть и не трать труда и времени». Его гладиаторская натура борца, с каждым годом усиливавшийся в нем интерес к передовым общественно-политическим и философским учениям, к жизни России и Европы требовали выхода на широкие просторы истории, философии, политики.

— Да если бы знали вы,— говорил он в сердцах Панаеву,— какое вообще мучение повторять зады, твердить одно и то же — все о Лермонтове, Гоголе и Пушкине; не сметь выходить из определенных рам — все искусство да искусство... Ну какой я литературный критик?! Я рожден памфлетистом — и не сметь пикнуть о том, что накипело в душе, от чего сердце болит...

«Я ЖАДЕН ДО ВПЕЧАТЛЕНИЙ ИЗЯЩНОГО»

...Это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.

И. А. ГОНЧАРОВ



За годы жизни в Петербурге Белинский не однажды сменил адрес, но, где бы он ни жил, один или с семьей, его комнаты всегда были украшены бюстами и портретами любимых писателей и гравюрами, которые он покупал, не имея средств для приобретения картин.

Многие замечательные творения старых мастеров были известны Виссариону Григорьевичу только по гравюрам. Ведь тогда в Петербурге еще не было Русского музея, созданного лишь в 1896—1897 гг., в Москве еще не было Третьяковской галереи.

Многие произведения скульптуры и живописи, которые теперь мы можем видеть в Эрмитаже и других музеях Советского Союза, тогда находились в частных собраниях, во дворцах знати. Так, например, на Невском, 17, в Строгановском дворце, была собрана одна из крупнейших в России частных художественных коллекций. Дворец стоял как раз напротив дома Голландской церкви (Невский, 20), куда не один год Виссарион Григорьевич

ходил в редакцию «Отечественных записок». Но в Строгановском дворце он не был ни разу.

Эрмитаж в то время тоже не был публичным музеем. Картины, скульптуры и другие художественные коллекции размещались в тех же зданиях, что и жилые комнаты царской семьи,— в галереях Зимнего дворца, в помещениях Старого и надстроенного в 1840—1843 гг. четвертым этажом Малого Эрмитажа. Строительство специального музейного здания для разросшейся коллекции — Нового Эрмитажа — началось в 1839 году и было открыто для публики только в 1852 году, но и после этого вплоть до 1865 года попасть в музей можно было лишь людям во фраке или мундире, предъявив особый билет, полученный в Придворной конторе у директора музея. С 1797 по 1849 год эту должность занимал приехавший из Варшавы Франц Лабенский. С ним и имел дело Виссарион Григорьевич, когда хотел посетить музей.

В свободное время по утрам Белинский иногда бывал в Эрмитаже по нескольку часов, особенно задерживаясь в отделе фламандской живописи.

Систематическому собиранию произведений искусств в России положил начало Петр I, купивший для петергофского Монплезира и Петербургской кунсткамеры много картин именно фламандских и голландских мастеров.

Покупал картины и Александр I, и в частности произведения фламандских живописцев, но большинство эрмитажных фламандцев было приобретено при Екатерине II. Николай I стремился расширять другие отделы своего «домашнего музея», как он называл Эрмитаж,— в первую очередь итальянское собрание и коллекцию испанских картин.

Белинский отлично помнил каждое выставленное полотно фламандских художников. В одном зале были развешаны картины, изображавшие животных, плоды, овощи и цветы. Виссарион Григорьевич останавливался около

«Обезьян в кухне» Давида Тенирса Младшего, с удовольствием всматривался в сидящих группами животных, занятых «беседой» и «трапезой», задерживал взгляд на старой обезьяне, одиноко сидевшей слева в красном с белым пером берете и внимательно глядевшей прямо на зрителя.

Но особенно любимые им полотна фламандцев находились в следующем зале. Вот Иорданс, «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами», поступивший в Петербург из Англии в 1779 году. Глядя на картину, Виссарион Григорьевич думал о том, какой жизнерадостной силой веет от этих грубоватых лиц и как весело созерцать эти живые типы, взятые прямо из обыденной, неприкрашенной жизни.

— Да, голландцы — народ основательный,— говорил он приятелям после посещения музея.

— Больше других народов?

— Да я не о том. Но если сравнивать разные народы по степени рассудочности, практицизма и эстетического чувства, то можно сказать, что соотечественники Рубенса — это в большой мере народ рассудка и практического ума.

В эрмитажной экспозиции в 40-е годы было выставлено несколько работ Рубенса: «Отцелюбие римлянки», «Снятие с креста», «Союз Земли и Воды», «Голова старика», «Статуя Цереры», «Венера и Адонис», «Портрет Шарля де Лонгваля», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Вакх». Белинский хорошо знал и ценил эти полотна, большой талант их создателя. Но одна работа этого мастера ему очень не понравилась, больше того, возмутила его. Это был «Суд Париса», увиденный им в 1847 году в Дрезденской галерее. Сопровождавший его П. В. Анненков впоследствии рассказывал: «Белинский, привыкший понимать Венер и греческих женщин как осуществление идеальной красоты на земле, очутился тут перед тремя нагими матронами, пышущими здоровьем,

упитанными и тучными, как огороды и сады их отечества, будущими матерями здоровых бургомистров и фабрикантов. Живописный реализм возбудил отвращение у поклонника реализма литературного. Он не мог помириться с картиной...»

— Посмотрите,— пытался убедить Виссариона Григорьевича Анненков,— какой изумительный колорит, какая гармония, как жизненны эти тела, от них, кажется, еще веет теплом...

Белинский стоял на своем:

— Это поэт мясников,— твердил он.

Но, увидев затем в большой гравюре рубенсовское «Торжество Вакха», пришел в восторг.

— Вот поразительная сила рисунка,— вскричал он.— Вот где смелость мотивов, а идея доведена до высшей степени ее пафоса и выражения.

— Да ведь эту картину писала та же рука, что и «Суд Париса»,— заметили ему лукаво.

Но он не растерялся и, добродушно посмеиваясь, обезоружил своего оппонента привычной откровенностью:

— Ну, значит, я наврал, да с меня нечего взять — я ведь олух в этих делах.

Однако же этот «олух» мог часами говорить о полотнах известных живописцев, обнаруживая и вкус и чутье.

Картинам с религиозным или аллегорическим сюжетом Белинский предпочитал жанр и пейзаж. Он ценил изящество, но не любил произведений, уводивших от реальности, так же как не признавал и грубого карикатурного обличения.

Работы большинства русских художников Белинский знал лишь по репродукциям. Но то, что иногда становилось доступно широкой публике, он неизменно спешил посмотреть. Едва переехав из Москвы в Петербург, Виссарион Григорьевич отправился в Академию художеств на выставку отечественного искусства, которая устраива-

лась раз в три года. Из постоянной экспозиции музея ему особенно понравились «Причащение св. Иеронима» Доминико и «Моление о чаше» Бруни. К сожалению, очередная временная выставка уже разбиралась, и картины упаковывались в ящики, однако наиболее значительные полотна Белинский успел увидеть. Группа посетителей стояла у громадного полотна К. П. Брюллова, о котором Баратынский сказал:

И стал последний день Помпеи
Для русской кисти первый день.

Но Белинский поначалу отнесся к картине Брюллова без энтузиазма. Это объяснялось его общими взглядами на искусство.

— Я не поклонник академизма в живописи,— сказал он тогда сопровождавшему его Панаеву.— Академические законы задерживают развитие искусства и даже прямо ведут его к упадку.

Он всегда скептически отзывался о художниках, которые приукрашивали современную русскую жизнь всевозможными модными стилизациями.

— Ну, куда это годится? — насмешливо говорил Виссарион Григорьевич, показывая на иллюстрации Г. Г. Гагарина к повести В. Соллогуба «Тарантас».— Русские крестьяне — с греческими лицами героев «Илиады»!

Так же, как в литературе, он и в живописи стоял за изображение жизни в правдивых, а не мифологизированных образах, за служение искусства общественным интересам. С такой позицией в 40-е годы не соглашались даже некоторые авторы «Современника». В анонимной статье «Годичная выставка в Императорской Академии художеств», напечатанной в одиннадцатой книжке журнала за 1847 год, прямо говорилось, что искусство должно заниматься изображением не рабочих мастерских и тяжкого труда, не современностью как таковой, а лишь современ-

ной трактовкой традиционных образов — например мадонн.

Белинский, конечно, прочитал эту статью и в своем «Взгляде на русскую литературу 1847 года» («Современник», 1848, № 1) снова решительно выступил в защиту общественного назначения искусства. «Отнимать у искусства право служить общественным интересам,— утверждал он,— значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия».

Эта жажда социальной остроты заставляла Белинского быть особенно требовательным к смысловой стороне не только литературы, но и живописи, и его ничуть не смущало, что иные его отзывы вызывали резкие возражения даже со стороны друзей. Когда в Дрездене Анненков указал Виссариону Григорьевичу на прославленную «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, Белинский «ужаснулся» небесному спокойствию и равнодушию к чужим страданиям, которые он обнаружил в ее лице.

— Это ультрааристократический образ, а не мать христианского бога,— заявил он Анненкову в музее.

— Почему? — удивился тот.

— Да вы взгляните на ее лицо, на весь ее облик. Посмотрите, сколько здесь холодного, ничем не потревоженного приличия и равнодушия. А младенец у нее на руках еще откровеннее презирает все вокруг.

Но при всех своих симпатиях к искусству содержательному, демократическому Белинский отдавал должное разным явлениям искусства, находя им место в общей сокровищнице художественного творчества.

В той же картине Рафаэля он сумел разглядеть печать гения:

— Какое поразительное благородство, какая грация кисти! — говорил он.— Не могу наглядеться! И знаете, сразу вспоминается Пушкин: то же благородство и грация выражения при строгости очертаний. Между ними есть нечто родственное. Недаром Пушкин так любил Рафаэля...

Всячески выделяя и приветствуя демократическое направление в искусстве, он одинаково не доверял эстетическому чувству и вкусу тех, кто, умиляясь «Мадонной» Рафаэля, с презрением отворачивался от реалистических полотен английского художника Теньера, изображавшего мужиков, видя в них грубую и пошлую прозу жизни, и тех, кто, наоборот, истину и подлинную жизнь находил лишь в картинах Теньера и живописцев, близких ему по направлению и духу творчества, а в «Мадонне» Рафаэля видел только мечту, идеал, то, чего не бывает.

«...Мадонну и сцены мужиков, как ни различны эти явления,— писал он,— произвел один и тот же дух искусства... Рафаэль и Теньер — оба художника и нашли содержание своих произведений в той же действительности, бесконечно разнообразной и всегда единой, как разнообразна и едина природа, как разнообразно и едино существо человека!»

Интерес Белинского к изобразительному искусству объяснялся не только склонностями натуры, «жадной до впечатлений изящного». В восемнадцать лет, став студентом-словесником Московского университета, он уже понимал, что его специальность требует определенных познаний во всех видах искусства.

В его статьях разбросано много ссылок на творчество русских и зарубежных художников, неоднократно сопоставляются литература и живопись, сравниваются законы их развития, делаются обобщения. Интерес к другим видам искусства несомненно обогатил литературно-критическую палитру Белинского.

Но если изобразительное искусство все же не было той областью, в которой Белинский чувствовал себя знатоком, то театр стал для него не только страстью, но и объектом серьезного приложения его критического таланта. Им написано 174 статьи и рецензии о театре, причем большая часть из них — в Петербурге.

«Театр!..— с восторгом писал Виссарион Григорьевич в «Литературных мечтаниях».— Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага истины? В самом деле, не сосредоточиваются ли в нем все чары, все обаяние, все обольщения изящных искусств?..

Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно?..»

Белинский полюбил театр еще в гимназические годы в Пензе. В то время он не только усиленно посещал спектакли в городском театре, но и сам охотно участвовал в любительских: в «Отелло» играл Яго, а в опере Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват», как умел, речитативом вел партию отца Анюты.

После переезда в Москву увлечение театром еще больше захватило Виссариона Григорьевича. В конце 1830 года, когда из-за эпидемии холеры в Москве были закрыты университет и все зрелища, студенты, свободные

от занятий, организовали свой театр: сами исполняли и женские роли, сами делали декорации.

Артистов усердно поощрял профессор математики инспектор казенных студентов П. С. Щепкин. С его помощью молодежь получала костюмы из Петровского театра, а на свои репетиции могла приглашать его брата, знаменитого актера М. С. Щепкина, который не пропускал ни одного университетского спектакля. Белинский не имел в них ролей, но не раз исполнял функции суфлера и потому встречался с Щепкиным не только в зрительном зале, но и за кулисами, и во время репетиций.

В начале 30-х годов Виссарион Григорьевич увидел на сцене П. С. Мочалова, поразившего и навсегда пленившего его своей яркой игрой. В это время Белинский начал писать о театре для «Молвы», «Телескопа» и «Московского наблюдателя». Его статьи о драматургии и театре — «Гамлет, принц датский...», «„Гамлет", драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», «Г-н Сосницкий на московской сцене в роли городничего», «Московский театр», «Петровский театр» и другие — были замечены и в Петербурге. Когда Белинский переехал туда и стал сотрудничать в «Отечественных записках», он был уже хорошо известен не только как литературный, но и как театральный критик.

Подписывая статью 1845 года об Александринском театре псевдонимом «Театрал ex officio», он указывал на свой давний интерес к театру, на то, что уже не раз выступал с театральными рецензиями и обзорами. Да и в тексте статьи он называет себя «присяжным рецензентом» театра.

Театральные интересы Белинского были сосредоточены почти исключительно на драме. Для профессионального восприятия музыки он не чувствовал себя достаточно подготовленным. Демократические слои населения не имели доступа ни в концерты Петербургского филармони-

ческого общества, основанного еще в 1802 году, ни в концерты Общества любителей музыки или Симфонического общества, основанного в 1840 году. До 1839 года Дворянское собрание, где собирались музыкальные общества, давались концерты, балы, находилось в доме В. В. Энгельгардта на Невском проспекте, 30 (ныне Малый зал имени Глинки Ленинградской филармонии), в 1839 году для Дворянского собрания было выстроено специальное здание на углу Михайловской площади и Итальянской улицы (ныне ул. Ракова, 9, Большой зал филармонии). Здесь давались концерты и балы, на которые приглашалась лишь знать.

Оставались закрытыми для Белинского и двери великосветских салонов, где можно было услышать творения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шумана... В 1840-х годах музыкальные вечера часто устраивались, например, в доме князя М. Ю. Виельгорского на Михайловской площади (ныне пл. Искусств, 4). Там бывали Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, М. И. Глинка, К. П. Брюллов. Сюда приглашались все сколько-нибудь замечательные композиторы, музыканты и певцы, приезжавшие из-за рубежа. У Виельгорских пела Полина Виардо. Но Белинский здесь не бывал.

Из великосветских салонов, где можно было послушать музыку или пение, для Виссариона Григорьевича были открыты лишь двери князя Одоевского. В 1840 году Белинский не раз встречался там с музыкантами; как-то слушал музыку Лангера на слова Пушкина «С богом в дальнюю дорогу». Иногда бывал он на музыкальных вечерах у А. Н. Струговщикова, жившего в казенном доме Военного министерства на углу Малой Морской улицы и Гороховой (ныне угол ул. Гоголя и Дзержинского). Он видел здесь Глинку, Брюллова, Витали, Шевченко...

Театров в Петербурге в те времена было немного. Мариинский театр (ныне Академический театр оперы и ба-

лета имени С. М. Кирова) был открыт лишь в 1860 году. Прежде на его месте стояло двухэтажное каменное здание театра-цирка, в котором показывались конные представления, пантомимы, а также ставились музыкальные и драматические спектакли. Но этот театр был построен только в 1847 году, когда здоровье Белинского уже не позволяло ему часто выходить из дома.

В 40-е годы в Петербурге работали Александринский, Михайловский, Большой, Каменноостровский театры. Эрмитажный театр оставался только придворным театром.

В Большом театре (после перестройки здания в последней трети XIX века в нем разместилась консерватория) ставились пьесы, балетные спектакли, оперы. Здесь выступал, в частности, актер-трагик В. А. Каратыгин. Здесь Белинский смотрел балет «Хитана» с участием Тальони.

В живописном уголке Каменного острова, где петербуржцы летом устраивали гуляния и празднества, в деревянном здании бывали выездные спектакли столичных театров. Но в 1844 году пришедшее в негодность строение было разобрано, и архитектору А. К. Кавосу поручили заново отстроить его.

Чаще всего Белинский бывал в самых популярных в то время петербургских театрах: Александринском (ныне Академический театр драмы имени А. С. Пушкина) и Михайловском (ныне Академический Малый оперный театр), открытых один за другим в 1832 и 1833 гг. В иные недели он бывал в театре чуть не каждый день.

В Михайловском театре ставились немецкие, французские и итальянские оперы. Здесь иногда шокировала публику генеральская дочь m-lle Пешель, выпускница Смольного института: единственная из женщин, она осмеливалась сидеть в партере, тогда как другие дамы абонировали места в ложах. Это был театр, более всего посещае-

мый представителями «большого света», предпочитавшими отечественным спектаклям иностранное искусство. В первых рядах партера всегда можно было увидеть одержимых любовью к какой-нибудь заграничной примадонне господ с коробками конфет, под которыми лежали «скромные подарки».

Иронизируя над этой стороной петербургской театральной жизни, Белинский однажды написал Боткину, пародируя письмо Хлестакова:

«...душа моя Тряпичкин, я жуирую... в хорошеньких актрис влюбляюсь, только не в российских, ибо это — mauvais genve[1], а во французских. Объясняться с ними не хочу: жду, чтоб сами догадались, а не то — как раз *окритикую в своей литературе...*»

Зрительный зал Михайловского театра тогда был меньше и не пяти-, а четырехъярусным, но петербуржцы 40-х годов любили его за отличную акустику.

Внешне здание театра не выделялось своим фасадом среди других зданий Михайловской площади (ныне пл. Искусств), строгая простота которых должна была, по замыслу автора архитектурного ансамбля К. И. Росси, подчеркивать великолепие фасада Михайловского дворца (ныне здание Государственного Русского музея).

Виссарион Григорьевич часто ходил в Михайловский театр, где в 40-е годы выступали прославленные певцы. Некоторые оперы, например, «Роберта-дьявола» Д. Мейербера, он слушал не однажды, каждый раз открывая для себя что-то новое, неожиданное, на что прежде не обращал внимания. Мелодию хора чертей из этой оперы он помнил наизусть и, когда бывал в хорошем расположении духа, с удовольствием напевал или насвистывал ее. Очень нравилась ему также опера Вебера «Фрейшюц» («Вольный стрелок»).

---

[1] Дурной тон *(франц.)*.

В сезон 1842/43 года в Петербурге гастролировал итальянский певец Д.-Б. Рубини. 28 апреля 1843 года он пел в Михайловском театре главную мужскую партию в опере Доницетти «Лючия ди Ламермур». Белинский поспешил в театр. В ложе третьего яруса, которую в складчину абонировали Белинский и его друзья, кроме Виссариона Григорьевича были Панаевы, Тютчев, Кавелин. Когда началась патетическая сцена проклятия, горьких упреков героя своей возлюбленной, Тютчев взглянул на Белинского и поразился: столько муки, ужаса и отчаяния было на его бледном, потерянном лице. Виссарион Григорьевич дрожал, еле сдерживал слезы и, когда его руки участливо коснулась дружеская рука, прошептал:

— Рубини — великий актер. Он потрясает меня. Какой драматизм, какая патетика выражений!

На обратном пути из театра Белинский с большим воодушевлением делился своими впечатлениями:

— Сцена, где герой срывает с Лючии кольцо и призывает небо в свидетели ее вероломства,— страшна, ужасна. Боже мой, что это за рыдающий голос — столько в нем чувства, такая огненная лава чувства. Да от этого можно с ума сойти... Мне сразу вспомнился Мочалов с его страстной игрой. Что ни говорите, все искусства имеют одни законы.

Композитор Юрий Карлович Арнольд, познакомясь с Белинским в салоне Одоевского и разговорившись с ним о музыке, заметил, что Виссарион Григорьевич «очень любил музыку и понимал и судил о сочинениях по поэтическому их содержанию, то есть по тому, какие поэтические образы какая музыка в состоянии возродить в его же собственной фантазии».

Через день после первого прослушивания «Лючии», 30 апреля, Белинский снова отправился в театр, чтобы еще раз услышать ту же оперу с участием Рубини.

С конца 1845 года Виссариона Григорьевича нередко можно было застать слушающим музыку в квартире его приятеля Николая Николаевича Тютчева, переехавшего в дом Лопатина с женой Александрой Петровной, тещей и свояченицей. Игра Александры Петровны на фортепиано не оставляла равнодушным даже такого тонкого ценителя музыки, каким был Иван Сергеевич Тургенев.

Слушая ее игру, Белинский, казалось, оставался безучастным. Но Александра Петровна знала, что настанет момент, он подойдет и попросит:

— Ну, а теперь сыграйте для меня «Leiermann» Шуберта. Одно воспоминание об этом «Шарманщике» исторгает у меня слезы. А потом уж сыграйте и адскую пляску из «Роберта».

И все же наиболее сильные переживания Белинскому давала драма. И это понятно: здесь связь с литературой наиболее прямая и тесная.

Если Михайловский театр ничем не выделялся в ансамбле Михайловской площади, всем своим видом напоминая обычный жилой дом, то Александринский театр, по замыслу того же К. И. Росси, играл главную роль в ансамбле площади Александринского театра (ныне пл. Островского) и всеми своими фасадами подчеркивал назначение здания. Фасады Александринского театра украшены коринфскими колоннами, статуями муз — Терпсихоры, Мельпомены, Клио и Талии, скульптурным фризом из трагических масок и цветочных гирлянд. На центральном фасаде скульптуры крылатых гениев Славы лавровым венком венчают лиру. А над ними, в аттике, изумительная, выбитая из листовой меди по модели скульптора С. С. Пименова колесница Аполлона — бога красоты и покровителя искусств.

В сквере перед театром при жизни Белинского еще не было памятника Екатерине II: он был сооружен в 1869—1873 гг., но сам сквер Виссариону Григорьевичу нравил-

ся. Здесь некоторое время была выставлена панорама Иерусалима.

Вначале Александринский театр разочаровал Белинского, хотя он и побывал на выступлениях петербургских звезд: Каратыгина и Варвары Асенковой. Первого он увидел в драме «Велизарий», вторую — в комедии «Полковник старых времен». Два раза был в Александринском театре, а в третий «страх не хочется идти»,— писал он Боткину 22 ноября 1839 года.

Но потом он чаще всего ходил все-таки в этот театр, где наряду с пошлыми водевилями ставились и серьезные спектакли.

От дома Лопатина сюда менее десяти минут хода, и вот Виссарион Григорьевич уже у театра, пробирается между каретами, которых очень много у подъезда,— в Петербурге театр посещают больше, чем в Москве,— и входит в сияющий люстрами зал. Покашливая и сутулясь, он приближается к своему месту.

С утра Виссарион Григорьевич долго работал, устал и ему нездоровится. Но он уже чувствует, что и усталость и нездоровье понемногу начинают отпускать его, и растет ожидание, предчувствие несравненных, прекрасных минут. Ведь сегодня, 9 декабря 1842 года, премьера «Женитьбы» Гоголя.

Оглядывая публику, Белинский всякий раз мысленно отмечает бросающуюся в глаза разницу с Москвой. Там, в Петровском театре, собирается публика самая разношерстная: и тонко образованный аристократ, и разночинец в демократическом платье, и мещанин с грубым, неразвитым вкусом. И каждый имеет свое мнение, отличное от других. Публика Александринского театра выглядит однородной, единой в симпатиях и антипатиях. Это в основном представители того «среднего сословия», которое откровенно и порой карикатурно подражает манерам и вкусам «высшего света». Эта публика обожает драмы

с испанскими страстями и водевиль Н. А. Полевого о Федосье Сидоровне. И на всем здесь видна печать благопристойности, благоразумной середины, казенщины.

«Описывать Петербург физиологически — и не сказать ни слова или не обратить особенного внимания на Александринский театр,— писал Белинский,— это все равно, что, рисуя чей-нибудь портрет, забыть нарисовать нос или только слегка сделать некоторое подобие носа».

Но шум в зале наконец стихает. Дрогнув, медленно ползет и исчезает занавес. Вот и они — волшебники, кудесники сцены! Состав — прекрасный, актеры играют превосходно. Однако как отличаются они от московских артистов манерой игры, демонстрируя свой «норов», свои традиции, свою зависимость от образа жизни столицы.

В антракте А. Н. Струговщиков познакомил Виссариона Григорьевича с К. П. Брюлловым. Белинский знал, что этот известный художник вместе с Жуковским ходатайствовал об освобождении от крепостной зависимости Кирилла Горбунова.

Собеседников заинтересовало мнение критика об игре актеров.

— Я вижу заслугу петербургских актеров в том, что, начав с классического сценизма, они успешно преодолевают старые каноны,— охотно говорил Виссарион Григорьевич.— Ведь что было раньше на русской сцене: и в Петербурге, и в Москве, и в провинциальных театрах? На первом месте певучая декламация и менуэтная выступка. Вспомните: так было у Дмитревского, у Яковлева, у Колосовых, у Семеновой. А у Каратыгиных?! Но они вовремя поняли, что пришла пора играть по-другому. Особенно Каратыгин. Он вырос на традициях классицизма, и он же стал от них отходить. В этом его заслуга перед русским театром.

Струговщикову были известны симпатии Белинского к московской театральной школе, и особенно к Мочалову,

и его холодноватые отзывы об игре Каратыгина. Не забыл он и ссору на торжественном обеде в честь выхода первой книжки «Пантеона...»

— Выходит, в Петербурге вы переменили мнение? — спросил он.

— Это не совсем так,— в задумчивости возразил Виссарион Григорьевич.— Мои симпатии по-прежнему на стороне Мочалова. Ведь он не просто играет, он на сцене так живет, что после каждой удачно сыгранной роли заболевает на несколько дней. Это настоящий прорицатель, это пифия...

— А Каратыгин?

— Каратыгина в Петербурге я смог наблюдать чаще и вот тогда-то заметил в его даровании одну важную особенность. С такой манерой игры, как у Мочалова, невозможно играть ровно. Каратыгин же всю неделю два раза в день играет в Александринском театре в больших ролях и всякий раз хорошо, без срывов и неожиданностей. Ведь это показатель школы, показатель мастерства. Я в этом вижу особенность петербургских актеров: они больше, чем москвичи, умеют, если не быть, то казаться удовлетворительными со стороны внешности и формы. В московском театре главное — вдохновение, здесь — искусство игры, форма.

Помолчав, Виссарион Григорьевич добавил:

— Может быть, Щепкина я за то и считаю истинно великим русским актером, что в нем соединились страстное вдохновение Мочалова и строгое, трудолюбивое искусство Каратыгина.

Белинский возвращался домой расстроенный: несмотря на прекрасную игру актеров, публика ошикала пьесу Гоголя.

Гастроли Михаила Семеновича Щепкина осенью 1844 года в Александринском театре стали для Белинского настоящим праздником. Он не пропустил ни одного

спектакля, много раз встречался и беседовал с любимым актером, знакомым еще по Москве и душевно дорогим ему человеком. Театр все дни был полон, несмотря на то что гастроли Щепкина совпали с выступлениями итальянской оперы, пользовавшейся в Петербурге особенно шумным успехом.

На этот раз Михаил Семенович особенно понравился Белинскому в роли городничего в гоголевском «Ревизоре», но он отметил и игру актера в «Женитьбе» и «Игроках» Гоголя, в «Модной лавке» Крылова, в «Школе женщин» Хмельницкого, в водевиле Ленского «Два отца и два купца»... Его восхищала разносторонность таланта Щепкина, умевшего покорять зрителей и в комических и в трагических ролях, и в роли простого человека и в роли принца Гамлета или Отелло.

После заключительного спектакля с участием Щепкина Виссарион Григорьевич оставался в зале, пока не смолкли последние аплодисменты. Занавес опускался и снова подпимался семь раз. Зрители стоя приветствовали артиста.

Белинский был счастлив за друга: подобное торжество, такой триумф бывают нечасто.

«Театр! театр! каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким невыразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей и какие дивные аккорды срывал ты с них!.. В тебе я видел весь мир, всю вселенную...» — Так писал Белинский в статье «Русский театр в Петербурге», напечатанной в «Отечественных записках» за 1840 год, и с этих же восклицаний он начал свою большую статью об Александринском театре, опубликованную через четыре года. Но теперь это вступление должно было подчеркнуть контрастность нового, далеко не столь идиллически-восторженного отношения к театру, которое объяснялось прежде всего горькими размышлениями Белинского над репертуаром русской сцены.

— Что ставят в Александринском! — насмешливо восклицал он.— Все смешали в одну кучу: сегодня Расин и Шекспир, завтра Озеров и Шиллер, послезавтра Мольер и Скриб, то трагедия, то комедия, то водевиль... А герои! Тут вам и Александр Македонский с пажами и турецким барабаном, и Ломоносов, и Карл Двенадцатый, и Елизавета английская, и Федосья Сидоровна, и Сусанин...

Особенно возмущало его, что дирекция Александринского театра охотно принимала любую пьесу Кукольника, писавшего слишком много для того, чтобы как следует обдумывать свои произведения. Но Кукольник все же был даровитым автором. А в последнее время публике чаще других предлагались пьесы Н. А. Полевого и П. Г. Ободовского, по-видимому, уверенных в том, что для театра можно писать и не имея склонности к драматическому искусству.«Если б не усердие и трудолюбие этих достойных драматургов,— скептически отмечал Белинский в статье «Александринский театр»,— русская сцена пала бы совершенно за неимением драматической литературы. Теперь она только и держится, что гг. Полевым и Ободовским, которых поэтому можно назвать русскими драматическими Атлантами».

Виссарион Григорьевич приходил к неутешительным выводам и сочувствовал актерам, которые были вынуждены тратить талант на убогие пьесы.

Подобные суждения, без обиняков высказанные в печати, увеличивали число недругов Белинского. Краевский попросил его быть осторожнее, но Виссарион Григорьевич запротестовал:

— Пусть другие замаскировывают истину уклончивыми выражениями. А я презираю робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые любая сторона может толковать в свою пользу. Я вижу в этом низкое желание служить и вашим и нашим. Нет, и еще раз нет! Без резкостей, без откровенно высказываемых оценок наша лите-

ратура превратится в стоячее болото, в лживую повторяльщицу избитых истин.

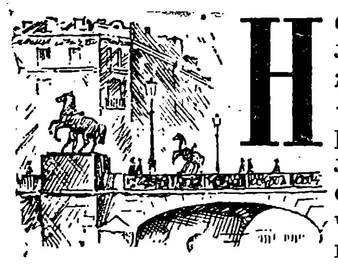
Не всегда и не все суждения Белинского о театре были справедливы. Можно поспорить хотя бы с его отрицательными отзывами о пьесах Мольера или об игре В. Н. Асенковой. Ошибаясь иногда в оценках отдельных фактов театральной жизни, он был прав и последователен в толковании сущности, задач и перспектив театра и драматургии в борьбе за реализм, за осуществление передовых общественных и эстетических идеалов. Уже начиная со статьи «И мое мнение об игре г. Каратыгина», Белинский неизменно выступал за демократизацию театрального репертуара и актерской игры, за правдивый показ жизни в лицах и в действии, за то, чтобы видеть на сцене «всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным... видеть биение пульса ее могучей жизни».

7 Зак. № 55

«ВЫШЕ ВСЕГО ОБРАЗОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ...»

...тысячи людей сделались людьми благодаря ему. Целое поколение воспитано им.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ



Не сразу, но и в Петербурге Белинский собрал вокруг себя кружок близких ему людей.

— Каждому человеку,— говорил он,— нужно иметь свой уголок, свое дружеское прибежище от ненастья жизни. Вот и я, часто больной, в мерзейшую погоду плетусь куда-нибудь, чтобы отдохнуть душой среди понимающих, сочувствующих мне людей.

Переезд в ноябре 1842 года на Невский проспект в дом Лопатина облегчил общение с друзьями. В любое время можно было пойти к Панаевым, чтобы узнать новости и поделиться своими мыслями. Заработавшись допоздна и забыв поесть, можно было тут же послать записку Авдотье Яковлевне: «Умираю с голоду, пришлите что-нибудь поесть; так заработался, что обедать не хотелось, а теперь чувствую волчий аппетит». У Панаевых в удобных комнатах, вмещавших много народу, чаще всего и собирались.

Многие навещали Белинского и в его небольшой квартире, иные — каждый день, но все сразу из-за тесноты

старались не сходиться. Зато все знали, в какой день и где можно наверняка застать Виссариона Григорьевича,— туда и шли, чтобы повидаться с ним и поговорить: к Панаевым, А. А. Комарову или в холостяцкую квартиру Александра Яковлевича Кульчицкого и Николая Николаевича Тютчева в доме Жербина на Михайловской площади, а позднее в квартиру Тютчевых в доме Лопатина.

Бывший редактор «Харьковских губернских ведомостей» Кульчицкий служил в канцелярии военного министерства. Тютчев — в департаменте податей и сборов министерства финансов. Оба к казенному жалованью прирабатывали в «Отечественных записках» переводами, а Кульчицкий — еще и юмористическими рассказами. В конце 1842 года с ними поселился рекомендованный Белинским Константин Дмитриевич Кавелин, переехавший в Петербург из Москвы и поступивший на службу в министерство юстиции — помощником столоначальника. Он занимался изучением права и судопроизводства и работал над магистерской диссертацией.

Константин Дмитриевич приехал в Петербург с сильными славянофильскими настроениями. Но Белинского он восторженно любил с той далекой уже зимы 1834 года, когда Виссарион Григорьевич готовил его к поступлению в Московский университет. Поэтому, несмотря на различия во взглядах, Кавелин отправился к Белинскому и был им тепло встречен.

Виссарион Григорьевич был старше своего бывшего ученика на семь лет, но принял его как давнего друга и даже прочитал ему отрывок из письма покойного Николая Владимировича Станкевича. Он скоро понял, что Кавелин находится во власти славянофильских идей, и в беседах с ним намеренно касался реформ Петра I.

— Пишите скорей его историю,— внушал он,— а то пройдет сто лет, и никто не поверит, что Петр не миф, а историческая действительность.

В конце 1843 года Кавелин отправится в Москву уже убежденным западником и примкнет там к Т. Н. Грановскому, Е. Ф. Коршу, В. П. Боткину. Виссарион Григорьевич скажет ему тогда на прощанье:

— Ну, молодой глуздырь, вот вам мой завет в Москве: когда встретитесь с Шевыревым, обходите его за версту. Заметьте: в тот день, как с ним встретитесь, вы сильно поглупеете.

В доме Лопатина до весны 1843 года жил и Андрей Александрович Краевский, но он не особенно жаловал кружок своего ведущего сотрудника и, встречаясь с его приятелями, держался несколько высокомерно. Впрочем, о его отсутствии на этих дружеских встречах никто не сожалел.

Встречались, как правило, по вечерам, если не шли в театр. Приходили также Михаил Александрович Языков — хромой остряк, веселивший всех шутками; Иван Ильич Маслов, прозванный Тургеневым Прекрасной Нумидянкой.

С приходом Николая Христофоровича Кетчера, москвича, с 1843 по 1845 год жившего в Петербурге, почти каждый раз возникал и дотемна не прекращался спор об историческом значении Москвы и Петербурга.

Охотно посещал дружеские вечера в доме Лопатина сотрудник «Отечественных записок» публицист и критик Павел Васильевич Анненков, в ноябре 1843 года вернувшийся из-за границы. Он жил на Театральной площади в доме № 14/16, и Виссарион Григорьевич в свою очередь с удовольствием навещал этого умного, широко образованного человека.

Неизменно отправлялись прямо к Белинскому и время от времени приезжавшие в Петербург Василий Петрович Боткин и Николай Платонович Огарев.

С Боткиным Виссарион Григорьевич был особенно близок и мог ему сознаться в том, что ближайшее

петербургское окружение далеко не во всем удовлетворяет его.

— Ты счастливее меня,— сетовал он,— с тобою Герцен.

Да, Герцена с его острым, смелым умом, глубокими познаниями, постоянным интересом к политическим вопросам Белинскому не хватало в Петербурге все ощутимее. «У тебя страшно много ума,— однажды написал он Александру Ивановичу,— так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку...» Белинскому мало было сознавать свое родство с Герценом во взглядах на николаевскую действительность. Герцен был нужен рядом как никто из друзей, и заменить его было некем.

«Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою,— писал Белинский 3 апреля 1843 года Боткину,— или, если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом,— и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры». Встречи с такими людьми доставляли Виссариону Григорьевичу минуты душевного восторга.

Такого человека он нашел в Иване Сергеевиче Тургеневе. После почти полугодового пребывания в Германии Тургенев возвратился в Петербург в декабре 1842 года и в самом начале 1843 года вошел в кружок Белинского.

Было ему тогда двадцать пять лет; внешность, манеры, привычка носить лорнет выдавали в нем человека светского. К этому времени он уже отказался от мысли посвятить себя ученой или педагогической деятельности, но все-таки из чисто идейных побуждений начал хлопотать о зачислении чиновником по особым поручениям в министерство внутренних дел, где начальником одной из канцелярий был известный писатель и друг Пушкина Владимир Иванович Даль. Тургенев надеялся, что эта

служба даст ему возможность содействовать скорейшему освобождению крестьян. Такое решение было принято под воздействием недавних встреч за границей с М. А. Бакуниным, который ратовал за объединение демократических сил России и проникновение их в государственный аппарат.

От Бакунина же Тургенев много услышал о Белинском, за выступлениями которого в печати с интересом следил с середины 30-х годов. Неудивительно, что, снова оказавшись в Петербурге, Иван Сергеевич решил лично познакомиться с критиком. В сопровождении Н. В. Зиновьева, чиновника министерства финансов, знакомого с Белинским, Герценом, Бакуниным, он явился в дом Лопатина в квартиру № 55, которую занимал Виссарион Григорьевич. Небогатое жилье Белинского не носило никаких следов холостяцкого запустения. Наоборот, все в комнатах и во внешнем облике хозяина, одетого в скромный, но опрятный серый на вате сюртук, говорило о любви к чистоте и порядку.

Ивана Сергеевича поразил болезненный вид Белинского. С первого взгляда бросались в глаза все типичные признаки чахотки: худоба, впалая грудь, нездоровый цвет лица и почти постоянный кашель. Наблюдая в первые минуты знакомства мимику Белинского, Тургенев обратил внимание на «суровое и беспокойное выражение, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей».

Вначале в присутствии незнакомого человека Виссарион Григорьевич по обыкновению говорил как бы исподволь, без одушевления, опустив глаза, с несколько натянутым выражением лица. Но постепенно с общих понятий разговор перешел к живым, всех волновавшим проблемам, и Тургенев увидел, как вдохновение вдруг неузнаваемо преобразило Белинского. Он встал и со свободой, подтверждавшей привычку, заходил по комнате, постуки-

вая тонкими пальцами по табакерке, неожиданно останавливаясь и в упор взглядывая на собеседника.

« Я не видал,— утверждал после этого Тургенев,— глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления...»

Манерой держаться, произношением, некоторыми чертами характера Виссарион Григорьевич показался Тургеневу человеком не только чисто русским, но в чем-то типичным москвичом.

Белинского не мог не заинтересовать рассказ Тургенева о встречах с Бакуниным. Он живо расспрашивал его о сближении Михаила Александровича с левыми гегельянцами, о философских исканиях в Европе. Иван Сергеевич отвечал со знанием дела: два семестра, проведенные в Берлинском университете, специальные занятия гегелевской философией и беседы с Бакуниным дали ему представление о самых последних спорах в этой области.

— Знаете,— вдруг сказал Иван Сергеевич,— ведь я вначале был очень сердит на вас за отзывы о Бенедиктове и Марлинском. Я тогда целовал имя Марлинского на обложке журнала, плакал над стихами Бенедиктова — и вдруг, помнится в тысяча восемьсот тридцать пятом году, появляется ваш разбор, в котором вы подняли руку на моих кумиров. Как же я негодовал тогда против вас! Но знаете, сознаюсь, в глубине души что-то шептало мне, когда я читал вашу статью: «Он прав»... И действительно, прошло немного времени, и уж я сам не хотел читать моих прежних идолов. Вы были правы, когда сняли их с пьедесталов и поставили на должное место.

— Да-да,— смеясь, отозвался Белинский,— и досталось же мне тогда от почитателей этих поэтов. «Этот наглый критикан дерзко посягнул на святые авторитеты» — это было самое мягкое, что они говорили.

Виссарион Григорьевич был рад знакомству и не скрывал этого. Тургенев скоро сделался для него не только приятным, но — желанным и даже необходимым собеседником: так много в нем было ума, желчи и юмора, неизменно вызывавших интересную беседу или дискуссию. А если Иван Сергеевич к тому же начинал со свойственной ему артистичностью изображать кого-нибудь из знакомых москвичей с их идеализмом и «москводушием», Белинский просто «пьянел от удовольствия».

Не дождавшись прихода Тургенева, Белинский нередко сам отправлялся к нему на Стремянную улицу, в дом Гусевой (дом не сохранился; на его месте теперь стоит дом № 21).

Иван Сергеевич отличался рассеянностью. Однажды, пригласив к себе петербургских друзей-литераторов, и в первую очередь, конечно, Белинского, он забыл об этом. Зная его, друзья сердились недолго, даже когда такой случай повторился. А было это так.

Как-то в присутствии Белинского Тургенев вздумал рассказать, какого великолепного повара ему удалось нанять на лето и какое удовольствие он доставляет своими обедами гостям, приезжающим на дачу. Виссарион Григорьевич, метнув в него лукавый взгляд, заметил:

— Небось графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете.

— Вот я и поймал вас на слове,— весело парировал Тургенев.— Приезжайте, и я сделаю для вас такой фестиваль, какого вы и не ожидаете. Но дайте честное слово, господа, что вы обязательно приедете.

Зная забывчивость Тургенева, Виссарион Григорьевич сказал ему:

— Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения и не сыграли с нами такую же штуку, как зимой.

В назначенный Тургеневым день, в одиннадцать ча-

сов, шестеро приглашенных выехали в коляске в Парголово. Жара и пыль утомили путников, и все обрадовались, когда достигли цели.

— Что же Иван Сергеевич не выходит нас встречать? — удивилась Авдотья Яковлевна.

Гости попритихли и, пройдя через палисадник, стали стучать в закрытые двери дома. Никто не отозвался.

— Вот тебе раз! — возмутился Белинский.— Ведь я специально писал ему, что в час мы будем у него.

Виссарион Григорьевич хотел немедленно уехать обратно, но кучер боялся загнать лошадей. Пришлось разместиться прямо на ступеньках террасы. Наконец появился какой-то мальчик и сказал:

— Барина нет. А повар сидит в трактире.

Мальчику дали денег, и он убежал за поваром, чтобы тот хотя бы пустил всех в дом передохнуть с дороги.

— Где барин? — спросил Белинский, когда повар явился.

— Не знаю.

— А обед он тебе сегодня заказывал?

— Никак нет-с!

Белинский расхохотался:

— Ну и фестиваль нам задал Тургенев!

Повар пошел искать барина, а гости отправились к озеру.

— Как легко здесь дышится, не то что в городе,— тихо проговорил Виссарион Григорьевич, когда вся группа расположилась под деревом.— И как обидно, что отдых испорчен...

Вскоре пришел смущенный Тургенев и стал энергично уговаривать, чтобы друзья остались. В ожидании заказанного обеда он проявил изобретательность, занимая гостей. Особенный успех имело предложение стрелять в цель, тем более интересное, что никто из гостей стрелять не

умел. Белинский неожиданно первый и единственный раз попал и потом время от времени приговаривал:

— Ну, господа, теперь я сделаюсь бретером!

Понимая, что обед, наскоро приготовленный поваром из тощих кур, не мог показать его кулинарного мастерства, Тургенев стал приглашать всех на следующее воскресенье. На полуслове его прервал дружный хохот.

— Тургенев, вы наивны, как младенец! — сквозь смех кричал Белинский.— Нет, теперь уж старого воробья на мякине не надуете.

«Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек,— писал Виссарион Григорьевич Боткину 3 апреля 1843 года о Тургеневе.— Беседа и споры с ним отводили мне душу. <...> У Тургенева много юмору. <...> Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я, по слабости характера и неопределенности натуры и дурного развития, довольно падок».

Однажды погожим вечером Виссарион Григорьевич вместе с Тургеневым и Зиновьевым отправился к А. А. Комарову, жившему в 10-й роте Измайловского полка (ныне 10-я Красноармейская ул.). У того на стенах висели портреты парижских певиц и актрис. Лицо одной из них понравилось Белинскому выражением неопределенной задумчивости. Заметив это, Тургенев тут же решительно высказал собственное мнение на этот счет:

— Вы любите женщин с неопределенным выражением. Но что в них толку? Вот эта — другое дело: я вижу, что это женщина неглупая и страстная, и знаю, с кем имею дело; а та — какой-то субстанциальный пирог.

Белинский рассмеялся и... согласился.

Иван Сергеевич со своей стороны тоже проникся к

критику добрым чувством. Теперь его нисколько не обманывала внешность Белинского: он узнал его и полюбил искренне и глубоко. «Кто видел его,— писал Тургенев впоследствии,— только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг,— тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся».

Около 20 апреля 1843 года, перед пасхой, Тургенев собрался в Москву, а оттуда в Премухино к Бакуниным, для которых Виссарион Григорьевич передал письмо. Перед самым отъездом Иван Сергеевич пошел к критику проститься в новую его квартиру № 48 в доме Лопатина, в которую тот перебрался из 55-й, однако хозяина не застал и оставил свою только что изданную книжку «Параша. Рассказ в стихах». Имя Тургенева было обозначено инициалами: Т. Л. Видимо, в тот же день Белинский послал ему записку с выражением сожаления, что им не удалось повидаться. «Ваша беседа,— писал он,— всегда отводила мне душу, и, лишаясь ее на некоторое время, я тем живее чувствую ее цену».

«Параша» так понравилась Белинскому, что он тотчас засел за рецензию, которая и появилась в майском номере «Отечественных записок». В ней говорилось о творческом таланте, зрелом и сильном, автора поэмы, сумевшего за внешне незатейливым сюжетом выразить богатое содержание.

Иногда кто-нибудь из друзей приносил сплетни о Тургеневе. Виссарион Григорьевич, не дослушав, прерывал рассказчика:

— Что мне за дело до всех анекдотов о его чудачествах? Кто написал «Парашу», тот сумеет поправить себя, в чем будет нужно и когда будет нужно.

Белинский привлекал к себе людей не только смелым умом и ярким талантом, не только редкой способностью с восторгом и энтузиазмом отнестись к чужому таланту, «протянуть,— как писал Тургенев,— руку начинающему и приветствовать все, что хотя немного обещало быть полезным приращением тому, что Белинский любил самой страстной любовью, — русской словесности». Он привлекал обаянием всей своей натуры, был радушен, сердечен и прост с людьми, ему приятными и близкими. Ни мелкого самолюбия, ни позерства или каких-либо притязаний на доктринерство и непогрешимость собственных мнений не было в нем. Горячо отстаивая свои убеждения, он не был нетерпим к мнениям других, и если чувствовал в словах противника логику и смысл, если понимал, что сам был не прав, то тут же с большой готовностью соглашался, всячески браня себя.

Неудивительно, что отношения в ближайшем окружении Белинского неизменно оставались самыми непринужденными. Даже особо серьезные разговоры и споры перемежались остротами. В большом ходу были шутливые прозвища: Кавелина, «сына своего сердца», он вместе со всеми дразнил «молодым глуздырем», а Кульчицкого — «Гадюкой».

Виссарион Григорьевич с удовольствием участвовал в товарищеских шутках, с добродушной неприхотливостью радовался любому пустячному поводу к веселью, с выражением беспечного счастья в глазах смеялся, как ребенок, даже явно неудачным остротам и сам по обыкновению много шутил, и тоже не всегда удачно, над собой и над своими приятелями. Любимых слов и поговорок, к которым он прибегал в таких случаях, Виссарион Григорьевич не менял подолгу.

— Мальчик, берегитесь — я вас в угол поставлю,— не однажды «срезáл» он Тургенева.

Позднее, перебирая в памяти вечера, проведенные в Петербурге в общении с Белинским и его друзьями, Кавелин писал: «Аристократическим изяществом людей с достатком все мы, кроме Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократические салоны и литературные тузы были нам известны только по имени. Но весело нам было очень, насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановке сверху и кругом».

Белинский всему отдавался со страстью, с завораживающей, почти детской доверчивостью и душевной открытостью. Даже какой-нибудь копеечной игрой в преферанс он — пусть очень ненадолго — увлекся так искренне, со всем пылом и серьезностью, что поразил друзей, привыкших, казалось, к его «неистовому» характеру.

Игру эту он знал плохо и, по собственному признанию, играя, горячился «как сумасшедший».

Как-то играли без всяких денег. Виссарион Григорьевич удачно начал, выигрывал и с довольным видом весело, торжествующе поглядывал на приятелей:

— Уж я вас сейчас обрежу, господа! Уж я вас обрежу...

Но незаметно для него после нескольких его ошибок игра приняла другой оборот. Он потемнел, весь сник, съежился и, опустив голову, стал жаловаться с самым неподдельным отчаянием:

— Да что это за судьба такая! Во всем несправедлива ко мне, везде преследует...

— Да что вы точно к смерти приговоренный? — возмущался Тургенев, желая разрядить обстановку.— Это уже ни на что не похоже. Если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты.

— Нет,— глухим голосом отвечал Белинский,— все кончено: я только до бубновой игры и жил!

Бросив карты, ссутулившийся и мрачный, он ушел в другую комнату. Игра продолжалась, но с этой минуты, не сговариваясь, все игроки «работали» только на Белинского. Кульчицкий нарочно перебирал взятки, и все громко, чтоб было слышно в соседней комнате, кричали:

— А-а, наконец-то и Гадюка попалась!

Через минуту-другую шутка повторялась: попадался Маслов, и все энергично выражали радость:

— Прекрасная Нумидянка перебрала взятки. Извольте, мадам, платить штраф!

Виссарион Григорьевич тихонько приоткрыл дверь и с сияющим лицом заглянул в комнату. На него «не обращали внимания», шумно споря из-за очередного штрафа. Тогда он подошел к столу:

— Ну, что, господа?

— Уж я вас сейчас обре-е-жу... — подхватили все хором.

Белинский смеялся больше всех.

Лучшим знатоком преферанса среди них был Кульчицкий, и приятели как-то в шутку попросили его:

— Напишите вы для Белинского поучение, а то смотреть больно, как он страдает.

Кульчицкий и в самом деле написал и под вымышленным именем выпустил брошюру «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым». Она вышла в Петербурге в 1843 году. Виссарион Григорьевич вдоволь посмеялся, читая ее. На каждой странице он находил шутливые советы, предназначенные непосредственно ему.

«Садясь в преферанс,— писал Кульчицкий,— кроме специальных познаний, должно иметь непоколебимое присутствие духа, единство цели и сосредоточенность мысли. Великая игра сия требует соединения в одном ли-

це предприимчивости полководца, настойчивости дипломата и глубокомыслия ученого...

Насчет присутствия духа и предприимчивости многие имеют весьма ложное понятие. Я видел людей, которые безумно расточают врожденную им храбрость и врываются в отчаянные игры почти без оружия (т. е. без взятки). Правда, дела их увенчиваются иногда блистательным успехом, но, увы, слишком кратковременным: грозный расчет чаще всего падает позором на главу их, опустошением на карман! Не таково присутствие духа мужа испытанного!.. Поэтому, садясь в преферанс, не только не должно хвастаться перед другими, говоря: «Я нынче, господа, обрежу вас», но даже и подумать о том перед самим собой. Приведем разительный тому пример из древнего мира. Когда Аннибал запугал римлян своими победами, они выслали к нему Фабия, старика чрезвычайно тонкого и замысловатого. Прибыв к войску, он тотчас понял, что тут силой ничего не возьмешь. Тогда он прибегнул к хитрости и отправился в стан к Аннибалу, будто бы для переговоров. Аннибал его принял очень вежливо и приказал поставить самовар. Так как дело шло уже к вечеру, то хозяин спросил у Фабия: «А что, не хотите ли в преферансик?» — «Нет,— отвечал Фабий,— я плохо играю».— «Ничего, мы сядем по маленькой». Сели и записали по XXX. (Тогда записывали римскими цифрами.)

— Разве,— сказал Фабий,— для занимательности игры не поставить ли нам на пульку судьбу Рима и Карфагена! От этого и казна больше выиграет и нам будет...

— Почтеннейший,— перебил его Аннибал,— оно так, казна действительно больше выиграет, да ведь я вас обдую...

— Это еще неизвестно...

— Обдую непременно. В Карфагене я обдувал весь свет.

— Ну, это еще неизвестно.

Слово за слово; поспорили. И в то время как Аннибал, ставя Фабию ремиз за ремизом, хвастал и смеялся, старый римлянин тихо взывал к богам: бессмертные!.. Между тем счастие к Аннибалу валило чертовское.

— А что, а что! — кричал он в восторге.— Вот вам еще ремиз!

— Ничего,— отвечал Фабий,— finis coronat opus[1]!

— Какой тут finis,— смотрите — я в малине.

— Finis coronat opus,— повторял упрямый старик.

И действительно, под конец Аннибал как-то зацепился и поставил три ремиза. Это его взбесило.

— Играю,— говорит,— в червях.

И, несмотря на карты, он объявил игру и поставил еще пять; потом дальше, дальше. Кончилось тем, что Аннибал проиграл Фабию все деньги, вещи, дорожную шкатулку, войсковой багаж и пр., и со стыдом бежал зимовать в Капуу».

Белинский признавался, что сам он не силен в юморе.

— Я шутить не мастер,— говаривал он.— Моя ирония веска и неповоротлива и сразу становится сарказмом, чтоб попасть не в бровь, а в глаз.

Однако его ответ на шутку приятеля, помещенный в четвертой книжке «Отечественных записок» за 1843 год, был написан в легкой, изящной манере, как того и требовала достославная сия тема.

Брошюру Кульчицкого Виссарион Григорьевич послал с Тургеневым в Премухино в подарок «старикам» Бакуниным.

Друзей удивляла и даже ужасала страсть, с какой Белинский с конца 1842-го до лета 1843 года предавался преферансу. Но «страсти нет; ты поймешь, что есть»,— признавался Виссарион Григорьевич Боткину.

---

[1] Конец венчает дело *(лат.)*.

Была тоска от одиночества и неустроенности личной жизни. Она гнала его из дому и заставляла «с холодным отчаянием убивать время на преферанс, ставить ремизы, проигрывать последние деньжонки, беситься, дойти до мальчишеского малодушия, сделаться притчею во языцех».

Было нездоровье, усугублявшее тяжелое расположение духа. Несмотря на сердцебиение, Виссарион Григорьевич по совету врача стал лечиться «гидропатиею»: «...прею в паровой ванне, а потом леденею в холодной, а там костенею под дождем и ду́шею»,— сообщил он Боткину.

Но такое лечение мало способствовало выздоровлению, как и изнурительная литературная поденщина: здоров ли, болен ли — пиши!..

Год от года возрастало недовольство Белинского Краевским, росло его отчаяние от невозможности провести через цензуру свои мысли и идеи.

Тем большее значение приобретало для него общение с друзьями, с которыми можно было выговориться, обсудить злободневные проблемы, пошутить, отвести душу.

Передовые люди тянулись к Белинскому, ища возможности в личной беседе с ним услышать продолжение и развитие темы, затронутой в очередной статье критика и наполовину искаженной цензурным вмешательством.

«Бросишь вокруг себя мысленный взор,— писал И. С. Тургенев,— взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность

во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический».

Некоторые современники — особенно те, кого Белинский задел в своих статьях,— охотно распространяли слухи о невежестве «этого недоучившегося студента».

— Что он может сказать дельного о философии Гегеля, если даже не читает по-немецки? — иронизировали иные.

И в знании французского языка кое-кто из приятелей значительно превосходил Виссариона Григорьевича.

Да только что из того? Не получив законченного университетского образования, Белинский всю жизнь неустанно пополнял свои знания, прочитывая и для себя, и по обязанностям критика горы книг по самым разным областям науки и человеческой деятельности, общаясь с лучшими, образованнейшими людьми своего времени, такими, как Герцен, жадно ловя все новости об общественном движении и философских исканиях. Остальное делал его ум, самобытный, острый, могучий даром предвидения, упорный в отстаивании истины. «Он не держал на ученой конюшне оседланного готового коня, с нарядной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду haute école[1], а ловил из табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученых коней»,— сказал о нем Иван Александрович Гончаров, вошедший в кружок Белинского позднее, в 1846 году.

---

[1] Высшей школы *(франц.)*.

Новому человеку войти в кружок было не так просто. Царившая там атмосфера доверия, искренности и свободомыслия требовала от вновь входящего каких-то гарантий: ими могли быть либо рекомендации общих друзей, либо честный и оригинальный ум, проявленный в произведении, принесенном на суд Белинского.

Новички, наблюдая Белинского, иногда делали опрометчивый вывод о его чрезмерной снисходительности к своим друзьям. Да, Виссарион Григорьевич порою бывал слишком щедрым на похвалы и восхищение, когда кто-то из членов кружка создавал что-либо удачное или полезное. Время от времени он «влюблялся» в кого-нибудь из своих приятелей и тогда начинал безудержно восторгаться всеми его мнениями, самозабвенно преувеличивая в нем даже намеки на прекрасные качества.

— Страстность составляет преобладающий элемент моей души,— говорил он не раз.— В ней источник моих мук и радостей. Судьба отказала мне слишком во многом, и я не умею отдаваться вполовину тому немногому, в чем она мне не отказала. Для меня и дружба к мужчине есть страсть, и я бываю ревнив в этой страсти...

Однажды Белинский, по привычке меряя широкими шагами комнату, хвалил, хотя и довольно вяло, какое-то очередное сочинение Панаева. Тот слушал, довольный.

— Творчества у него ни капли,— вдруг шепотом, со вздохом заметил Виссарион Григорьевич, проходя мимо Гончарова.

Иван Александрович не удивился: он уже понял, что в таких случаях, хваля приятеля, Белинский грешил не совестью, а мягкостью сердца. Гончаров знал, что, когда дело коснется убеждений или морали, Виссарион Григорьевич, даже рискуя дружбой, резко и прямо выскажет все, что думает. Он так и говорил, бывало:

— Убеждение должно быть дорого потому только, что оно *истинно,* а совсем не потому, что оно *наше.*

«Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали,— рассказывал Кавелин,— но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он ее выворачивал тотчас же напоказ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборне, перед всем кружком, на каждом шагу. <...> Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси. Многие, побывавши под сильным влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению». Благотворное влияние его честной и мужественной моральной проповеди испытали на себе все члены кружка.

Дошли каким-то образом до Белинского слухи, будто Тургенев рассказывает в светских салонах, что не берет от редакторов денег за свои произведения, находя это унизительным. Виссарион Григорьевич разразился злой и презрительной отповедью:

— Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев!

Иван Сергеевич не обижался. Он и сам понимал, что наговорил лишнего, и тут же, после выслушанных упреков, при всех искренне и добродушно каялся.

А Белинский снова и снова — в который раз! — «упорствуя, волнуясь и спеша», принимался убеждать окружавших его талантливых людей в том, что их место в обществе и назначение в жизни требуют от них особенной ответственности за свои поступки и за свои слова.

— Господа,— страстно говорил он,— мы печатно обличаем пошлость, равнодушие, эгоизм общественной жизни. Значит, мы во всеуслышанье объявили себя непричастными к этим недостаткам. Так будем же осмотрительными в своих поступках. Ведь если другим простят их недостатки, то с нас за это же самое спросят с неумоли-

мой строгостью. И правильно сделают! Иначе зачем мы возмущаемся этими недостатками в своих статьях? Какой прок выйдет из того, что мы пишем? Мы сами будем подрывать веру в наши слова!

Он был, по словам Авдотьи Яковлевны Панаевой, своего рода «нравственной уздой» для друзей, ибо всегда беспощадно высмеивал лесть и лицемерие, лень и моральную расслабленность.

Когда после очередного чтения «Истории французской революции» Маслов начал по обыкновению клясться в том, что обязательно выучится языку этого народа, Виссарион Григорьевич сказал:

— Если бы у меня было столько свободного времени, как у вас, при всей моей тупости к языкам я бы уж давно выучился. Я замучен работой, да и тут нахожу время заниматься и начинаю понемногу смекать по-французски... А вам как не стыдно!

Он считал и не уставал повторять друзьям, что самое главное — нравственное образование личности, потому что только оно делает из ученого, администратора, военного, политика не просто специалиста, но — человека.

— Один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Основа всему — начала нравственные,— снова и снова утверждал он.

Но высокие нравственные качества не даются человеку при рождении как что-то вечное и неизменное. Среда формирует характер, однако многое зависит и от самого человека, от его упорства и воли в постоянном самосовершенствовании. «Мне кажется,— писал Белинский Панаеву 5 декабря 1842 года,— Вы ошибаетесь, думая, что все придет само собою, даром, без борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы из души своей, вырывая их с кровью. Это еще не заслуга... встать в одно прекрасное утро человеком истинным и увидеть, что без натяжек и

фразерства можно быть таким. Даровое непрочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя епитимью и пост, и вериги, надо говорить себе: этого мне хочется, но это нехорошо, так не быть же этому.

Пусть Вас тянет к *этому*, а Вы все-таки не идите к нему; пусть будете Вы в апатии и тоске — все лучше, чем в удовлетворении своей суетности и пустоты».

Моральная проповедь Белинского действовала на друзей не только потому, что он находил наиболее убедительные слова, но прежде всего потому, что безупречной была его репутация среди друзей, репутация человека беспощадного в первую очередь к себе и к собственным слабостям.

«Кто не знает,— писал Анненков,— что моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников. Его фанатическое, так сказать, искание правды и истины в жизни не покидало его... Авторитет его как моралиста никогда не страдал между окружающими от его заблуждений. Необычайная честность всей его природы и способность убеждать других и освобождать их от дурных приростов мысли продолжали действовать на друзей обаятельно и тогда, когда он шел вразрез с их убеждениями».

Не все друзья и не сразу смогли понять и оценить настойчивое стремление Белинского связать нравственную проповедь с социальными проблемами жизни. И тот энтузиазм, с которым Белинский принял и в начале 1843 года ввел в кружок двадцатидвухлетнего Николая Алексеевича Некрасова, кое у кого вызвал скептическое отношение.

Некрасов появился в Петербурге более чем за год до переезда Белинского из Москвы. Имя критика ему было знакомо еще по «Телескопу», который он читал, когда учился в Ярославской гимназии. К концу 1839 года

Некрасов начал входить в литературную жизнь столицы и, конечно, следил за всем сколько-нибудь существенным из того, что появлялось в «Отечественных записках». Когда в начале 1840 года под инициалами Н. Н. вышла книжка его юношеских стихов «Мечты и звуки», получившая в общем доброжелательные отзывы, именно в «Отечественных записках» поэт нашел самую резкую оценку своего сборника, сделанную Белинским. Но он не озлобился на критика, а, наоборот, всецело поверил ему и под впечатлением его суровой рецензии немедленно начал скупать в книжных лавках и уничтожать экземпляры своего сборника.

Вскоре в романе «Жизнь и похождения Тихона Тросникова» Некрасов поведал о тех огорчениях, которые принесла его автобиографическому герою первая книжка стихов, и воспроизвел отзыв Белинского, самую сущность его требований к поэзии и поэтам: «Писать звучные стишки без идеи и содержания не значит еще быть поэтом». Вчитываясь в рецензию Белинского, молодой автор должен был согласиться с тем, что «поэт настоящей эпохи в то же время должен быть человеком, глубоко сочувствующим современности, что действительность должна быть почвою его поэзии...»

И если эти идеи стали главными в творчестве Некрасова, то в этом, безусловно, была и заслуга ведущего критика «Отечественных записок».

В 1843 году Некрасов принес М. А. Языкову, хорошему знакомому Белинского, свой очерк «Петербургские углы» (вошедший потом в роман о Тихоне Тросникове) и просил передать рукопись Белинскому. Однако Языков не только не исполнил этой просьбы, но и потерял адрес автора. Белинский очень рассердился, узнав об этом. Но, к счастью, как раз в тот день, когда он сидел у Языкова, жившего на Столярной улице, 4, туда же явился Некрасов, которого Белинский уже знал по работе в «Литера-

турной газете» (реорганизованные «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», в 1840 году переданные Краевским в аренду Ф. А. Кони). Николай Алексеевич с 1841 года печатал в газете мелкие рассказы, фельетоны, рецензии, на которые Белинский скоро обратил внимание.

Прочитав повесть «Петербургские углы», Виссарион Григорьевич захотел немедленно обсудить ее в кругу друзей и в один из вечеров пригласил Некрасова к Панаевым на обычную дружескую встречу.

Автор читал свое произведение слабым голосом, конфузясь, горбясь, то и дело поднимая руку к еле заметным усам. Когда окончилось чтение, Белинский встал и заходил по комнате. Потом задумчиво сказал:

— Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться и материальных вопросов жизни, ведь они играют важную роль в развитии общества. Некрасов тут показал необыкновенную наблюдательность и необыкновенное мастерство изложения. Это — живая картина действительности, проникнутая мыслью...

Но другие слушатели не разделили его энтузиазма; кое-кого «Петербургские углы» покоробили своим натурализмом.

Споры продолжались и после ухода Белинского и Некрасова. Возобновились они и на следующий день, за обедом у Панаевых.

Кто-то заговорил о грубых манерах и низменных литературных интересах Некрасова. Виссарион Григорьевич решительно возразил:

— Здоров будет организм ребёнка, если его питать одними сластями! Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса.

Помолчав, он не без горечи добавил:

— Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались, и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет! Надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа... У вас у всех есть недостаток: вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное — его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?

С каждой встречей Белинский все более сходился с Некрасовым. Ему нравились резкие суждения Николая Алексеевича о жизни, в его душе находили горячий отклик рассказы о лишениях, испытанных так рано. Скоро он заметил в Некрасове тот практический взгляд, ту выработанную трудной жизнью «экономическую жилку», которой не было ни в нем самом, ни в ком-либо из его приятелей. Это вызывало в Виссарионе Григорьевиче еще большее уважение к молодому автору.

Весной 1843 года Белинский писал Боткину о Некрасове уже как о хорошо знакомом ему человеке: «...замышляю подняться на аферы. Некрасов — на это — золотой человек. Думаем смастерить популярную мифологию». Между ними установились отношения, полные взаимного дружеского доверия, без которого было бы невозможно браться за общие дела. Виссарион Григорьевич сообщал также о надежде раздобыть через Некрасова деньги, не-

обходимые для отъезда из Петербурга на отдых от непосильной работы в «Отечественных записках».

В это время, как свидетельствует И. С. Тургенев, Белинский «лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова». О том же писал П. В. Анненков М. М. Стасюлевичу, вспоминая, как Виссарион Григорьевич принялся за Некрасова, раскрывая ему сущность его собственной натуры и ее силы, и как покорно слушал его поэт.

Иногда они беседовали часов до двух ночи — о противоречиях жизни, о литературе, о будущем России. В том, что говорил ему Белинский, для Николая Алексеевича было много нового, необычного, чего он ни от кого не слышал. Он уходил от критика в возбужденном состоянии и долго потом бродил один по пустынным улицам, размышляя над услышанным. Думал он и о себе, о своей жизни. Прежде ему некогда было заниматься своим образованием, надо было трудиться, чтобы не умереть с голоду. Встречу с Белинским он воспринял для себя как спасение. Такое впечатление сложилось и у Достоевского, считавшего, что Некрасов «благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его за всю свою жизнь».

— Белинский производит меня из литературной бродяги в дворяне,— открыто говорил Николай Алексеевич.

Он никогда не забывал, кто ввел его в большую литературу, высоко ценил критические замечания Белинского и всякий раз волновался, как мальчишка, когда шел к нему со своим очередным произведением. Едва ли не со страхом нес поэт к Виссариону Григорьевичу и свое стихотворение «В дороге». Он прочитал по обыкновению тихо, как бы извиняясь, драматический рассказ ямщика о том, как господа погубили его жену:

...Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу...

А с чего?.. Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой...
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...

Сбылось, сбылось то, что предсказывал Белинский еще в 1843 году: родился писатель огромной нравственной силы!

Виссарион Григорьевич вскочил с дивана, волнуясь, краснея, чуть не плача, кинулся обнимать совсем потерявшегося Некрасова и все повторял:

— Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?

В этом стихотворении, как и во многих других своих произведениях, Некрасов пошел дальше по пути, который наметился в одном из последних стихотворений Лермонтова — «Родина». Как пишет современный исследователь, «Лермонтов прислушался к «говору мужичков». Некрасов ввел этот говор в стих».

Белинский горячо приветствовал направление некрасовской поэзии, ее чуткость к народным страданиям. С каким восторгом отнесся он впоследствии к появлению некрасовской «Родины»! Он выучил это стихотворение наизусть и, как всегда, когда какое-то поэтическое произведение глубоко задевало его разум и душу, охотно читал его целиком и цитировал в разговорах, наконец, переписал и послал своим московским друзьям:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я... и т. д.

Неудивительно, что до конца своих дней Некрасов постоянно возвращался к памятным встречам с Белинским.

— Жаль, что вы сами не знали этого человека,— говорил он Н. А. Добролюбову уже после смерти Виссариона Григорьевича.— Я с каждым годом все сильнее чувствую, как невосполнима для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами.

Несколько позднее Некрасова в кружок Белинского вошли Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович. Но о них — позже.

Виссарион Григорьевич скептически относился к кастовой узости традиционных кружков. «Всякий кружок,— писал он Н. Бакунину еще 9 декабря 1841 года,— ведет к исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезные для кружка, странные, непонятные и неприятные для других. Но это бы еще ничего. Хуже всего то, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка...»

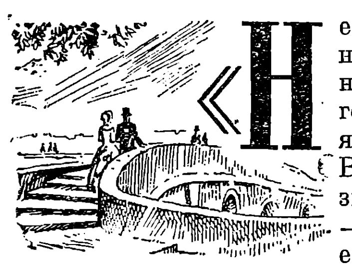
— Уголок и должен быть уголком, а не миром,— говорил он друзьям.— Жизнь же должна быть в мире.

Но он, так робевший и даже сникавший при появлении посторонних людей, радостно раскрывал объятия каждому талантливому незнакомцу, приносившему на его суд свое детище, свои сомнения, мысли, идеи. Он «тащил жизнь» в свой кружок, ставил на обсуждение все самые существенные проблемы времени, так что кружок становился для него частицей мира и мир частицей кружка. Иначе и не могло быть. Ведь Белинский был не только связующим, идейным центром группировавшихся вокруг него передовых людей, но и, как сказал о нем И. С. Тургенев, «центральной натурой» своей эпохи.

«ЛЮБЛЮ ВАС ТАКОЮ, КАКОВЫ ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ»

Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения, сказывается у него всюду...

И. С. ТУРГЕНЕВ



«Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам?» — сомневался И. С. Тургенев, работая над воспоминаниями о Белинском. Однако сам Виссарион Григорьевич признавал:

— Моя натура во всем сказывается.

Он с юности был самого невысокого мнения о своей наружности, и это мешало ему уверенно чувствовать себя в женском обществе. Впрочем, еще больше мешали ему вечная материальная необеспеченность, подорванное чрезмерной работой здоровье и ряд неудач в жизни доверчивого сердца. Никому из друзей не удавалось побороть его неловкость, убедить в том, что и он может понравиться и быть любим.

— Я робок с женщинами: никого так не люблю, как их, и никого так не боюсь, как их. Сила женственности — самая страшная из всех сил,— признавался Виссарион Григорьевич.

Он почти поверил, что счастье взаимной любви и семейного очага не для него.

В молодые годы Белинский смотрел на любовь как восторженный романтик. Он рисовал в своем воображении идеальный образ и, влюбляясь в реальную женщину, погружался в сентиментальные грезы, не видя действительных качеств предмета своего увлечения да и реальной жизненной ситуации. Размечтавшись, он уже надеялся на большое ответное чувство, но, возвращаясь на землю, со стыдом и болью наблюдал, как разбивается его любовь, терпя поражение или разочарование. Так закончилось его увлечение сестрой Михаила Бакунина — Александрой Александровной; таков же был итог увлечения дочерью актера М. С. Щепкина Александрой Михайловной, молодой актрисой. Поссорившись со своим женихом М. Н. Катковым, она некоторое время внешне выказывала Виссариону Григорьевичу расположение. Однако он скоро понял, что никаких чувств к нему Александра Михайловна не питает, и тяжело переживал это.

В Петербург Белинский приехал полный романтических иллюзий. Осенью 1840 года он познакомился с девушкой простого звания и с жаром взялся за ее умственное развитие, читал ей заранее подобранные поэтические произведения, но его идеальные стремления не вызывали в ней сочувственного отклика, и однажды он вдруг трезво и ясно увидел, как далека она от идеала, созданного его воображением. И это чувство, которое, было, дало ему надежду,— увы! — тоже закончилось разочарованием, подавленностью и унижением в собственных глазах.

«Я очерствел, огрубел, чувствую на себе ледяную кору...— сообщал Белинский в начале 1841 года Н. А. Бакунину.— Внутри все оскорблено и ожесточено; в воспоминании — одни промахи, глупости, унижение, поруганное самолюбие, бесплодные порывы, безумные желания. Я никого, впрочем, не виню в этом, кроме себя самого и еще судьбы. Такова участь всех людей с напряженною

фантазией, которые не довольствуются землею и рвутся в облака».

Эта история освободила его наконец от романтических иллюзий.

— Довольно с меня всех этих идиллических и буколических пошлостей, пустоты мистических призраков,— говорил он друзьям.— Я больше не поклоняюсь женщине как раб деспоту, как дикарь своему божеству. Любовь — это светлая тайна, в основе которой лежит различие полов, а причинами выбора являются гармония натур и каприз субъективности. И я не хочу больше мечтать о каком-то нереальном абсолюте. Что моя абсолютность, я отдал бы ее вместе с последним сюртуком за радость, с какой иной офицер спешит на бал...

Именно в Петербурге, жизнь которого удивительно отрезвляла человека, абстрактные порывания Белинского к женскому идеалу сменяются конкретной мечтой о спутнице жизни: она, конечно, должна быть красива и грациозна, и помимо этого ей необходимо иметь здравый рассудок и «инстинкт приличия» в житейских отношениях. Но главное — другое: она должна быть мужественной и терпеливой, ведь ей предстоит жизнь с человеком, посвятившим себя общественному делу, борьбе с пошлой действительностью за передовые идеалы.

Несмотря на неудачи, Виссариона Григорьевича не оставляла «танталовская жажда любви», и даже не просто любви, а любви и семейного очага.

— Строгое одиночество, если оно верно самому себе,— говорил он Анненкову,— противоестественное, искусственное, а потому и безнравственное явление, из какого бы душевного настроения ни выходило.

В Петербурге, оторванный от московского кружка, от людей, давших ему вкусить великое благо мужской дружбы, Белинский на пороге своего тридцатилетия испытал острую необходимость в любви и нежности родственной

души. «Но знаешь ли что? — писал он Боткину.— Мужская грудь и холодна, и жестка, а пожатие грубой мужской руки, хотя бы и дружеской, дает только жизнь, а не смерть, ту сладкую и блаженную смерть, о которой говорит Гете в своем божественном «Прометее». А мне хотелось бы хоть на мгновение умереть от избытка жизни, а после этого, пожалуй, хоть и умереть в буквальном смысле».

Холостяцкое житье становилось особенно невыносимым, когда усиливалось нездоровье.

— Право, околеешь ночью — и никто не узнает,— жаловался он как-то Авдотье Яковлевне Панаевой.— Мне одну ночь так было скверно, что я не мог протянуть руки, чтобы зажечь свечу...

И тем не менее жениться только для того, чтобы иметь рядом заботливого человека, жениться не любя, даже и на женщине, близкой к его идеалу, он не мог. Это противоречило всей его страстной натуре, и он твердо отводил приятельские советы скрасить одиночество женитьбой на «достойной женщине».

— Нет и нет,— протестовал он,— баядерка и гетера лучше верной жены без любви.

В канун 1842 года утомленный работой и длительной простудой Белинский вырвался в Москву, где провел две недели в кругу друзей. Там он встретился с Марией Васильевной Орловой, которой был увлечен еще в 1834 — 1835 гг. и которой теперь был обязан новым подъемом душевных сил. Поездка удалась во всех отношениях. В Петербург Виссарион Григорьевич возвращался оживленный и оздоровленный морально и физически.

Мария Васильевна Орлова, дочь бедного священника, только на год была моложе Белинского. Вместе с сестрой Аграфеной, или Агриппиной, как ее называла Мария Васильевна, она в 1830 году окончила Александровский женский институт в Москве и была оставлена в качестве

пепиньерки — будущей воспитательницы, «классной дамы» института, но в 1832 году получила место гувернантки в доме писателя И. И. Лажечникова, жившего в Твери, и занялась воспитанием двух его племянниц. Лажечников давно был дружен с Белинским, и, видимо, через него произошло знакомство Виссариона Григорьевича с Марией Васильевной.

По словам Лажечникова, Орлова была одной из лучших воспитанниц института, большой любительницей литературы. Преподававший в институте изящную словесность А. Д. Галахов говорил о ней Белинскому:

— Мария Васильевна читает и высоко ценит ваши статьи.

Тот и удивился и обрадовался:

— А я-то думал, что женщины не станут меня читать.

На Белинского тогда произвели впечатление и ее начитанность, и весь ее строгий облик, лишенный какой-либо тени жеманства; а то, что она явно робела и не могла преодолеть некоторой натянутости при обращении с малознакомыми людьми, вызвало в Виссарионе Григорьевиче и понимание и дружеское сочувствие: ведь и сам он порою терялся в непривычной обстановке. Стремясь закрепить это знакомство, Белинский попросил поэта В. И. Красова, как и он, входившего в кружок Станкевича, написать для Марии Васильевны стихи, которые затем и передавал по назначению.

Но тогда из этого знакомства ничего не вышло: слишком мало Виссарион Григорьевич верил в то, что сможет прокормить семью, ибо и один едва сводил концы с концами.

Зимой 1842 года в Москве Мария Васильевна встретилась с Белинским как со старым знакомым, много и с нескрываемой охотой говорила о литературе и журналистике, восхитив его начитанностью и прямотой отзывов

о современных писателях и критиках. Как много это для него значило!

— Я понимаю,— говорил он,— для того, чтобы полюбить женщину, не нужно делать экзамена ее понятиям. Но я, по моей фанатически нетерпимой и субъективной натуре, могу или еще более полюбить пленивший меня женственный образ за его понятия, или совсем разлюбить его за них.

Интерес Марии Васильевны не только к его статьям, но и к нему самому глубоко взволновал Белинского, поколебав обычную его неуверенность в себе в женском обществе.

От встречи с Орловой у Виссариона Григорьевича осталось впечатление характера благородного, простого и вместе с тем твердого. В правильных и строгих чертах ее лица он читал выражение достоинства и искренности. Такое впечатление Мария Васильевна вызвала и у Василия Петровича Боткина, навестившего ее по просьбе друга в апреле 1842 года. «Прекрасная девушка! Лучше всего то, что она совершенно проста и нисколько не натянута... С ней очень охотно говорится, и натура ее, кажется, доступна очень многому»,— сообщил он Белинскому свое мнение.

Давнее чувство вспыхнуло в Виссарионе Григорьевиче с новой силой, впервые вызвав мысли о возможности брака.

«Со мною сделалась новая болезнь — не шутя. *Ноет грудь,* но так сладко, так сладострастно...» — написал он другу. «Коротко и ясно, Боткин: я схожу с ума, и свались мне с неба тысяч около десятка деньжонок, для *первого обзаведения* — поминай, как звали, зови попов, пеки блины и твори поминки. Страшно сказать, что делается внутри меня».

Сравнивая свое теперешнее душевное состояние с тем, что бывало прежде, он думает о двух родах любви, о раз-

нице между любовью юношеской и зрелой: «То, что мы называем любовью романтическою, мистическою, фантастическою,— это цвет юности и болезнь натур внутренних: в этой любви любишь не предмет любви, а свою любовь, с мистикою ее ощущений. Эта любовь прекрасна и благоуханна, как цветок весенний, и, подобно ему, скоро вянет. Отличительный характер любви действительной (в которой мы чувствуем потребность, когда уже жизнь порядочно поистреплет нас) состоит в том, что любишь предмет любви, а не любовь свою. Присутствие любимого существа тут дарит тебя не восторгами, а кротким чувством удовлетворения — тебе хорошо и легко — больше ничего; его радость радует тебя больше твоей радости, его печаль тревожит тебя больше твоей печали».

С волнением рассматривая подарок Марии Васильевны — бумажник ее работы, Виссарион Григорьевич решает собственноручно переписать для нее запрещенного к публикации лермонтовского «Демона».

«Это не «Руслан и Людмила»,— писал он в Москву,— тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура,— нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучий дух!..»

В руках Белинского было два списка «Демона», с большими различиями в содержании. Начав переписывать текст, он увлекся настолько, что обе редакции соединил в одну, после чего переплетенная в красный сафьян с золотым обрезом тетрадка, исписанная нервным, крупным почерком, в начале апреля была отправлена в Москву.

Но переписка с Марией Васильевной как-то не получалась, и восторженное настроение, нежданно посетившее

Виссариона Григорьевича, сменилось привычным неверием в возможность счастья. Он тосковал, чувствовал вокруг себя пустоту и все-таки больше всего на свете ждал сообщения о доставлении своей посылки. «Не глупец ли! — думал он о себе.— Так мало надеяться, или — лучше сказать — так холодно, спокойно и уверенно не надеяться, и так еще суетиться и ребячиться!»

Возвратясь из Москвы, Виссарион Григорьевич особенно остро ощутил свое одиночество, неустроенность холостяцкой жизни. Неуютно показалось ему в доме Бутаровой в Семеновском полку, на Среднем проспекте, между Госпитальной улицей и 1-й линией, захотелось как-то облагообразить и привести в порядок свое скромное жилище. Прежде всего он закрыл печь огромной, на французском языке, картой Европы, потом на противоположной стене повесил тоже огромную карту России и эстамп с картины Верне — солдат зарывает в могилу своего товарища. Оглядев обновленную комнату, он иронически усмехнулся: тоскливо и холодно, как в склепе. Скорее из дома!

А Петербург жил своими заботами, большими и малыми. В первое после троицы майское воскресенье, в духов день, из Летнего сада далеко разносились звуки музыки, сопровождавшей традиционный смотр невест.

В XIX веке, уже после того как разрушенный наводнением и ураганом 1777 года сад был почти заново восстановлен, купечество получило разрешение устраивать там в духов день смотрины невест. Молодые купчихи и мещанки вместе со своими матерями выстраивались в этот день по обеим сторонам широкой садовой аллеи, где взад и вперед с независимым видом прохаживались женихи.

Да, да, не в патриархальной Москве, а в Петербурге, который, как считал Белинский, «столетием обогнал Москву и на 700 верст ближе к Европе», сохранился та-

кой обычай. Впрочем, Белинский знал, что в Петербурге есть по крайней мере 50 общественных кругов, отличающихся друг от друга в одежде и манере поведения, в мнениях и обычаях: каждый человек живет, сообразуясь с традициями и взглядами своего круга, почти не обращая внимания на других людей.

Иногда и Виссарион Григорьевич приходил побродить по аллеям сада. Памятника великому русскому баснописцу И. А. Крылову работы скульптора П. Клодта тогда еще не было: его установили в Летнем саду только в 1855 году. Белинский шел прямо к Летнему дворцу, построенному по проекту архитектора Доменико Трезини — первому каменному дворцу Петра I в Петербурге, двухэтажному зданию, украшенному 29 терракотовыми барельефами со сценами из античной мифологии, в аллегорической форме изображавшими победы России над шведами. Здесь с 1712 года была постоянная резиденция Петра I.

Задумавшись, Белинский, бывало, подолгу вглядывался в окна первого этажа: там находились комнаты Петра; Екатерина I жила в более парадных комнатах второго этажа.

Во дворце Петра I никто не жил. Тишину покинутых комнат в летнее время нарушали шаги кого-либо из петербургских сановников, допущенных на «дачу» по специальному разрешению гофинтендантской конторы.

Отсюда, из северо-восточного угла Летнего сада, Белинский отправлялся на его южную сторону, к Карпиеву пруду, возле которого в 1839 году была поставлена подаренная шведским королем русскому царю ваза из эльфдальского порфира. Проходил мимо детской площадки, находившейся возле главной аллеи, мимо отделения искусственных минеральных вод, открытого в Летнем саду для тех, кто не мог ежедневно ездить к источнику

в Новую Деревню, пересекал аллеи для верховой езды...

Виссарион Григорьевич перебирал в памяти подробности беседы с Марией Васильевной и думал, что, если она согласится связать с ним свою судьбу, он будет счастлив, может быть, даже как Герцен, о семейной жизни которого с доброй завистью он говорил Боткину:

— У нас нет ничего ни впереди, ни позади, жизнь для нас — постылая жена, которую мы ненавидим, но с которою расставаться не имеем права; а у него есть живая связь с жизнью — это его жена, Наталья Александровна.

Проходят всего два месяца со времени возвращения Белинского из Москвы, а уж он мечтает о новой поездке, о новой встрече с М. В. Орловой и обещает летом снова быть в Москве во что бы то ни стало, даже если придется идти пешком. Но обстоятельства сложились так, что летом 1842 года Виссарион Григорьевич не смог покинуть Петербург. Было очень много работы в журнале и, как всегда, давило безденежье. Уже к середине марта он забрал в редакции «Отечественных записок» 3500 рублей ассигнациями — почти весь свой годовой заработок. И он горько иронизирует над своими постоянными денежными затруднениями в письме к Боткину:

«...*Все* исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков.
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — Кто их спросит...»

Даже возможность постоянно общаться и отводить душу с друзьями, которую ему дал переезд в центр, на Невский, в дом Лопатина, не могла избавить его от душевных тревог, связанных с личным одиночеством. В 1842 — 1843 гг. его можно было часто встретить по вечерам у Панаевых, живших на четвертом этаже дома Лопатина,

у Комарова или у Вержбицких, живших в доме Межуева в 10-й роте Измайловского полка, у Языкова в его собственном доме на Столярной улице. Как-то в мае 1843 года Белинский побывал даже у Никитенко — в доме Фридерикса у Владимирской церкви.

«Жить становится все тяжелее и тяжелее,— писал он Василию Петровичу 9 декабря 1842 года,— не скажу, чтобы я боялся умереть с тоски, а не шутя боюсь или сойти с ума, или шататься, ничего не делая, подобно тени, по знакомым. Стены моей квартиры мне ненавистны; возвращаясь в них, иду с отчаянием и отвращением в душе, словно узник в тюрьму, из которой ему позволено было выйти погулять. Это ты от меня уже слышал, но сколько бы я ни повторял тебе этого, никогда не буду в силах выразить всей действительности этого страшного могильного ощущения».

Только летом следующего, 1843 года с помощью друзей Белинский выбрался в Москву.

Когда в мае Герцен и Боткин прислали ему на дорогу денег, восторг, волнение, надежды — все перемешалось в его груди. «Иду по улице — и каждому встречному, знакомому и незнакомому так и хочется сказать: а я еду в Москву!» — писал он друзьям. Проездом в Москву он собирается посетить в Премухине милое его сердцу семейство Бакуниных. Воспоминания о былом увлечении А. А. Бакуниной то и дело прорываются в письмах Виссариона Григорьевича, но мысли его заняты предстоящей встречей с М. В. Орловой.

Наконец к деньгам, присланным друзьями, прибавились деньги, которые кое-как удалось получить от Краевского. Белинский договорился с редактором «Отечественных записок», что его будут заменять Некрасов и Сорокин, и 2 июня выехал из Петербурга, 4-го числа прибыл в Премухино, через неделю, около 10 июня, он был в Москве.

Марию Васильевну Белинский нашел на даче в Сокольниках, где она после болезни жила у родственников. Виссарион Григорьевич почти ежедневно навещал ее, откладывая дела, встречи, забывая вовремя отвечать на письма. Он отказался от выгодной поездки за границу с богатым петербургским домовладельцем В. А. Косиковским и 22 июня из Москвы написал Краевскому, испугавшемуся возможной потери деятельного сотрудника: «...на днях со мною случилось нечто такое, что должно иметь влияние на всю мою жизнь и вследствие чего, если бы Европа сама приехала ко мне в гости, я бы не принял ее. Пока — это тайна... приеду — узнаете все».

Близкие московские друзья, конечно, были посвящены в эту «тайну», знали, что спустя две недели после приезда Виссарион Григорьевич сделал предложение М. В. Орловой.

27 августа, не заезжая в Премухино, Белинский дилижансом выехал из Москвы. В Петербурге в своей квартире в доме Лопатина он застал В. П. Боткина, который незадолго до того прибыл в столицу, чтобы через несколько дней с Арманс Рульяр, недавно ставшей его женой, отправиться за границу.

Город встретил Виссариона Григорьевича чудесной погодой, солнцем и теплом. Стояли дивные ночи. Никогда раньше не проводил он столько времени у распахнутого окна в комнате, залитой лунным светом. Никогда из груди его не рвалось с таким восторгом:

— Какие ночи, боже мой! Какие ночи!

Он подолгу смотрел в усыпанное звездами небо и мечтал о том времени, когда Мария Васильевна наконец приедет к нему.

В пути Белинский простудился, схватил лихорадку, но возбужденное состояние, в котором он находился после летних встреч с Марией Васильевной, после ее согласия стать его женой, заставляло его забывать о нездоровье.

В мыслях, в мечтах была только она: «Я разорван пополам и чувствую,— писал ей Виссарион Григорьевич 3 сентября,— что недостает целой половины меня самого, что жизнь моя неполна и что я тогда только буду жить, когда Вы будете со мной, подле меня».

Думая о скорых переменах в своем семейном положении, Белинский решился наконец просить Краевского об увеличении получаемого им годового оклада в «Отечественных записках» с 4500 рублей ассигнациями до 6000.

Готовясь к женитьбе, он еще весной договорился, а осенью занял в доме Лопатина на третьем этаже новую, более просторную квартиру № 47, в которой жил Краевский до переезда в собственный дом. «Моя квартира,— писал Белинский,— чистая, опрятная, красивая, светлая, смотрела на меня так приветливо, как будто бы хотела меня от души с чем-то поздравить».

Впервые Виссарион Григорьевич жил в таких светлых и сухих комнатах и с удовольствием представлял, как Мария Васильевна будет в них хозяйничать. Но ждать ее было так трудно!

Письма Белинского, всегда на нескольких листах, отправлялись в Москву одно за другим, а в октябре 1843 года нередко и по два раза в день. «Бывают минуты страстного, тоскливого стремления к Вам,— признавался он своей невесте.— Вот полетел бы хоть на минуту, крепко, крепко пожал бы Вам руку, тихо сказал бы Вам на ухо, как много я люблю Вас, как пуста и бессмысленна для меня жизнь без Вас. Нет, нет — скорее — или я с ума сойду...»

Журнальная работа Белинского подвигалась с трудом. Проснувшись, он начинал ждать почты; придя из редакции, первым делом заглядывал в кабинет, нет ли письма, если не было, принимался высчитывать дни, когда оно должно прийти, и от надежд переходил к отчаянью. Сно-

ва и снова он повторял в своих письмах: «Пока Вы не со мною, и я не с Вами,— я никуда не гожусь, и жизнь мне в тягость». «Медлить нечего. Если судьба даст нам долгие счастливые дни — возьмем их; если один день — не упустим и того».

Ответные письма тоже были полны любви, тревоги о его здоровье и еще беспокойства: нужна ли ему такая жена — бедная, больная, нелюдимая и к тому же ничего не смыслящая в хозяйстве. Читая эти строки, Виссарион Григорьевич улыбался и мысленно разговаривал с ней: «Ах, Marie, Вы изволите говорить глупости».

Он надеялся, что они будут счастливы, если же нет, он был уверен, что обоим хватит достоинства по-человечески нести свое несчастие.

«...Вы больны, это правда; но ведь и я болен,— писал он,— я был бы в тягость здоровой жене, которая не знала бы по себе, что такое страдание. Нам же не в чем будет завидовать друг другу, и мы будем понимать один другого во всем — даже и в болезнях. Как добрые друзья, будем подавать друг другу лекарства,— и они не так горьки будут нам казаться.<...>

Дайте мне Вашу руку, мой добрый, милый друг — то опираясь на нее, то поддерживая ее, я готов идти по дороге моей жизни с надеждою и бодро. Я верю, что чувствовать подле своего сердца такое сердце, как Ваше, быть любимым такою душою, как Ваша,— есть не наказание, а награда выше меры и заслуги. Вы называете себя дурною и даже букою,— что ж? — я люблю Ваше дурное лицо и нахожу его прекрасным: стало быть, наказания и тут нет. Вы дики в обществе — я тоже, и тем веселее будет нам в обществе один другого.<...>

...Будьте сами собою, Marie,— больше я от Вас ничего не требую, потому что люблю Вас такою, каковы Вы в самом деле».

Октябрь 1843 года неожиданно принес обоим много огорчений, внес в их отношения размолвки, обиды, непонимание. Виссарион Григорьевич относился к брачной церемонии лишь как к юридической формальности и поэтому считал, что она должна пройти как можно тише и скромнее в церкви какого-нибудь учебного заведения в присутствии пяти-шести знакомых. Марии же Васильевне хотелось венчаться в Москве в кругу родственников и приятельниц по институту, она мечтала, что соберется человек двести и потом, после свадьбы, какое-то время она с мужем будет делать визиты и принимать знакомых у себя. Виссарион Григорьевич не на шутку встревожился: «В этой поистине пленительной картине недостает только свахи, смотра, сговора, девишника с свадебными песнями...» Он не хотел, чтобы там, где дело касается только двоих, устраивалось столько шума и публичности.

К тому же в это время Белинский был особенно завален работой: кроме своих дел на него свалились обязанности заболевшего Краевского. При этом, как всегда, давило безденежье. А тут еще погода изменилась, начались моросящие дожди, грязь и слякоть и до костей пробирающий ветер,— Виссарион Григорьевич занедужил, терпел мушки, пиявки, глотал лекарства, по совету врача принимал ванны.

Все было против его поездки в Москву. Даже то, что для венчания в Москве у него не были готовы нужные бумаги (дворянская грамота и др.), которых он ждал из Пензы; здесь же, в Петербурге, через А. И. Баландина, преподававшего в Строительном училище, Виссарион Григорьевич договорился, что его обвенчают в церкви училища и без таких бумаг. Близкие друзья разделяли скептическое отношение Белинского ко многим обычаям и обрядам. Поразмыслив, они посоветовали:

— Пусть лучше Мария Васильевна приедет в Петербург. Место в дилижансе всегда можно заранее заказать

так, чтобы ее соседкой была дама. Это будет и дешевле, и ты сможешь не отрываться от работы надолго.

Виссарион Григорьевич написал в Москву, прося Марию Васильевну понять его и приехать, ибо сам он никак не может в это время уехать из Петербурга «по тому же самому, почему часовой не может сойти с своего поста, хотя бы от этого зависело счастие всей его жизни». «Вы могли бы,— писал он,— остановиться у меня, ибо что Вам за дело до того, что об Вас станут говорить люди, которых Вы не знаете и никогда не узнаете; а те, которых Вы будете знать, будут на это смотреть, как я. Знаете ли что? Я должен теперь лгать перед моими друзьями, ибо я никогда не решусь сказать им о Ваших мотивах и той шутовской процедуре, которую должен я буду пройти в Москве. Они не поверят, что слышат это от Белинского».

Мария Васильевна решилась было ехать в Петербург, но затем, под влиянием родственников, снова стала настаивать на том, чтобы венчание состоялось в Москве.

А Белинский уже назначил в церкви Строительного училища на 17, 24 и 31 октября три «оклика», требуемых церковными правилами перед венчанием.

«Меня убивает мысль, что Вы, которую считал я лучшею из женщин,— написал он Марии Васильевне 12 октября,— что Вы, в руках которой теперь счастие и бедствия всей моей жизни, что Вы, которую я люблю, Вы — раба мнений московских кумушек, салопниц и тетушек. Вот чем бог-то наказал меня за грехи, а не тем, что Вам 32 года и что Вы больны...»

И снова — письма, и снова упреки, и новые попытки убедить ее приехать в Петербург. «Да, Marie, мы с Вами во многом расходимся,— с горечью признает он.— Вы, за отсутствием каких-либо внутренних убеждений, обожествили деревянного болвана общественного мнения и пре-

усердно ставите свечи своему идолу, чтоб не рассердить его. Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для бога истины и разума — плевать в рожу общественному мнению там, где оно глупо или подло или то и другое вместе. Поступить наперекор ему, когда есть возможность достигнуть той же цели тихо и скромно, для меня — божественное наслаждение».

Но, написав такое, он начинал тревожиться, не обидел ли Марию Васильевну резкостью, и тогда вослед летела просьба понять и извинить его тон и требования, пока ей, вероятно, чуждые, ибо она была воспитана в обычаях своей среды, далекой от его принципов. «Нет, Вы не хуже того, чем я Вас считаю, но Вы только худо делаете, думая, что можно прожить на свете без воли и без борьбы,— писал он невесте.— Возьмите над собой волю — и все будет хорошо». Он выражал надежду, что, пожив с ним, она начнет на многое смотреть по-другому.

Он все еще надеялся, что Мария Васильевна не захочет откладывать свадьбу и решится на поездку в Петербург, решится «не *по долгу*, а *по любви*, весело и бодро», «чтобы дать мне счастье,— писал он,— которого я несколько заслуживаю в качестве человека *скорбящего,* и *работающего*, ибо только таким, по моему мнению, должна быть наградою любовь женщины».

Чувства его к Марии Васильевне, пройдя стадию сладостной болезни, сделались трезвее и спокойнее. За месяц до свадьбы, 13 октября, он признается своей невесте: «В моей любви к Вам нет ничего огненного, порывистого, но есть все, что нужно для тихого счастья и благородного человеческого (а не апатического) спокойствия. Только с Вами мог бы я трудиться, работать и жить не без пользы для себя и для общества, только с Вами не тратились бы понапрасну мои лучшие дни и не тонул бы я в апатической лени. Только с Вами любил бы я мой тесный угол,

неохотно бы оставлял его и радостно, нетерпеливо возвращался бы в него».

Когда все доводы, казалось, были исчерпаны и, несмотря на нездоровье и загруженность работой, Белинский уже готов был сам ехать в Москву, Мария Васильевна, преодолевая сомнения и колебания, все же решилась отправиться в Петербург до свадьбы.

Взволнованный Виссарион Григорьевич кинулся к Авдотье Яковлевне:

— Я вас прошу закупить, что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только самое необходимое. Мы оба пролетарии...— И добавил: — Теперь мне надо вдвое работать, чтобы покрыть расходы на свадьбу.

Наконец Мария Васильевна приехала. Через день Белинский снова поднялся к Панаевым на четвертый этаж и попросил Авдотью Яковлевну к 12 часам отвезти невесту в церковь, а Ивана Ивановича захватить когонибудь из общих знакомых в свидетели.

— Кто же женится? — спросил Панаев.

— Я, я женюсь — смеясь, ответил Белинский.

— Да кто же — она? — допытывался Иван Иванович.

— Погодите, в церкви увидите!

Венчание происходило в церкви Строительного училища в 3-й Роте Измайловского полка (ныне 3-я Красноармейская ул.). Свидетелями были приятели Белинского: П. В. Вержбицкий, А. А. Комаров, М. А. Языков, Н. Н. Тютчев и А. Я. Кульчицкий.

В церкви Виссарион Григорьевич был весел и много шутил, но на обратном пути в карете у него разболелась грудь, впрочем, скоро он превозмог боль и продолжал развлекать своих соседей.

Молодые пригласили Авдотью Яковлевну выпить с ними чаю. Мария Васильевна занялась его приготовлением, а Виссарион Григорьевич с гостьей принялся обсуждать свое новое положение.

— Теперь я женатый человек, все свои дебоширства должен бросить и сделаться филистером,— шутливо пожаловался он.

— Вам прежде всего придется бросить разорительную игру в преферанс,— в тон ему ответила Авдотья Яковлевна.

— Ну, уж наставление мне читаете, как почтенная посаженная мать! — протестовал он.

Но даже в этот день Белинский не мог полностью отрешиться от своих обычных журнальных забот. Необходимость докончить незавершенную статью в конце концов заставила его встать к конторке.

— Неужели вы и сегодня хотите писать? — удивилась Авдотья Яковлевна.

— Не хочу, а должен. В типографии ждут набора, нельзя чтобы из-за меня была остановка. Терпеть этого не могу.— И, помолчав, с улыбкой спросил: — А вы, значит, находите, что молодому неприлично работать? Но что же делать? Я верю, что Marie на меня не рассердится. Вы с ней разговаривайте, мне еще веселее будет писать.

Но поработать ему так и не удалось: недавно подысканная кухарка надымила так, что в комнате стало невозможно дышать, и Белинский раскашлялся.

— Вами рекомендованная кухарка,— сказал он, смеясь, Авдотье Яковлевне, — должно быть, нарочно начадила, тоже найдя, что молодому неприлично работать в день свадьбы.

После женитьбы Виссариона Григорьевича уж не томило одиночество, и он стал реже уходить из дома. «Орландо фуриозо женат и упивается семейным счастьем»,— сообщил Панаев Герцену и Огареву 24 ноября. С этого времени его можно было часто встретить на Невском проспекте гуляющим под руку с женой. Кое-кто из друзей Белинского впоследствии писал, что брак не

принес ему счастья. Проницательный Герцен, получивший известие о женитьбе Виссариона Григорьевича, записал в дневнике 6 декабря 1843 года: «Кажется, в мире нет человека, менее способного к семейной жизни, несмотря на то, что в груди его гигантская способность любви и даже самоотвержения». Другие винили Марию Васильевну.

Присущие ей сила духа и упорство в первые годы семейной жизни, к сожалению, часто противостояли не только мелким повседневным расхождениям во взглядах, но также привычкам и убеждениям Белинского.

Возможно, Марии Васильевне, при ее нервности и обидчивости, недоставало женственности и мягкости. Както Виссарион Григорьевич заметил:

— Женщина должна быть немного кокетливой, это придает ей пикантности.

— Мне поздно меняться,— сухо отозвалась Мария Васильевна.

К одним и тем же домашним проблемам Белинский и его жена нередко относились по-разному из-за разного взгляда на жизнь. Не все то, что было ясно для Виссариона Григорьевича, сразу становилось очевидным и для жены.

Мария Васильевна нередко жаловалась на лень и грубость прислуги. Обычно отмалчивающийся в таких случаях Белинский, однажды, оторвав глаза от бумаги, спросил:

— Сама посуди: почему она должна делать у тебя и чистую, и грязную работу, а не ты у нее?

— Как? Да ведь я ей плачу за это жалованье,— удивилась жена.

— Да почему бы ей не платить тебе жалованье, да и командовать над тобой? — насмешливо заметил Виссарион Григорьевич.

В мае 1844 года к Белинским переехала из Москвы сестра Марии Васильевны Аграфена, или на французский манер — Агриппина.

Виссарион Григорьевич, конечно, понимал, что появление свояченицы в доме может осложнить не только материальное положение семьи, но и его отношения с женой, однако встретил Агриппину Васильевну радушно.

В ожидании ее он почти целый день провел в конторе дилижансов и порядком продрог, потому что было ветрено и дождливо, как в октябре, но Агриппина добралась до Петербурга только на следующий день. Когда в прихожей прозвенел колокольчик, Виссарион Григорьевич сам отворил дверь и позвал жену. Расплатившись с извозчиком, он вернулся к Марии Васильевне и Агриппине, побыл вместе с ними и ушел к знакомым, чтобы на некоторое время оставить сестер наедине.

Опасения подтвердились. Агриппина Васильевна, конечно, помогала сестре вести несложное хозяйство, но характер ее был не из легких. «У Агриппины,— как-то посетовал Виссарион Григорьевич жене года через два совместной жизни,— сердце доброе и благородное, но терпение не принадлежит к числу ее добродетелей. Хороши мы все сошлись: точно на подбор — один другого лучше. Там, где бы она еще справилась сама с собою,— ей надо нянчиться с тобою, какое положение! Не знаю, как вы еще обе живы!»

Однако чаще причиной домашних неурядиц была изнурявшая семью бедность. Краевский прибавил Белинскому после женитьбы всего 143 рубля серебром (500 рублей ассигнациями), так что Виссариону Григорьевичу вместе с женой, свояченицей, дочерью Ольгой, родившейся в 1845 году, и прислугой приходилось довольствовать-

ся 1429 рублями серебром (5000 рублей ассигнациями) в год.

Мария Васильевна стойко переносила бедность. За четыре года замужества она позволила себе сшить лишь два платья, да и то потому, что во время беременности ей стала негодна старая одежда.

Когда дом оставался без прислуги, сестры все делали сами: убирали комнаты, топили печи, следили за самоваром.

Видя это, Виссарион Григорьевич вздыхал:

— Не думал я, чтобы институтки были способны на это.

Чистота в квартире была всегда образцовая. Белинский сам следил за порядком и ежедневно, как прежде, смахивал пыль с вещей в своем кабинете.

Когда кто-либо из приятелей забывал тщательно вытереть ноги и оставлял следы на натертом до блеска паркете, сыпал на пол пепел, Виссарион Григорьевич ворчал:

— Никак вас, господа, не приучить к порядку. Привыкли, что за вами десять слуг ходит.

Иногда, желая украсить комнаты, Белинский приносил домой цветы или старинные гравюры, которые он очень любил и сам отыскивал на толкучем рынке. Зная, как скудны их ресурсы, понимая, что им опять будет не связать концов с концами до очередного аванса в журнале, жена начинала упрекать его в излишних, по ее мнению, тратах.

Виссарион Григорьевич, нахмурясь, говорил:

— Видно, что ты не испытала настоящей нищеты; не знала, что такое не иметь ни обуви, ни белья для перемены, сидеть голодным в нетопленной комнате.

Как-то в мае 1845 года, в погожий солнечный день, Белинский решил прогуляться с женой и свояченицей в Биржевой сквер.

Участок против Биржи у Ростральных колонн — Стрелка Васильевского острова — был недавно засажен деревьями и стал местом прогулок петербуржцев. С Биржевой площади открывался прекрасный вид на Неву, пестреющую мачтами кораблей, на дворцы, на красивый молодой парк, разбитый на пустыре у Петропавловской крепости.

Добраться сюда не составляло труда: на Неве, ее притоках и каналах желающие всегда могли нанять лодку и гребца.

Виссарион Григорьевич зашел за Тютчевым, после женитьбы снимавшим квартиру на третьем этаже дома Лопатина. Компанией в пять человек спустились к Фонтанке, наняли лодку и через час с небольшим уже сходили на берег у здания Биржи.

На площади было людно. Много низких модных колясок, двухколесных кабриолетов. Нередко лошадью управляла блистательная дама. Иная красавица в модной фуражке прогуливалась верхом. Попадались щеголи, одетые по последней моде — во фраки, белые галстуки и желтые перчатки. В руках у некоторых дам были цветы, которые нынче стоили намного дешевле благодаря итальянцам, устроившим вокруг Петербурга множество оранжерей. Букет, за который раньше надо было отдать рубль или даже два рубля серебром, теперь обходился всего в двугривенный.

Белинский радовался всему, как ребенок: солнцу, птицам, цветам, которые в изобилии продавались тут же на площади. Увидев кактус с распустившимся красным цветком, он не удержался и купил его. На обратном пути в лодке жена и свояченица завели между собой разговор о безрассудстве некоторых бедных и семейных людей, сорящих деньги на всякие пустяки. Виссарион Григорьевич сразу поник и до самого дома уже не произнес ни слова.

Белинского угнетало, что его семья была постоянно стеснена в средствах.

Как-то вечером, сидя в кругу приятелей, он в сердцах сказал:

— Если бы я имел власть, то именным указом запретил бы подлецам бедным жениться: мало того, что сами гибнут, но и заедают жизнь другого.

Незадолго до случая с кактусом, в апреле того же года, умер страдавший чахоткой А. Я. Кульчицкий. Узнав, сколько стоили похороны, Виссарион Григорьевич воскликнул:

— Откуда же возьмет бедная вдова столько денег только для того, чтобы запрятать в землю гнилое тело!

Конечно, он не забывал о семье и об ограниченности своих средств, поэтому упреки жены и свояченицы переживал болезненно.

После женитьбы Виссарион Григорьевич не перестал мечтать о сродстве душ и стремлений и иногда, при самых близких приятелях, сетовал:

— Нашему браку недостает идеального повода и поэтического настроения.

Однако, уезжая из Петербурга, он неизменно тосковал по семье и на маленьких детей спокойно не мог смотреть, вспоминая дочь.

«Странные мы с тобою... люди,— писал он жене из одной поездки, — живем вместе — не уживаемся, а врозь скучаем».

Во всяком случае, если Белинский и не получил от брака всего, о чем мечтал, то переживал это с достоинством, никого ни в чем не виня. Отвечая на вопрос П. Д. Козловского о его семейной жизни, Белинский признался честно, однако же вполне спокойно: «Нет счастья, но нет и несчастья». Налаженный быт способствовал работе, освобождая Виссариона Григорьевича от многих забот.

Теперь уж он не просиживал, как бывало иногда раньше, до ночи без обеда, увлеченный статьей: жена внимательно следила за всем: сыт ли он, надел ли теплый шарф, проглотил ли лекарство... И его душа благодарно отзывалась на заботу.

Наблюдая его в семье, И. А. Гончаров писал: «В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с бо́льшим уважением обращался к жене, чем он. Во всем его обхождении с ней было то, что французы называли déférence [1].»

---

[1] Почтительность *(франц.)*.

«Я — НАТУРА РУССКАЯ...»

Он чувствовал русскую суть как никто.

И. С. ТУРГЕНЕВ



Новый, 1844 год Белинский встретил невесело. В декабре 1843 года Фаддей Булгарин послал свой очередной донос на «Отечественные записки» в Главное управление по делам печати, адресовав его председателю Санкт-Петербургского цензурного комитета Г. П. Волконскому. В своем доносе Булгарин обращал внимание властей на «Отечественные записки» как орган партии, подрывающей православие, самодержавие и народность и стремящейся к ниспровержению существующих порядков. В результате министр просвещения Уваров вызвал цензоров и отдал распоряжение быть особенно строгими при рассмотрении журнальных и газетных статей. В беседе с Волконским он выразил пожелание:

— Хоть бы она совсем прекратилась, эта русская литература. Тогда, по крайней мере, будет что-то определенное, а главное,— добавил он, усмехаясь,— я буду спать спокойно.

Усилился цензурный гнет и в Москве. В январе широко распространились толки о возможных репрессиях против передовых московских профессоров.

«Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы,— писал Герцен в своем дневнике 25 января.— Страшно подумать: люди совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей, которого они не знают, который иметь или не иметь не состоит в воле человека и который остановить они не могут».

До Герцена, находившегося в это время в Москве, дошли сведения и о репрессиях, готовящихся против «Отечественных записок». Он знал: «Еще шаг — и «Отечественные записки» рухнули бы со всеми участниками». Через едущего в Петербург А. А. Тучкова Александр Иванович передал московские новости, которые могли интересовать Белинского, и просил устно сообщить столичные новости, о которых рискованно писать.

Зная, с какой безоглядностью Белинский в любом обществе пускался в опасные споры, тревожась за него и желая предостеречь, Герцен также и через Кетчера предупредил Виссариона Григорьевича, чтобы он был осторожнее с мало знакомыми молодыми литераторами.

Но осторожность никогда не была в привычках Белинского.

— Я не умею хитрить,— отвечал он на упреки за чрезмерную прямоту суждений,— и другим не советую этого делать.

Белинский с досадой замечал, что кое-кто из его ближайшего окружения порой бывает слишком озабочен стремлением смягчить, сгладить острые углы, острые проблемы и противоречия. Не раз с горечью убеждался он в том, что некоторые, на словах считавшие крепостное право бесчеловечным, в действительности на многое смотрели довольно снисходительно, ибо сами были помещика-

ми, владельцами крепостных душ. Иные подолгу жили в своих имениях и, приезжая в Петербург, любили порассказать о том, сколько сил они тратят на защиту интересов своих крестьян.

Как-то у Панаевых один такой гуманный помещик в присутствии Виссариона Григорьевича долго рассказывал о своих подвигах в деревне.

— Наградою за все,— заключил он,— мне служит то, что мои мужики смотрят на меня как на родного отца.

— Чепуха! — презрительно бросил Белинский.— Никогда не поверю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем.

— Но позвольте! — вскричал помещик.— Если бы не мои старания, губернские чиновники высосали бы из мужика всю кровь!

— Прекрасно! А вы сами разве не высасываете из своих крестьян пот и кровь? Неужели вы не понимаете, что сколько бы вы ни идеальничали, сколько бы ни украшали рабство, оно останется рабством — злокачественным нарывом, позорной, бесчеловечной и безобразной вещью. Вы считаете мужика невежественным, глупым ребенком,— прибавил он более спокойно, обращаясь уже не только к злополучному помещику, но и к остальным собеседникам.— Да, русский народ пока невежественен, темен, дик, но поверьте мне: он уже сейчас понимает, как важно уничтожить крепостное право, этот нарыв, заражающий все общество.

Задетый за живое помещик не хотел сдаваться.

— Вы рассуждаете,— заявил он запальчиво,— как человек, далекий от деревни. Сидя в Петербурге, вы сплеча рубите сложные общественные вопросы, которые требуют длительной подготовки. Дать сейчас русскому мужику свободу — это все равно что дать нож ребенку, который тут же сам себя и порежет.

— Что ж, — согласился Белинский, — пусть лучше мужик начнет с того, что сам порежется, чем каждый день терпеть, как его пытают и режут другие, а потом еще и хвастают, что делают это для его пользы и блага.

Когда уничтоженный и разобиженный помещик ушел, оставшиеся наперебой стали упрекать Виссариона Григорьевича в резкости.

— Ты не знаешь русского мужика так хорошо, как знает он,— выговаривали ему.— Но даже если бы знал, к чему такая резкость? Это просто неприлично, это, наконец, не по-светски...

— Да, светскости во мне нет, но я не жалею, что оборвал хвастливые россказни этого краснобая. По крайней мере, теперь он станет осторожнее, будет знать, что не всех можно дурачить.

Виссарион Григорьевич ушел к себе усталый, с невеселыми мыслями о тех, кого он привык считать своими друзьями. «Ох, как любят они эти любезности чайного столика»,— думал он.

Даже с Некрасовым Белинский как-то был вынужден завязать спор о необходимости идти в критике до конца, не поступаясь своими мнениями. В 1844 году Некрасов, как и Белинский, неоднократно печатал свои статьи в «Литературной газете». Его суждения, как правило, были близки Белинскому и находили у него живейшую поддержку. Но, прочитав статью Некрасова «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году», напечатанную во втором номере газеты за 1844 год, Виссарион Григорьевич сказал:

— У вас верный взгляд на текущую литературу. Но зачем вы похвалили такое ничтожное произведение, как «Ольга» Вельтмана?

— Но позвольте,— возразил Некрасов,— нельзя же ругать все подряд?

— Наоборот, Некрасов, надо ругать. Надо ругать все, что нехорошо. Истина превыше всего, только правда нужна.

Это страстное служение истине заставляло Белинского и в полемике со славянофилами идти до конца, не останавливаясь перед разладом даже с самыми близкими, идейно близкими друзьями.

22 апреля 1844 года в Москве в доме С. Т. Аксакова состоялся устроенный по подписке совместный банкет московских западников и славянофилов в честь профессора Грановского, с большим успехом с ноября 1843 года по апрель 1844 года читавшего в Московском университете публичный курс лекций по истории средних веков.

Инициаторами совместного банкета были западник А. И. Герцен и славянофил Ю. Ф. Самарин, задумавшие объединить московскую мыслящую интеллигенцию и заключить мир между двумя враждовавшими лагерями. Банкет был шумный и действительно привел к временному перемирию между западниками и славянофилами.

Герцен предчувствовал отрицательную реакцию Белинского и сам первый подробно информировал его об этом банкете в письме, посланном с ехавшим в Петербург А. Д. Галаховым. Одновременно в письме к Кетчеру Герцен разъяснил, почему в некоторых вопросах он больше сочувствует славянофилам, чем Белинскому.

Попытка примирения идейных противников, сделанная в Москве, да еще по инициативе Герцена, явилась для Белинского полной неожиданностью. Тем сильнее было его возмущение.

— Да неужели Герцен, неужели Грановский,— удивлялся он,— серьезно верят в примирение со славянофилами? Не могу в это поверить! Ведь тут дело не в частных расхождениях, тут сама суть разная, противоположно от-

ношение партий к историческому прошлому и к путям русского народа и государственности. Тут слишком различно и толкование самой субстанции народности. Как они этого не понимают?!

Под впечатлением новости Виссарион Григорьевич написал в Москву огромное письмо, воспринятое Герценом как своего рода диссертация об отношении к славянофильству, а Кетчеру, по обыкновению выступившему в роли адвоката москвичей, он ответил:

— Сколько ни пей и ни чокайся, это ни к чему не приведет, если в людях нет никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде противны и гадки.

В сообщениях, приходивших из Москвы, в том, как упрямо защищал москвичей находившийся в Петербурге Кетчер, Белинский с горечью обнаруживал признаки начинавшегося распада в западнической партии. Однако даже опасность потерять друзей не остановила его, и он не смягчил свою полемику со славянофилами.

Принципиальный спор о русском народе, его прошлом, настоящем и будущем Белинский развернул в большинстве своих статей и заметок 1844 года. В рецензиях на «Разные повести», «Воскресные посиделки», «Старинную сказку об Иванушке Дурачке» Н. А. Полевого, «Народные славянские сказки» он едко высмеивал «сермяжную народность», попытки идеализировать лапти и дедовские обычаи.

— Вместо того чтобы быть зеркалом современной жизни,— говорил он,— наша литература в лице некоторых писателей предпочитает повторять зады да топтаться на одном месте.

Мысли о прошлом и настоящем русского народа, о его исторической роли и дальнейших судьбах заставляли Виссариона Григорьевича делать акцент не на националь-

ном, а на социально-демократическом понимании народности, заставляли его снова и снова отстаивать значение реформаторской деятельности Петра I, очищать от наносного и временного понятие народности. «Петр выразил собою,— писал он,— великую идею самоотрицания случайного и произвольного в пользу необходимого, грубых форм ложно развившейся народности в пользу разумного содержания национальной жизни».

Эта тема не раз возникала в задушевных беседах Белинского с Тургеневым и Некрасовым летом 1844 года, которое Виссарион Григорьевич с женой и свояченицей провели под Петербургом, в Лесном (ныне часть Выборгского района Ленинграда). В те времена это был пригород, с немощеными улицами и редкими деревянными мостками, не спасавшими пешеходов от грязи.

Дача, которую снял Виссарион Григорьевич, представляла собой жалкое зрелище: полуразвалившаяся лачуга с брезентовым навесом, рядом — три сирени, две чахлые березы да лоза — вот и вся зелень. Стены комнат были оклеены дешевыми, во многих местах отошедшими обоями, мебель стояла самая неказистая. На лучшую дачу где-нибудь в Павловске у Белинского не хватило бы денег, а доктор посоветовал обязательно выехать летом из Петербурга.

По совету того же доктора Виссарион Григорьевич купил козу. Но слишком старое животное не дало своему непрактичному хозяину и чашки молока.

В это лето неподалеку от Белинского жили Тургенев и Некрасов, которые часто навещали его. Иван Сергеевич, поселившийся в 1-м Парголове, являлся почти каждый день и уводил Белинского в сосновые рощи Лесного института (теперь Лесотехническая академия имени С. М. Кирова). Утомясь ходьбой, они садились на мягкий, усыпанный хвойными иглами мох и за разговорами нередко забывали о времени.

Часто беседа продолжалась и после прогулки — на даче за вечерним чаем. К этому времени приходил Некрасов, садился, слушал, но сам говорил мало, даже когда начинался какой-нибудь спор. Если с утра Белинскому нездоровилось, разговаривали в доме. О том, что волновало, что занимало его ум и сердце, Виссарион Григорьевич мог говорить и спорить часами, добираясь до истины или добиваясь взаимопонимания, пока, наконец, не входила Мария Васильевна, прося:

— Да погодите вы хоть немножко, прервите свои прения,— и упрекала мужа: — Ведь врач просил тебя не утомляться и меньше говорить.

Иван Сергеевич тотчас охотно поддерживал ее, намекая, что уж и время обеда скоро. Белинский возмущался и однажды сказал с горьким упреком:

— Мы не решили еще вопроса о существовании бога, а вы хотите есть!

Читая статьи Белинского, встречаясь и беседуя с ним, Тургенев неизменно обращал внимание на его поразительную близость «к центру, к самой сути своего народа» и в слабых, и в сильных сторонах его личности. Иван Сергеевич увидел глубоко русскую суть и в некоторых важнейших особенностях критической деятельности Белинского. Он писал: «...собственно, теория критики, рассуждения о разных ее родах и т. д. его мало занимали, он и в этом был прямо русский, не отвлеченный человек. Для него литература была одним из самых полных проявлений живых сил народа; он требовал от критика вообще — и от себя — не столько изучения народа и его истории, сколько любви к нему и понимания его, вместе с пониманием художества и поэзии...»

Белинский оставался на даче в Лесном до середины августа. В середине лета он перенес довольно сильное кровохарканье, которым напугал жену и свояченицу, но ко времени отъезда в город все же несколько окреп. В по-

следние дни всей семьей они несколько раз ходили собирать грибы, и Виссарион Григорьевич шумно, как ребенок, радовался, когда ему посчастливилось найти несколько белых.

В Петербурге в квартире дома Лопатина он закончил статьи и рецензии для девятой книжки «Отечественных записок». Среди них была смелая по мыслям, по уверенности в неизбежном переустройстве общественной жизни статья «Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений, сочиненное С. Смарагдовым...» Одновременно он работал над новыми статьями — о Пушкине, Лермонтове, Одоевском — для очередных книжек «Отечественных записок», писал рецензии для «Литературной газеты», большой фельетон «Петербург и Москва» — для первой части сборника «Физиология Петербурга», который намеревался издать Некрасов.

В Петербурге в доме Лопатина он еще застал Панаевых, собиравшихся в заграничное путешествие. Чтобы лучше обеспечить поездку деньгами, Иван Иванович, как это было принято тогда у русских помещиков, заложил своих крепостных в Опекунский совет и теперь составлял обширную программу путешествия по городам Франции, Италии, Германии и Англии.

Наблюдая эти хлопоты, Виссарион Григорьевич посетовал:

— Счастливцы вы, господа помещики, а наш брат — батрак разве только во сне увидит Европу. Да ладно бы, если б хоть работать можно было в человеческих условиях. А то этой ночью увлекся, расписался. А потом думаю: ведь цензура-то и половины того, что написал, не оставит. И давай начинай все сначала. Крутись, как белка в клетке, изворачивайся и так и этак, чтобы обвести цензуру. Уж я, кажется, привык писать под обухом, и то иной раз руки опускаются и злость берет. Спрашивается: ну, какой толк от меня, если я не смею изложить на бумаге ясно,

что думаю. Уж лучше дрова рубить или мешки таскать на пристани. Тогда по крайней мере спал бы без снов. А тут ложишься и часами не можешь заснуть — так одолевают разные скверные мысли об этих пошлых порядках.

Невеселые мысли одолевали его и тогда, когда из Москвы приходили очередные сообщения о сближении его друзей со славянофилами. Грановский опубликовал в августовской книжке «Москвитянина» свою статью и захотел узнать, читал ли ее и что о ней думает Белинский. «Нет, и не буду читать,— написал Виссарион Григорьевич Герцену,— скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Виссарион Григорьевич знал, что московские друзья упрекают его в односторонности и в нежелании принять то ценное, что есть в славянофильстве. Знал, что, по мнению Герцена, он «не понимает славянского мира; он смотрит на него с отчаянием, и не прав; он не умеет чаять жизни будущего века, а это чаяние есть начало возникновения будущего». Эту запись в дневнике Александр Иванович сделал под впечатлением большого и резкого письма Белинского против сближения западников со славянофилами.

С таким мнением о себе Виссарион Григорьевич не мог согласиться. Неужели он недостаточно ясно выразил в статьях свои мысли? Или москвичи — даже наиболее близкие ему — не понимают, что он выступает не только против оглядки славянофилов на прошлое как на источник будущего рая, но и против пессимистической концепции русского исторического процесса, которую развивал в своих письмах П. Я. Чаадаев. В очередных статьях 1844 года Белинский еще раз высказал свое мнение о народе и народности, о перспективах развития России.

В статье «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», опубликованной в десятой книжке «Отечественных записок» за 1844 год, он подверг критике славянофильский вывод автора, будто «Европа того и гляди прикажет долго жить, а мы, славяне, напечем блинов на весь мир». Не разделяя подобных мнений, в которых он находил признаки неверно понятого патриотизма, Виссарион Григорьевич в то же время не сомневался, что Россия — это страна будущего. В статье о Державине он писал: «Россия, в лице образованных людей своего общества, носит в душе своей непобедимое предчувствие великости своего назначения, великости своего будущего. И, не увлекаясь ни детскими фантазиями, ни ложным патриотизмом, можно сказать смело, что есть факты, превращающие это предчувствие в убеждение».

Позднее, в шестой книжке «Отечественных записок» за 1845 год, без подписи, как большинство статей Белинского, появился разбор романа В. А. Соллогуба «Тарантас», изображавшего жизнь патриархальной Руси, Руси, подновленной реформами Петра I, и, наконец, будущей, воображаемой России, блестяще развитой едва ли не благодаря грубости и невежеству в годы царствования Николая I.

В логике автора и главного героя его романа Ивана Васильевича Белинский тотчас уловил отличный повод для открытой полемики не только со славянофилами, но и со своими друзьями — московскими западниками, терпимо относившимися к некоторым крайностям во взглядах славянофилов.

Статья Белинского о «Тарантасе» по жанру — памфлет: критик создал сатирический образ славянофила Ивана Васильевича, склонного к детским фантастическим прозрениям в будущее России. «Этот человек с жидкою натурою, с слабою головою, без энергии, без знаний, без опытности, с одной мечтательностью, с одними пошлы-

ми фантазийками,— писал он о герое «Тарантаса»,— мог вообразить, что он нашел дорогу, на которую Россия должна своротить с пути, указанного ей ее великим преобразователем. Комары, мошки хотят поправлять и переделывать громадное здание, сооруженное исполином!»

Читатели, посвященные в литературные споры, увидели в этом памфлетном образе намек на известного славянофила Ивана Васильевича Киреевского, с января 1845 года возглавившего редакцию реорганизованного «Москвитянина».

Дня через два после появления «Отечественных записок» с памфлетом Белинского Виссарион Григорьевич обедал у Панаевых, вдруг в передней раздался голос автора «Тарантаса». Белинский, как, впрочем, и многие писатели, недолюбливал Соллогуба за надменность и неровность в отношениях: то он запанибрата, накоротке с другими литераторами, то вдруг словно перестает узнавать их и едва протягивает руку. Это делало Соллогуба малоприятным, несмотря на доброту и готовность помочь всем, кто в его помощи нуждался.

Виссарион Григорьевич побледнел и хотел было уйти, но Соллогуб уже входил в комнату, пожал руку Авдотье Яковлевне, Панаеву и слегка, небрежно кивнул в сторону Белинского.

— Я не мешаю вам? — осведомился пришедший и попросил Ивана Ивановича: — Дайте мне последний номер «Отечественных записок». Говорят, меня ужасно отделали. Хочу пробежать эту статью.

Взяв журнал, Соллогуб уединился в соседней комнате.

Едва закончился обед, как он подошел почти вплотную к Белинскому и, полуулыбаясь, спросил:

— Так это вы надавали мне оплеух?

Кровь снова отхлынула от лица Белинского, но он поднял голову и взглянул Соллогубу прямо в глаза.

— Если это по-вашему оплеухи,— сказал он,— то согласитесь, что моя рука была в бархатной перчатке.

Автор «Тарантаса» рассмеялся шутке, и это разрядило обстановку.

Московские славянофилы в очередной раз были весьма чувствительно задеты Белинским. Однако некоторые особенно резкие высказывания критика о народности и национальности вызвали движение и в лагере его друзей — московских западников. Когда летом 1845 года они собрались под Москвой, в Соколове,— Герцен, Грановский, Кетчер и приехавший из Петербурга Анненков,— разговор тотчас зашел о статьях Белинского.

— А я должен сказать здесь прямо, что во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому и «Отечественным запискам»,— объявил Грановский.

— Статья Белинского о «Тарантасе» — это нападение на русскую национальность,— добавил кто-то из присутствующих.

— Но, господа, будем объективными. Ведь эти резкие антинациональные выходки Белинского происходят исключительно из горячего демократического чувства, из его возмущения тем состоянием, до которого доведен русский народ.

— Да,— согласился Грановский,— именно в этом разгадка многих излишеств Виссариона Григорьевича.

В конце лета Анненков вернулся в Петербург и познакомил Белинского с мнениями московских друзей, недовольных резкостью его нападок на славянофилов.

— Это не изменит моих убеждений,— ответил Белинский, выслушав.

— Но ведь вы останетесь почти один с девизом непримиримой борьбы со славянофильской партией,— заметил Анненков.

— Что же делать!..

Белинский смело защищал диалектическую мысль о непрерывности и поступательности исторического развития.

— Развитие человечества не имеет пределов,— говорил он.— Никогда не будет так, чтобы человечество сказало себе: «Довольно, дальше идти некуда!» Если это случится, наступит смерть, потому что жизнь — в движении, в движении к прогрессу, к лучшим формам устройства.

Несмотря на цензурные препятствия, он умело проводил в своих статьях мысль о том, что на смену чудовищным современным порядкам неизбежно придет новый общественный строй. В отзыве о «Руководстве к познанию новой истории...» он писал: «...в эпоху всеобщего разложения элементов, которые дотоле составляли жизнь обществ, в эпоху отрицания старых начал, на которые опиралась эта жизнь, в эпоху всеобщей тоски по обновлении и всеобщего стремления к новому идеалу можно предчувствовать и даже предвидеть основание будущей эпохи, ибо самое отрицание указывает на требование, и разрушение старого всегда совершается чрез появление новых идей. Если до сих пор человечество достигло многого, это значит, что оно еще большего должно достигнуть в скорейшее время. Оно уже начало понимать, что оно — человечество: скоро захочет оно в самом деле сделаться человечеством...»

Многие западники видели желаемую ближайшую перспективу для России в буржуазных свободах, данных французскому обществу революцией 1830 года. Белинский сознавал ограниченность этих свобод. В рецензии на роман французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны», опубликованной в четвертой книжке «Отечественных записок» за 1844 год, он иронически высказался о той желанной для буржуазных филантропов демократии, при которой «голодная, оборванная и частью поневоле

преступная чернь сделалась сытою, опрятною и прилично себя ведущей чернью», но чтобы «мещане, теперешние фабриканты законов во Франции, оставались бы по-прежнему господами Франции».

Работая над такой темой, как «Петербург и Москва», Виссарион Григорьевич, конечно, не мог обойти споров о будущем России и русского народа, которое для многих современников связывалось с принятием или, наоборот, неприятием Петербурга и пути, указанного Петром.

Вопрос о разных укладах русской жизни, о разных обликах двух столиц — Москвы и Петербурга — живо обсуждался в русской журналистике и до Белинского. Этот вопрос затронул еще Пушкин сначала во вступлении к «Медному всаднику», а затем в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», в которой он сослался на еще более раннее стихотворение «Сравнение Петербурга с Москвой», написанное в 1810 году П. А. Вяземским.

Пушкин работал над своей статьей через год после создания «Медного всадника». В это время, в конце 1834 — начале 1835 года он встречался с Гоголем, делился с ним своими замыслами, и Гоголь, по всей вероятности, знал «Путешествие из Москвы в Петербург», когда писал «Петербургские записки 1836 года», опубликованные в 1837 году в пушкинском «Современнике». Такое предположение естественно возникает при сравнении обеих статей.

Тема Петербурга и Москвы, смело разработанная Пушкиным и Гоголем, получила дальнейшее развитие у Герцена и Аполлона Григорьева. Находясь в ссылке в Новгороде, Герцен написал в 1842 году очерк-памфлет, озаглавленный так же, как и статья Григорьева, «Москва и Петербург». Небольшой отрывок из герценовского памфлета вошел в рассказ «Станция Едрово», напечатанный

в 1846 году, а полностью статья появилась лишь в «Колоколе» (1857, лист 2). Но памфлет Герцена ходил в списках по рукам, и Белинский не мог не знать его.

К тому же их общий знакомый Кетчер, служебными делами вынужденный с октября 1843 года по апрель 1845 года жить в Петербурге, откровенно тосковал по Москве и всякий раз, приходя к Белинскому, затевал спор о значении и судьбах обеих столиц. Вспоминая отдельные выводы из рукописной статьи Герцена «Москва и Петербург», Николай Христофорович повторял их теперь как свои основные доводы в пользу Москвы.

— У Петербурга нет истории, нет будущего! — кричал он.

Виссарион Григорьевич отвечал:

— Что ж, не вы один, многие не шутя уверяют, будто Петербург — город без исторической связи с Россиею, без преданий и без святыни, город, построенный на сваях и на расчете. Но такие мнения устарели, пора бы уж их и оставить.

— Но Петербург не самобытен, он лишь общее воплощение идеи столичного города,— возражал Кетчер.

— Вы отвергаете историческую важность Петербурга? Это значит только, что вы не поняли исторической роли Петра и его планов,— делал вывод Белинский.

Свой фельетон «Петербург и Москва» он полемически направил против «романтиков» и «доморощенных политиков», т. е. против московских славянофилов, которые, благоговея перед Москвой, считали Петербург «случайным и эфемерным порождением эпохи, принявшей ошибочное направление». Но в то же время он, возможно, вступил здесь и в скрытый спор с Герценом.

Герцен высмеивал барскую Москву и бюрократический Петербург, но почти не касался прогрессивных сторон русской исторической действительности, которые

наложили свой отпечаток на жизнь и быт обеих столиц. Сатирически заостряя критику императорского Петербурга, он писал: «Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего, он всякую осень может ждать шквала, который его потопит». Герцен находил, что в Петербурге нет ничего оригинального, и сравнивал северную столицу с ходячей монетой, без которой нельзя обойтись.

Еще в первую свою петербургскую зиму, когда Белинский переменил не один адрес в поисках сколько-нибудь подходящей квартиры, он написал статью «Александринский театр», в которой отдал должное обеим столицам. «Да, господа,— писал он,— жить безвыездно в Москве и потом приехать в Петербург — это значит из одного мира перелететь в другой, совершенно на первый не похожий. Я теперь особенно понял, как смешны и нелепы споры о превосходстве одной столицы перед другою. Эти споры так же детски не основательны, как споры о превосходстве одного гениального произведения перед другим, тоже гениальным... Нет, Москва имеет свое значение, которого не имеет Петербург, но и она так же не может заменить Петербурга, как и Петербург ее: каждый из этих городов хорош по-своему, каждая из столиц лучше одна другой, каждая одна другой хуже».

Сопоставляя теперь обе столицы в фельетоне «Петербург и Москва», Белинский думает прежде всего о будущем, о судьбах этих городов и в конечном счете о судьбах русского народа.

«...Петербург оригинальнее всех городов Америки,— утверждал он здесь,— потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. <...> ...есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России».

Вслед за общими соображениями об историческом значении Петербурга Белинский нарисовал широкую конкретную картину жизни северной столицы, законодательницы и образца для всей России решительно во всех сферах бытия: от мод на шляпки и кареты, от правил светского тона, до манеры издавать журналы, класть кирпичи, прокладывать и мостить улицы и т. д.

Петербург строится на века: и через много-много лет всякий приезжий должен будет восхититься этими строго прочерченными прямыми проспектами, широкими улицами, архитектурными ансамблями, гранитными набережными, кружевом чугунных решеток, мостами, фонарями, памятниками, садами...

Сравнивая две столицы, Виссарион Григорьевич обратил внимание и на то, что в Петербурге идея города вообще выражена гораздо ярче и определеннее, с большей заботой об удобствах жителей. Чего стоили, например, огромные петербургские доходные дома, в которых жило столько разных занятых своими делами людей, что у них не было ни времени, ни охоты узнавать, кто поселился в соседней квартире. Сменив в Петербурге несколько квартир, Белинский на собственном опыте знал, каких удобств ищет петербургский житель. «Главное удобство в квартире, за которым гонится петербуржец,— писал он,— состоит в том, чтобы ко всему быть поближе — и к месту своей службы, и к месту, где все можно достать и лучше и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковчеге, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свете. Идея города больше всего заключается в сплошной сосредоточенности всех удобств в наиболее сжатом круге: в этом отношении Петербург несравненно больше город, чем Москва, и, может быть, один город во всей России, где все разбросано, разъединено, запечатлено семейственностью».

В Петербурге больше порядка, рациональности. Журналы и газеты выходят точно в срок. Об этом Виссарион Григорьевич мог судить, между прочим, и по работе в «Отечественных записках»: материал для очередной книжки журнала относили на рассмотрение в цензурный комитет всегда в одно и то же время и цензурное разрешение очередной книжки журнала получали там также всегда в одно время.

«Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато уж нет и домашнего или семейственного затворничества»,— писал Белинский. Он заметил, что Петербург «любит улицу, гулянье, театр, кофейню, воксал, словом, любит все общественные заведения». «Этого пока еще немного,— добавлял он,— но зато из этого может многое выйти впереди».

Едва встав с постели, петербургский житель уж тянется к газете, чтобы узнать новости, пробежать глазами объявления о концертах, спектаклях, скачках, гуляньях... Если петербуржец не выписал всех необходимых ему изданий, он может забежать в любую кондитерскую и получить там свежие журналы, для удобства читателей переплетенные в книжки по отделам.

Белинский живо обрисовал до полуночи оживленные петербургские улицы, всегда полные кондитерские, рестораны и кухмистерские заведения, где русские и иностранцы едят, пьют, спорят, играют на бильярде, просматривают «Пчелу», «Инвалида» или толстые журналы...

В Петербурге сразу поражает особый деловой ритм, который проникает решительно во все сферы жизни петербуржца. Здесь много учреждений и всякого рода служб, и поэтому значительную часть населения составляют военные и штатские чиновники. «В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу,— писал Белинский в своем фельетоне.— В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимае-

тесь?» В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «Где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и т. д. Чиновник — это туземец, истый гражданин Петербурга. Если к вам пришлют лакея, мальчика, девочку хоть пяти лет, каждый из этих посланных, отыскивая в доме вашу квартиру, будет спрашивать у дворника или и у самого вас: «Здесь ли живет *чиновник* такой-то?» хотя бы вы не имели никакого чина и нигде не служили и никогда не намеревались служить. Такой уж петербургский «норов»!»

Белинский увидел, что даже петербургское простонародье по своим привычкам и потребностям заметно отличается от московского. Петербуржцам мало водки и чая, им подавай сигары, кофе, без которого петербургская кухарка или служанка уже не может жить. Крестьянки, живущие в пригородах Петербурга, под звуки гармоники танцуют уж не национальную русскую пляску, а французскую кадриль. Петербургские швейки, в противоположность московским, предпочитают европейские шляпки традиционным русским чепцам...

Описав жителей различных сословий и состояний, Белинский особо охарактеризовал общий, типичный облик москвича и петербуржца: «...один вид москвича возбуждает в вас аппетит и охоту говорить много, горячо, с убеждением, но решительно без всякой цели и без всякого результата! Не такое действие производит на душу наблюдателя вид петербургского жителя. Он редко бывает румян, часто бывает бледен, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальным колоритом, свойственным петербургскому небу; и на этом лице почти всегда видна бывает забота, что-то беспокойное, тревожное и вместе с этим какое-то довольство самим собою, что-то похожее на непобедимое убеждение в собственном достоинстве. Петербургский житель никогда не ложится спать ранее двух часов

ночи, а иногда и совсем не ложится; но это не мешает ему в девять часов утра сидеть уже за делом или быть в департаменте. После обеда он непременно в театре, на вечере, на бале, в концерте, в маскараде, за картами, на гулянье, смотря по времени года. Он успевает везде, и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывает на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени».

Эти страницы Виссарион Григорьевич писал под воздействием петербургских повестей Гоголя и его «Петербургских записок 1836 года». Описание Гоголем участи петербургского чиновника воспринималось читателями 40-х годов как своеобразный комментарий к «Запискам сумасшедшего» и к «Шинели», в которой Гоголь впервые ввел в русскую литературу эпитет «геморроидальный» применительно к «колориту» лица бедного чиновника. Белинский, так ценивший гоголевское изображение Петербурга, процитировал в своем фельетоне «Петербург и Москва» пространную выдержку из его «Петербургских записок» (от слов: «Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы» до слов: «В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна; даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадается в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии»).

В заключительной части фельетона Белинского есть автобиографическое признание, имеющее вместе с тем и историко-социологическое значение. «Хотя москвич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, однако, тем не менее, он очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! <...> Петербург

имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнию и решительным незнанием действительности,— и вы остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого...»

Может показаться странным, но о Москве тех лет схожее мнение высказал славянофильский лидер А. С. Хомяков. «Наше московское житье-бытье,— писал он одному из своих друзей в Петербург,— идет по-старому, в сладкой и ненарушимой праздности, в отвлеченностях, в беседах довольно живых, вертящихся все около одних каких-нибудь предметов, которые идут на месяцы и годы... Ежедневное повторение одних и тех же бесед очень похоже на оперу в Италии. Одна идет на целый год, а слушателям не скучно. Это не похоже на Питер...» В Питере, считал он, «мысль... гневлива, как практический интерес».

Если бы Белинскому попало в руки это письмо, каким веским доказательством для его сравнения Петербурга с Москвой оно могло бы стать. Ведь то, что он писал в своем фельетоне о Москве тех лет, было закономерным выводом из того, что он сам наблюдал в Москве и о чем сообщал своему другу Хомяков. «Несмотря на видимую падкость Москвы до новых мнений или, пожалуй, и до новых идей,— писал Виссарион Григорьевич,— она, моя матушка, до сих пор живет все по-старому и не тужит. С этими идеями она обращается как-то по-немецки: идеи у ней сами по себе, а жизнь сама по себе».

Белинский не отрицал идейной жизни в Москве, ее стремления к новому, но, сравнивая Москву с Петербургом, он отмечал в северной столице такие черты, которые делают Петербург представителем новизны в стране.

Невозможно не удивиться и не восхититься той прозорливостью и убежденностью, с какой, вопреки скептическим голосам, раздававшимся из самых разных лагерей, Белинский отстаивал значение и роль Петербурга в будущих судьбах русского народа.

— Если предположить, что в России когда-нибудь появится большая литературная и общественная партия, то она появится не где-либо,— говорил он,— а именно и только в Петербурге.

В конце 1844 года Виссарион Григорьевич параллельно работал над большими статьями о Пушкине и Крылове и над очередным обзором «Русская литература в 1844 году».

До него дошел неопубликованный памфлет славянофильского поэта Н. М. Языкова «К не нашим».

— Ну, что, каковы объединившиеся москвичи? — горько иронизировал он в кругу петербургских друзей.— Вы только послушайте, как бойко сей автор разделывается с Чаадаевым, Грановским, Герценом, да и вообще с западничеством.

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
...Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!

— Каков тон, а? Я думаю,— заявил Белинский,— теперь наши в Москве наконец перестанут лобызаться со славянофилами и начнут решительнее разъединяться.

Так и вышло. Стремясь помочь этому размежеванию, Виссарион Григорьевич в обзоре «Русская литература в 1844 году» подробнее остановился на критике славянофильских поэтов Н. М. Языкова и А. С. Хомякова.

Последний был признанным авторитетом в славянофильском лагере, едва ли не его главой, яркая, талантливая манера вести полемику порою привлекала на его сторону симпатии даже тех, кто не разделял идей славянофильства.

Еще 6 февраля 1843 года, узнав, что кое-кто из московских друзей, в частности Герцен, с одобрением отзываются об уме и одаренности Хомякова, Виссарион Григорьевич писал Боткину: «Я знаю, что Хомяков человек не глупый... но он не надул бы меня своею диалектикою».

Белинский считал, что теперь, после того как из славянофильского лагеря была выпущена стрела в виде стихотворения «К не нашим», необходимо прямо высказать свое мнение не только о его авторе, но и о такой фигуре, как Хомяков.

В это же время Некрасов, разделявший возмущение Белинского стихотворением Языкова, написал «Послание к другу». Обозначенный скобками подзаголовок «Из-за границы» должен был подсказать читателям, что письмо исходит из западнического лагеря. В «Послании...» был нарисован сатирический портрет русского славянофила:

Вырос ты удал и рьян
И летишь навстречу братий
Горд, и радостен, и пьян!
Горячо и лихо — славно
Сердце русское твое,
Полюбил ты достославно
Нас развившее питье...

Белинскому очень понравился ответ Некрасова славянофилам. Это была поддержка, и Виссарион Григорьевич ее оценил.

1844 год, начавшийся тревожным ожиданием репрессий против журнала, закончился новыми слухами о закрытии «Отечественных записок». Через цензора Ники-

тенко Белинский знал, что еще в начале октября министр народного просвещения Уваров в очередной раз отдал петербургским цензорам распоряжение — быть особенно требовательным к авторам «Отечественных записок».

— Этот журнал,— объявил он,— проповедует дурное направление — социализм и коммунизм. И я прошу вас не щадить его сотрудников.

К Белинскому это относилось в первую очередь.

Сотрудники «Москвитянина» с удовлетворением восприняли слухи о запрещении печатного органа западников. «Теперь они ликуют и не нарадуются»,— отметил в своем дневнике Герцен.

К счастью, журнал, идейно руководимый Белинским, все же уцелел. Но работать в нем и проводить через цензуру передовые идеи становилось все труднее.

В январе 1845 года Белинский познакомился со статьей Карла Маркса «К критике гегелевской философии права», опубликованной в «Немецко-французском ежегоднике», вышедшем в свет в Париже под редакцией Карла Маркса и Арнольда Руге еще в начале 1844 года.

— Да ведь это то, над чем и я думаю! — радостно воскликнул он, читая переведенную Кетчером статью.— Именно так, Маркс прав: религия — это опиум для народа, это обман, призрачное счастье, которое нужно уничтожить ради действительного счастья.

26 января Белинский писал Герцену о статье: «Два дня я от нее был бодр и весел,— и все тут. Истину я взял себе — и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут... Все это так, но ведь я по-прежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!..»

Сильное впечатление на русских западников произвело также письмо жившего за границей М. А. Бакунина редактору газеты «La Réforme», опубликованное 27 ян-

варя 1845 года в Париже. Бакунин поднимал в нем вопрос о политической обстановке в России, об участившихся возмущениях крестьян, о неминуемой революции, если правительство само не поспешит избавить народ от крепостной зависимости.

Статью Бакунина прислал Герцену из Берлина Огарев. Возможность такой публикации поразила Герцена, ускорив его решение эмигрировать. Белинского письмо Бакунина еще раз навело на горькие размышления о российской действительности, но об эмиграции он не думал.

Чуть позднее, в мае 1845 года, друзья обратились к Белинскому с настоятельным предложением уехать за границу. Панаева, возвратясь из Европы, передала Виссариону Григорьевичу соображения Бакунина:

— Михаил Александрович считает, что вам необходимо перебраться в Париж, и как можно скорее. Вы создадите вокруг себя русскую колонию и сможете работать, не стесняя своих убеждений, освободив ваш интерес к самым животрепещущим общечеловеческим вопросам.

Авдотья Яковлевна говорила убежденно: резко очерченная Бакуниным картина неизбежной нравственной и физической гибели Белинского в условиях царской России тревожила ее.

Виссарион Григорьевич ответил спокойно, словно все это было им уже давным-давно обдумано и решено:

— Я знаю и без Бакунина, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь, но все-таки не намерен осуществлять его плана. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, со своим знанием языков и энциклопедическим образованием он может чувствовать твердую почву под своими ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Бакунин зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что

захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и пересадить их в другую почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже.

Помолчал и добавил:

— Я прекрасно вижу, что при существующих порядках не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!..

После этого Белинский резко переменил тему разговора, и Авдотья Яковлевна поняла, что уговаривать его было бы бесполезно. Она, как и другие близкие ему люди, знала, что смыслом жизни Белинского была неустанная работа ради развития самосознания народа, ради социального прогресса и прогресса отечественной литературы. Ни откладывать, ни решать эти задачи вдали от родины он не считал возможным.

«МУЗА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ»

Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел никто из его сверстников.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ



Зима 1844/45 года выдалась в Петербурге долгая и снежная: даже в апреле все еще ездили на санях, и это неожиданно нарушило традиционные пасхальные гулянья.

За неделю до пасхи, в вербное воскресенье, была прекрасная погода: снег и солнце. На Невском возле Гостиного двора валом валил народ: в двух галереях и на открытом воздухе шла праздничная торговля игрушками и сладостями. В это время, раз в год, здесь можно было полакомиться греческими конфетами.

Большинство гуляющих принадлежало к среднему кругу. В толпе было много детей. Их глаза горели восторгом и острым любопытством. Явилось на гулянье и младшее поколение большого света, но те с достоинством, спокойно наблюдали толпу и весенний базар, не выходя из экипажей, медленно двигавшихся по Невскому проспекту, во всю ширину заполненному в этот день каретами и колясками.

На страстной неделе было сухо и тепло, так что в самый разгар праздников, запрятав шубы, петербуржцы

вышли на улицы в весенних пальто и мантильях. Модницы отдали прислуге прошлогодние черные, а сами надели — по последним парижским рекомендациям — мантильи цвета de Fantaisie — лиловые с белым и зеленые с лиловым отливом, сзади закругленные, а спереди украшенные рюшем из атласных лент.

Площади заполнились веселящимся народом, гремела музыка, слышались песни. Открылись многочисленные балаганы, давали представления паяцы, взлетали качели, усталые клячи тащили праздничные поезда с детьми.

И вдруг подул северный ветер, небо стало серым, и густой снег в течение двух суток покрыл белой пеленой улицы и площади города. Публика схлынула, гонимая холодом. Потом снег стал таять, и два дня стояла непролазная грязь. Те, кто поспешил хоть в последний день насладиться гуляньем, были разочарованы: плотники уже вовсю стучали топорами по стенам закрывшихся балаганов.

Опасаясь простуды, заваленный работой, Белинский сидел дома в квартире, занятой им в доме Лопатина после переезда Краевского в собственный дом на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы (ныне Литейный пр., 36, угол ул. Некрасова). Туда же с Невского проспекта из дома Лукина была переведена и редакция «Отечественных записок». Теперь редакция находилась дальше, и добраться до нее можно было двумя путями: сначала от дома Лопатина налево по Невскому проспекту до Литейного: а там уже до Бассейной. Но этот путь Виссариону Григорьевичу не нравился. Куда приятнее было, не выходя на Невский, идти от дома Лопатина по малолюдной набережной Фонтанки, до Симеоновского моста (ныне мост Белинского) — одного из семи каменных трехпролетных «мостов-братьев», построенных через Фонтанку между 1784 и 1787 гг. по одному проекту. Все эти мосты имели гранитные башни и цепи, служившие своеобразным украшением. В башнях находились механизмы, под-

нимающие средние деревянные части мостов для пропуска кораблей. О том, как Симеоновский мост выглядел во времена Белинского, можно судить по двум мостам, более других сохранившим прежний облик: Ломоносова (бывший Чернышев мост) и Старо-Калинкину. Башни с Симеоновского моста были сняты во второй половине XIX века.

У моста повернув направо, Виссарион Григорьевич по короткой Симеоновской улице (теперь ул. Белинского) выходил на Литейный проспект прямо к дому Краевского. Но сейчас, утомленный непосильной работой и нездоровьем, он едва преодолевал слабость и без особой нужды в редакцию не ходил.

Белинский продолжал трудиться над статьями о Пушкине и уже приступал к десятой, предпоследней статье, о «Борисе Годунове». Кроме того, после краткой предварительной заметки о «Тарантасе» В. А. Соллогуба он писал большую статью об этой книге, так же как и о литературном сборнике «Вчера и сегодня», составленном тем же Соллогубом, не говоря уже о многочисленных рецензиях и заметках.

В это время у Белинского по вечерам иногда собирались его единомышленники — литераторы или люди, близкие к литературе, болеющие душой за судьбу России. Виссарион Григорьевич зажигал в кабинете свечи. Говорили о положении в стране, о бесправии народа, о необходимости коренных реформ, о значении литературы в деле общественного воспитания, о необходимости широкого и правдивого изображения русской действительности.

А. В. Орлова, свояченица Белинского, вспоминала: «...все они были молодые, здоровые и красивые. Но странное дело: как, бывало, оживится и заговорит Белинский с свойственной ему страстностью и увлечением, невольно забудешь о красивых его приятелях и смотришь не наглядишься на него; он как будто вырастет и вдруг похороше-

ет какой-то не физической, а скорее духовной красотой; глядишь на него — не узнаешь: совсем не тот болезненный, точно придавленный и невзрачный человек, что был утром, а другой, незнакомый, с порывистой, задыхающейся речью, с глазами, искрящимися, жгучими и иногда как бы карающими. Все замолчат».

Зимой 1844/45 года, несмотря на обычную загруженность в журнале Краевского, Виссарион Григорьевич отдал много сил и энергии совместной с Некрасовым и Панаевым работе над двумя сборниками «Физиология Петербурга», которые вышли один за другим в марте и апреле 1845 года. Эти сборники, как и последовавший за ними «Петербургский сборник», опубликованный в 1846 году, вызвали немало шума в литературных кругах России, ибо их появление утвердило новую — «натуральную» — школу в русской литературе, в значительной мере сформировавшуюся под воздействием гоголевского реализма.

26 февраля 1846 года «Северная пчела» (№ 22) напечатала статью Булгарина о «Петербургском сборнике». Стремясь унизить последователей Гоголя, автор назвал гоголевское направление «натуральной школой».

Белинский блистательно парировал удар, заявив в отзыве на «Воспоминания Фаддея Булгарина», что Булгарин весьма удачно назвал новую школу в литературе «*натуральною школою,* в отличие от *старой реторической,* или *не натуральной,* т. е. *искусственной,* другими словами — *ложной школы.* Этим г. Булгарин прекрасно оценил новую школу, и в то же время отдал справедливость старой; — и новой школе ничего не остается, как благодарить его за удачно приданный ей эпитет...»

Так было утверждено название нового направления, но о его зарождении Белинский возвестил гораздо раньше. Уже в рецензии на «Мертвые души» он заявил, что появившиеся с середины 30-х годов произведения Гоголя

положили начало новой школе в литературе и искусстве. В обзоре литературы за 1843 год также подчеркивалось, что «Мертвые души» окончательно решили литературный вопрос эпохи, упрочив торжество новой школы. А в обзоре за 1845 год, который писался в декабре 1845 года, критик определил точную дату возникновения этого направления — середина 30-х годов, когда появились «Миргород» и «Ревизор». «С тех пор,— заявил он,— весь ход нашей литературы, вся сущность ее развития, весь интерес ее истории заключились в успехах новой школы». Таким образом, понятие, выраженное термином «натуральная школа», разрабатывалось Белинским задолго до того, как Булгарин назвал эту школу «натуральной». В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он с гордостью и удовлетворением отметит, что натуральная школа вышла на первое место в русской литературе.

Название двух сборников, вышедших в 1845 году, указывало на некоторую идейную и жанровую связь с весьма распространенными в те годы во французской литературе нравоописательными, социально-типологическими очерками, которые было принято называть «физиологическими». В анонимном вступлении к «Физиологии Петербурга», своеобразном манифесте натуральной школы, Белинский перечислил целый ряд таких сборников, альбомов и альманахов, посвященных жизни в разных уголках Франции и особенно часто — жизни Парижа: «Книга ста одного», составленная из множества очерков и статей о столице Франции, роскошно изданный альбом «Un été à Paris» («Лето в Париже»), иллюстрированные издания «Le Diable à Paris» («Дьявол в Париже») и «Les Français peints par eux-mêmes» («Французы в собственном их изображении»)...

Во всех этих французских жизнеописательных, «физиологических» очерках утверждались принципы реалистической беллетристики. Многочисленных авторов все чаще

привлекали демократические мотивы, социальная проблематика. Эта социальность французского искусства для передовой русской молодежи середины 40-х годов, уже знакомой с идеями утопического социализма, приобретала политическую, революционную окраску. Литераторы русской натуральной школы, обращаясь к жанру физиологического очерка, сознательно, по сравнению со своими французскими собратьями, усиливали демократический характер и социальную направленность выпускаемых сборников. «Если бы нас спросили,— писал Белинский в обзоре «Русская литература в 1845 году»,— в чем состоит существенная заслуга новой литературной школы,— мы отвечали бы: в том именно, за что нападает на нее близорукая посредственность или низкая зависть,— в том, что от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так называемой «толпе», исключительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самою. Это значило повершить окончательно стремление нашей литературы, желавшей сделаться вполне национальною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сделать ее выражением и зеркалом русского общества, одушевить ее живым национальным интересом».

«Физиология Петербурга» не только по содержанию, но и по внешнему виду не была карманной книжечкой для развлечения. Этот сборник по формату и объему напоминал том любого «толстого» журнала. Он, по словам Белинского, «заставлял читателя мыслить».

Первая часть «Физиологии Петербурга» открывалась «Вступлением», написанным Белинским. Здесь были напечатаны фельетон Белинского «Петербург и Москва», очерки «Петербургский дворник» В. И. Луганского (Даля), «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича, «Петербургская сторона» Е. П. Гребенки и «Петербургские углы» Н. А. Некрасова (часть незавершенного рома-

на «Жизнь и похождения Тихона Тросникова»). Во вторую часть вошли: «Александринский театр», сочинение театрала ex officio (Белинского), «Петербургская литература» Белинского, «Чиновник» Некрасова, «Омнибус» А. Я. Кульчицкого (Говорилина), «Лотерейный бал» Д. В. Григоровича и «Петербургский фельетонист» И. И. Панаева. Все авторы, кроме Григоровича, были известны читателям по «Отечественным запискам».

В своем «Вступлении» Белинский впервые определил важнейшую задачу русской литературы — отразить пока никем не описанную жизнь народов и племен «беспредельной и разнообразной России», отразить в форме путевых заметок, очерков, рассказов. «Крым, Кавказ, Сибирь,— все это целые миры... — писал он.— Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!» Описание быта и нравов различных слоев столичного населения представлялось Белинскому частью этой грандиозной программы.

Среди ранее опубликованных произведений о жизни столицы Виссарион Григорьевич советовал читателям обратить внимание прежде всего на гоголевские «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос», «Женитьбу», «Утро делового человека», «Отрывок» и, наконец, «Театральный разъезд».

— Тут есть все лица, которых бог не создавал нигде за чертою Петербурга,— утверждал он.

В своем «Вступлении» Белинский упомянул и известную «Панораму Петербурга» А. П. Башуцкого, изданную в трех частях в 1834 году, но, рекомендуя ее читателям, предупреждал, что эта книга больше описывает, нежели характеризует Петербург, и что тон ее при этом склоняется к официальному. Кроме того, и внешний вид столицы за истекшее десятилетие во многом изменился. Отдавая должное изображению жизни Петербурга в сочинениях

В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, И. И. Панаева и других своих современников, Белинский считал главным достоинством новых сборников «Физиологии Петербурга» «меткую наблюдательность» и «верный взгляд на предмет, который они взялись изобразить». Именно на этом принципе настаивал он при подготовке сборников к печати. Его не смущало, что на очерках, вошедших в «Физиологию Петербурга», не было печати гениальности или высокой художественности.

— В таком деле, как правдивое изображение жизни,— убеждал он своих товарищей,— могут принести огромную пользу обществу и обыкновенные таланты. И не только могут, но и обязаны.

— Не отпугнет ли такой сборник читателей? — сомневался кое-кто из друзей.

— Напрасные опасения! — решительно возражал Виссарион Григорьевич.— Одни гении не могут вовремя удовлетворить всех насущных потребностей читателей. Они пишут по вдохновению и прихотливо идут своей дорогой. Им не скажешь: напишите в наш сборник статью на такую-то тему. Поэтому всегда остается еще очень много тем и для обыкновенных талантов. Если они будут следовать верному взгляду на общество, правдиво отражать его жизнь и интересы, то они сумеют и привлечь и насытить массового читателя.

В годы выработки идейно-эстетических принципов натуральной школы внимание Белинского в значительной мере переместилось с субъекта на объект: сама противоречивая, далеко не идеальная действительность стала предметом пристального изучения и художественного воссоздания. И жизнь Петербурга, в которой, как в фокусе, нашли свое выражение многие характерные черты и явления русской истории, во всей своей конкретности и сложности стала представлять особый философский интерес.

Подчеркнув историческое значение и роль Петербурга в дальнейшем развитии России, Белинский в своем фельетоне «Петербург и Москва» сосредоточил внимание на общих, характерных явлениях жизни Петербурга и Москвы и на зарисовке типологических портретов по преимуществу из демократической среды, иронически отметив, что высший круг общества это «город в городе, государство в государстве. Не посвященные в его таинства смотрят на него издалека, на почтительном расстоянии, смотрят на него с завистью и томлением...»

Признаки физиологического очерка отчетливо проступают и в статье Белинского «Александринский театр», напечатанной во второй части сборника «Физиология Петербурга». «...Александринский театр,— писал он здесь,— едва ли не есть одна из самых характеристических примет [жизни Петербурга], едва ли это не главнейший «но̀ров» нашей огромной и прекрасной столицы».

Статья «Петербургская литература» была задумана Виссарионом Григорьевичем как прямое продолжение статьи об Александринском театре. Заботясь прежде всего о судьбах великого национального искусства, Белинский вместе с тем хотел уловить и показать, чем отличаются друг от друга театр, литература и журналистика в Петербурге и в Москве. Он обратил внимание на то, что даже такой писатель, как Гоголь, принадлежность которого всей России совершенно очевидна, «провел в Петербурге одну из самых свежих и впечатлительных эпох своей жизни» и поэтому «печать Петербурга видна на большей части его произведений, не в том, конечно, смысле, чтоб он Петербургу обязан был своею манерою писать, но в том смысле, что он Петербургу обязан многими типами созданных им характеров».

В то же время Белинский считал, что жизнь в Петербурге больше, чем где-либо в России, способствует развитию юмористического и сатирического мышления. Эту

особенную печать северной столицы он находил и в произведениях Гоголя, и в грибоедовском «Горе от ума», посвященном изображению Москвы, и в особенном страстно-ироническом колорите лермонтовской поэзии. На «талантах обыкновенных» эта печать города, по его мнению, обозначается еще отчетливее.

Петербургская публика кажется ему более начитанной, живее интересующейся новинками русской и французской литературы: уж если какое-либо произведение своим появлением наделает шум или вызовет споры, тут уж петербуржец не успокоится, пока не найдет и не прочитает его.

«Вот только,— скептически добавлял Виссарион Григорьевич,— петербуржцы слишком спешат, слишком заняты службою, визитами и развлечениями, чтобы составлять собственное мнение о прочитанном, и поэтому многие из них охотно повторяют любой авторитетный отзыв, почерпнутый в печати или в разговорах».

Белинского поражало, до какой степени репутации и судьбы писателей в Петербурге были подвержены моде и зависели от обстоятельств, ничего общего не имеющих с истинной художественной ценностью их творений. Наиболее показательный пример — отношение петербуржцев к творчеству Гоголя, которого многие из них не любят, считая, будто он лишь копирует низкую природу.

Однако вместо обычной для Белинского резкой полемики с современной коммерческой беллетристикой в статье «Петербургская литература», в интересах укрепления позиций молодой натуральной школы, он ограничился слегка иронической общей характеристикой петербургских литераторов, не назвав даже «Северной пчелы» и предоставляя читателю возможность самому догадаться, о каких литераторах и каких изданиях идет речь.

Тем не менее отклики на выход «Физиологии Петербурга» большей частью были недоброжелательными, и особенно злобствовала, конечно, «Северная пчела», нацелившая ядовитое жало прежде всего против Белинского как главного идеолога направления, заявленного в сборнике. Уже 7 апреля 1845 года в резко отрицательном отзыве о сборнике «Физиология Петербурга» Булгарин «иронизировал»: «Известный сотрудник «Отечественных записок», прославивший их своими критиками и высокою трансцендентальною философиею, г. Белинский написал на 66 страницах сравнение Петербурга с Москвою».

В середине октября 1845 года «Северная пчела» вернулась к обсуждению «Физиологии Петербурга», напечатав в трех номерах сделанный Л. В. Брантом разбор этой «скучной и вздорной» книги. Автор не поскупился на резкие выпады и непосредственно против Белинского. Рассмотрение «недочетов» его статьи «Петербург и Москва» сотрудник Булгарина заключил злобным выпадом: «Ничего иного и нельзя было ожидать, если это тот самый г. Белинский, который, как известно, подвизается в «Отечественных записках», достохвально ратуя против Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, унижая дарования и заслуги известнейших современных писателей русских, а между тем сам пишет так, что статью его поневоле принимаешь за маранье ученика гимназии».

Брант клеветнически искажал отношение Белинского к предшественникам Пушкина. Во многих статьях, и в частности в первых, посвященных посмертному изданию сочинений Пушкина, Белинский воздавал должное заслугам Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковского, но, определяя их значение в истории русской культуры и литературы, оценивал их с позиций своего времени и рассматривал достижения русского классицизма и романтизма как плодотворный, но уже пройденный этап.

С «Северной пчелой», как обычно, солидаризовался «Маяк современного просвещения и образованности», редактором которого был С. А. Бурачек, известный в свое время кораблестроитель, но едва ли не самый реакционный журналист 40-х годов. Библиограф и библиофил С. А. Соболевский написал на этот журнал и его издателей в 1840 году хлесткую эпиграмму:

Просвящения «Маяк»
Издает большой дурак,
По прозванию Корсак;
Помогает дурачок,
По прозванью Бурачок.

В анонимной рецензии на «Физиологию Петербурга», по всей вероятности, сам Бурачек охарактеризовал сборник Белинского, Некрасова и Панаева как «грязную и площадную книгу». «Это физиология не Петербурга,— писал он,— а петербургской черни, и она не может быть принята обществом и даже не перейдет и к тем лицам, которых авторы старались изобразить».

В более уважительном тоне критиковали «Физиологию Петербурга» московские славянофилы. Так, например, К. С. Аксаков в анонимной заметке, помещенной в «Москвитянине», иронизировал по поводу суждений Белинского о «посредственных писателях».

Сочувственных отзывов было немного. «Физиологию Петербурга» одобрил «Финский вестник»[1]. Неизвестный автор писал: «Статья В. Г. Белинского «Петербург и Москва» чрезвычайно верно и резко характеризует наши обе столицы».

Литературная борьба вокруг натуральной школы и «Физиологии Петербурга» была настолько ожесточенной,

[1] Этот журнал выходил в Петербурге в 1845—1847 гг. при ближайшем участии В. Н. Майкова и петрашевцев и поддерживал натуральную школу.

что Белинскому и Некрасову пришлось выступить с авторецензиями, предупреждая удары реакционной журналистики. За день до выступления Булгарина в «Северной пчеле», 5 апреля, Некрасов напечатал в «Литературной газете» анонимную рецензию на первую часть «Физиологии Петербурга». Разъясняя цели сборника, который с большим трудом удалось провести через цензуру, он писал: «Цель [книги] — раскрыть все тайны нашей общественной жизни, все пружины радостных и печальных сцен нашего домашнего быта, все источники наших уличных явлений, ход и направление нашего гражданского и нравственного образования... Добро пожаловать, книга умная, предпринятая с умною и полезною целью! Ты возложила на себя обязанность трудную, щекотливую, даже в некотором отношении опасную...»

В своей рецензии Некрасов особенно выделил статью Белинского «Петербург и Москва», которая «по глубине мысли, по верному воззрению, по прекрасному изложению и по цели своей занимает первое место» в сборнике. И Некрасов тут же перепечатал в «Литературной газете» несколько страниц из статьи Белинского.

Вслед за Некрасовым Белинский выступил в «Отечественных записках» (№ 5 и 8 за 1845 год) с рецензиями на первую и вторую части «Физиологии Петербурга». Обе эти рецензии были анонимными, что позволило перепечатать в «Отечественных записках» большой отрывок из статьи «Петербург и Москва» с лукавой оговоркой, что «Отечественные записки» «не считают приличным судить о статье г. Белинского, как своего сотрудника, и ограничиваются только выпискою из нее одного места».

Летом 1845 года помимо работы в «Отечественных записках» Виссарион Григорьевич усиленно занимался подготовкой следующего — «Петербургского сборника».

В это лето он не торопился ехать с семьей на дачу: Мария Васильевна ждала ребенка. В июне из друзей уже почти никто не оставался в Петербурге: Тургенев еще в мае уехал за границу, в начале лета покинули Петербург Некрасов и Панаевы, разъехались и другие. На Белинского пали некоторые дополнительные обязанности по подготовке к печати «Петербургского сборника». «Наши романисты и нувеллисты,— иронизировал он в отзыве на вторую часть «Физиологии Петербурга»,— вообще не заслуживают ни малейшего упрека в изящной деятельности или многописании. Мало пишут они зимою и осенью, почти не пишут и весною, какова бы ни была весна в Петербурге, хотя бы хуже самой дурной осени; но летом — пусть оно будет хуже самой дурной зимы — они ни за что в свете не станут писать. Да и когда? Они на даче, они наслаждаются прелестями петербургского лета, гуляют по лужам, в которых отражается небо, тоже похожее на лужу, или с горя играют в преферанс. <...> Пора теперь глухая: у книгопродавцов, как говорят они, летом ни копейки, потому что русская публика летом книг не покупает, да и в городе никого теперь не найдешь — всё и все на дачах. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонут, а работают; для них нет каникул, как для полицейских и извозчиков нет праздников».

Новому «Петербургскому сборнику» Белинский предрекал еще больший успех, чем тот, что выпал на долю двух выпусков «Физиологии Петербурга». Свои надежды он возлагал прежде всего на повесть молодого Ф. М. Достоевского «Бедные люди», совсем недавно, в начале лета, «открытую» им и его друзьями Некрасовым и Григоровичем.

— Новый Гоголь явился! — с такими словами всего несколько дней назад к нему вбежал Некрасов, размахивая рукописью.

Виссарион Григорьевич тогда без особого энтузиазма поднял голову, взглянул и сказал со вздохом:

— У вас Гоголи-то как грибы растут!

Некрасов не стал спорить, уверенный в том, что Белинский тут же примется за чтение, и через некоторое время пришел снова, чтобы узнать результат, в котором не сомневался. Не дав ему и слова сказать, Белинский воскликнул:

— Приведите, приведите его скорее!.. Он пойдет дальше Гоголя. Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах!

Белинский давно так не волновался, встречая новый талант. «Наш, свой!» — думал он, меряя шагами комнату. Ему не терпелось с кем-нибудь поделиться переполнявшим его восторгом, он стремительно подошел к окну и, увидев Анненкова, чрезвычайно обрадованный, закричал:

— Павел Васильевич, идите скорее, сообщу новость.

Через минуту-другую Анненков уже входил к нему. Едва поздоровавшись, Виссарион Григорьевич стал торопливо рассказывать:

— Вот эта рукопись, которую вы видите, написана начинающим художником. Я еще не видел его и не знаю объема его мыслей. Но уже ясно, что его «Бедные люди» открывают такие тайны русской жизни и русских характеров, которые до него еще никому и не снились. Он сделал первую в русской литературе попытку социального романа, может быть, и сам по молодости не подозревая всей значительности того, что у него получилось.

— О чем же роман? — спросил Анненков.— В чем суть?

— Да дело тут простое: живут такие добрые чудаки, которые думают, что любить весь мир — приятная обязанность каждого человека. И вдруг на них, с их идеальными порывами и верованиями, наезжает колесо жизни со всеми ее неприкрытыми порядками и начинает дробить

им кости. Вот и все,— а какая драма, какие типы тут изображены! Ведь этот несчастный чиновник, которого вывел Достоевский, до того принижен и забит, что даже несчастным себя считать не смеет. А сколько смысла, какая трагедия в том, что этот бедняга называет генерала не «его превосходительство», а «их превосходительство»... Достоевский — огромный талант, он только начинает: но уже видно, что это очень нужный сейчас нашей литературе талант!

Вскоре Некрасов и Григорович привели к Белинскому робеющего Достоевского, невысокого, худощавого, с русыми волосами и нездоровым цветом лица.

Белинский сдержанно подошел к нему, сдержанно и с какой-то не свойственной ему важностью протянул руку. Но уже через минуту от важности и торжественности, смутивших Достоевского, не осталось и следа. Белинский тормошил его и все повторял:

— Да вы понимаете ли сами-то, что вы написали? А? Не может быть, чтобы в двадцать два года вы уже могли осмыслить всю эту страшную правду. Ведь вы до самой сути трагедии дотронулись. То, о чем мы, публицисты и критики, долго и не всегда удачно рассуждаем, вы в художественном образе показали так, что любому сразу все станет ясно. Вот в этом и есть тайна художественности! Служите и впредь правде так же, как в этом творении, и будете великим писателем!

«...Я вышел от него в упоении,— вспоминал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год.— Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих».

Только в июле или даже в самом начале августа (дочь

Ольга родилась 13 июня 1845 года) Виссарион Григорьевич смог перебраться на дачу в район Парголова.

Раскиданное по холмам селение привлекало горожан не музыкой, не светскими развлечениями и не скульптурами в подстриженных парках. Ничего этого здесь не было. Небольшая готическая церковь, надгробный памятник графу Полье, второму супругу графини Шуваловой, матери владельцев Парголова, Парнас — высокий холм в центре сада, насыпанный по повелению императрицы Елизаветы Петровны,— вот и все здешние достопримечательности. Петербуржцев сюда привлекали лес, озера, более сухой по сравнению с другими пригородами климат. С Парнаса открывался вид на Суздальское озеро, деревни, лес, а в ясную погоду просматривались золотые купола столицы.

С Парголовом Петербург не был соединен железной дорогой, как с Павловском, не было здесь и таких теплых добротных домов, как в Павловске, но зато дачи стоили дешевле, а с лета 1845 года сюда стали ходить из города удобные двенадцати- и восемнадцатиместные дилижансы, сменившие тряские, сплошь в заплатах, извозчичьи дрожки. Два восемнадцатиместных дилижанса ежедневно отправлялись из Петербурга на Спасскую мызу (ныне Кушелевка), а оттуда два двенадцатиместных выезжали в Парголово. В июне 1845 года вышел «Указатель сообщений между Петербургом и его окрестностями», в котором жители города легко могли найти все нужные сведения о маршрутах и времени отправления пароходов, паровозов и дилижансов.

Виссарион Григорьевич снимал небольшую дачку около Поклонной горы. Тогда под общим названием Парголова значились три смежных селения: ближайшее к городу — Суздальское, за ним две слободы — Большая и Малая Вологодская. Белинский со своим семейством — женой, дочерью и свояченицей — поселился ближе к городу.

Любимым его занятием на даче было собирание грибов, которому он, как и всякому увлечению, отдавался страстно. Увидев гриб, он торопился добежать до него быстрее свояченицы, падал, закрывал его руками, громкими криками объявляя о своей находке. Если ему удавалось набрать много грибов, он возвращался домой спокойный и счастливый.

Но на этот раз Белинский жил на даче недолго.

За все лето выдалось не более двух недель ясной и теплой погоды. Желая закалиться, Виссарион Григорьевич купался в озере, спал в комнате с настежь распахнутыми окнами, после чего тяжело и надолго заболел воспалением легких, говорил едва слышным голосом и кашлял, кашлял не переставая. А тут еще подули ветры, тучи затянули небо и начались нескончаемые дожди, грязь, холод, вынуждавшие дачников подолгу не выходить из дома. Виссарион Григорьевич с женой и свояченицей усаживались с ногами на диван, куда тотчас вспрыгивали и две молодые собачонки. Самовар по целым дням не убирался со стола.

В то время, когда в Парголовском манеже еще только затевался бал по случаю окончания летнего сезона, еле живого Белинского уже перевезли в город, но и там всю осень и зиму болезнь не отпускала его. Карл Андреевич Тильман, старший врач Петропавловской больницы для бедных, находил его состояние весьма опасным.

Целыми днями Виссарион Григорьевич ходил по комнате, дрожа и кашляя, и только после вечернего чая садился за работу. Сестры усаживались тут же на диван, читали, тихо переговаривались или просто молчали, глядя, как мечется по бумаге его перо, быстро заполняя страницу за страницей. Вдохновение захватывало его, волосы, разметавшись по лбу, свешивались до самых бровей, рот искривлялся в судорожной гримасе. Казалось, для него исчезало все. А он вдруг поворачивался и говорил:

— Что же вы замолчали? Болтайте о чем-нибудь. Вы мне не помешаете.

Сестры скоро уходили спать, а он нередко до рассвета не отрывался от работы и к чаю выходил «как с креста снятый».

Несмотря на слабость, весь ноябрь и декабрь Белинский помимо основной работы в «Отечественных записках» читал и редактировал материалы для «Петербургского сборника» и в связи с этой срочной работой особенно часто, иногда ежедневно, встречался с навещавшими его Некрасовым, Тургеневым, Достоевским, Панаевым и Анненковым.

К этому времени его знакомство с Достоевским уже перешло во взаимную привязанность. «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас... приходите, пожалуйста, к нам»,— просил он в шутливой записке.

Виссарион Григорьевич истово прививал молодому писателю атеистический взгляд на мир, но Достоевский горячо отбивался, веря в бессмертие души. И все же его завораживала мечта Белинского о прекрасном обществе будущего.

В «Дневнике писателя» за 1873 год он впоследствии вспоминал: «Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским». Так что в кружок Петрашевского Достоевский пришел, получив соответственную подготовку у Белинского. «Вот где люди! — писал он брату о Белинском и его друзьях.— Я заслужу, постараясь стать таким же прекрасным, как они, пребуду „ верен"!»

В начале декабря состояние здоровья Белинского несколько улучшилось, и он сразу устроил у себя чтение еще не законченной новой повести Достоевского «Двойник». Тургенев в этот вечер куда-то спешил, но все же задержался, чтобы услышать хотя бы половину того, что

приготовил Достоевский. Покидая собрание, он успел похвалить автора.

Белинский еще весь был под впечатлением «Бедных людей» и потому громко восторгался новой повестью:

— Как верно тут схвачен тип. Ведь таких, как Голядкин, господа, вокруг сколько угодно. Посмотрите, сколько таких людей в низких и средних слоях нашего общества — обидчивых, помешанных на амбиции. Таким людям, как этому бедняге Голядкину, постоянно кажется, что все хотят их обидеть, ведут под них подкопы.

Однако присутствовавший на чтении Анненков заметил, что Виссарион Григорьевич чего-то как будто недоговаривает, умалчивает о чем-то, может быть, существенном. Зная Белинского, он подумал, что его что-то насторожило в повести и он не хочет торопиться с окончательными выводами. Об этом говорило и то, что Виссарион Григорьевич несколько раз задумчиво повторил Достоевскому:

— Вам надо поскорее набить руку в чисто литературном отношении, чтобы ваши мысли легко и без затруднений оформлялись на бумаге в стройное изложение.

Позднее, когда «Двойник» вышел в свет, Белинский подверг его более спокойному и строгому анализу, отметив и некоторую неясность сюжета, и отход от реальной жизни ради фантастики, и недостаточное чувство меры, в частности, в повторениях, сделавших повесть несколько утомительной. «Вообще талант Достоевского,— справедливо заметил критик,— при всей его огромности, еще так молод, что не может высказаться и высказаться определенно».

Достоевский понемногу осваивался среди друзей Белинского. Но блистательный литературный дебют не принес ему успокоения: он был легко раним, на шутливые колкости отвечал нервно, с раздражительной горячностью и долго потом не забывал обид, нанесенных ему в спорах.

С горечью наблюдая, как в болезненной мнительности молодой писатель постепенно расходился с дружеским кружком, Виссарион Григорьевич делал все, чтобы предотвратить этот разрыв.

— Многое в его поведении объясняется болезнью,— убеждал он своих товарищей.— Ему, конечно, надо лечиться. Но оглянитесь, господа, в какое тяжелое время мы живем... Вы должны быть снисходительны к Достоевскому.

Подготовленный Белинским и Некрасовым «Петербургский сборник» появился в продаже в самом начале февраля 1846 года. Виссарион Григорьевич радовался:

— Только три книги на Руси разошлись так быстро: «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник».

Особенно много говорили о «Бедных людях» Достоевского. В сборнике были напечатаны также: «Мысли и заметки о русской литературе» Белинского, «Капризы и раздумье» Герцена, «Три портрета» и «Помещик» Тургенева, «Мартингал» В. Ф. Одоевского, «Мой автограф» В. А. Соллогуба, «Парижские увеселения» И. И. Панаева, «Машенька» А. Н. Майкова и стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге», «Пьяница», «Колыбельная песня» и «Отрадно видеть, что находит порой тоска и на глупца...».

Статья «Мысли и заметки о русской литературе», подписанная полным именем Белинского, определяла литературно-политическую платформу альманаха и во многом продолжала развивать основные положения обзора «Русская литература в 1845 году».

В обзоре критик говорил о том, что романтизм в русской литературе — уже пройденный этап, что новая литературная школа, получившая название натуральной, кладет конец всему ложному, неестественному и становится зеркалом русской жизни.

В предварительной краткой рецензии на «Петербургский сборник» он отметил, что «таких альманахов, как «Петербургский сборник», у нас еще не бывало», и сразу же выделил в нем нового, еще неизвестного автора, предсказав ему значительную роль в русской литературе. Развернутый отзыв о повести «Бедные люди», содержащий обширные выдержки из нее, критик включил в статью о «Петербургском сборнике», напечатанную в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1846 год.

В «Мыслях и заметках о русской литературе», опубликованных в «Петербургском сборнике», Белинский не ограничился рамками литературного обзора. Он смело заговорил об исторической бесперспективности помещичье-дворянского строя, высказал сомнения в прочности устоев николаевской государственности. «Реформа Петра Великого,— утверждал он,— не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого, но она подкопалась под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их на бок,— и теперь со дня на день они все более и более клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая, по причине подрытого их основания, только ускорила бы их и без того неизбежное падение. И если теперь разделенные этими стенами сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалились или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается и быстрее и заметнее,— и близко время, когда все это очень скоро и начисто сделается».

Это предсказание грядущих социальных перемен Белинский убедительно обосновывал экономическими и политическими соображениями: «Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, туннелями и мостами; усп-

лением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия».

— В этом деле сближения сословий особое значение,— утверждал Белинский,— принадлежит русской литературе, которая учит людей добру и в любви к которой уже сегодня объединяются люди всех сословий, образуя собой нечто вроде особенного класса образованных людей.

Он не произнес слово «интеллигенция», но о значении русской интеллигенции для будущего страны думал много и коснулся этого вопроса не только в статье, появившейся в «Петербургском сборнике».

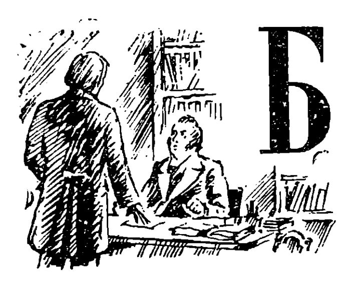
Предпринятая Белинским в середине 40-х годов разработка эстетики натуральной школы и ее утверждение в русской литературе имели исключительное общественно-историческое значение. Он был не только теоретиком, но вдохновителем, идеологом и учителем писателей натуральной школы. «Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права,— писал И. А. Гончаров,— были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей — и словесной и печатной — проповеди».

Находясь во главе натуральной школы, Белинский, по существу, стоял и во главе нарождающейся в те годы передовой разночинной интеллигенции. Недаром Тургенев называл его центральной фигурой века...

«СПАСАЯ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ...»

Что бы ни случилось в русской литературе, Белинский будет ее гордостью, ее славой и украшением.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ



Благодаря сотрудничеству Белинского «Отечественные записки» стали самым читаемым журналом в России. А. А. Краевский, умный и деятельный предприниматель, как правило, не мешал своему ведущему критику защищать демократические идеи натуральной школы, утверждать новые принципы искусства, верного действительности. И иногда даже вступался за него перед петербургской цензурой. Так, 31 января 1844 года он отправил письмо цензору Никитенко с просьбой восстановить в рецензии Белинского на повесть «Жизнь как она есть» несколько страниц, исключенных из текста.

Издатель рисковал, но риск был оправдан: удерживая Белинского, он удерживал подписчиков, а с увеличением количества подписчиков увеличивались прибыли от издания: уже в 1843 году Краевский стал домовладельцем.

Однако для Виссариона Григорьевича работать в его журнале с каждым годом становилось все труднее. «Журнал губит меня,— признавался он Боткину весной того самого года, когда редактор-издатель переехал в собствен-

ный дом.— Здоровье мое с каждым днем ремизится, и в душу вкрадывается грустное предчувствие, что я скоро останусь без шести в сюрах, т. е. отправлюсь туда, куда страх как не хочется идти...»

Шли годы, а Краевский по-прежнему держал Белинского в положении литературного поденщика, сверх всякой меры загруженного работой. С октября 1839 года до лета 1843-го Виссарион Григорьевич ни разу по настоящему не отдохнул. Лишь однажды — зимой — на две недели он вырвался к московским друзьям, сделал небольшую передышку в работе. Но стоило ему в 1843 году уехать в Москву на лето, где он не переставал трудиться над статьями и рецензиями для «Отечественных записок», как Краевский заговорил о том, что за Белинского в журнале работают «Некрасов, Сорокин и прочая голодная братия». Виссарион Григорьевич был прав, когда с горьким юмором писал Боткину: «Я — Прометей в карикатуре: «Отечественные записки» — моя скала, Краевский — мой коршун».

Белинский нисколько не преувеличивал количества работы, которую ему приходилось ежемесячно выполнять для журнала по заданию редактора. Для одной только первой книжки на 1846 год кроме большой итоговой статьи «Русская литература в 1845 году» он написал рецензии на роман Ж. Санд «Мельник», на второе издание «Новоселья», на вторую часть «Русского чтения», на «Дух века Екатерины II», на «Воскресные посиделки», на подарочное издание «Елка» — азбуки с примерами постепенного чтения, на роман А. Дюма «Предание о графине Берте, или Замок Витсгау», на рассказ для детей «Дон-Кихот Ламанчский», на «Путешествие вокруг света», на переводную повесть для детей «Мери и Флора», на «Каникулы в 1844 г., или Поездку в Москву» — сочинение А. Ишимовой, на «Картины из истории детства знаменитых живописцев», переведенные с французского языка, на

«Мать-наставницу», «Альманах для детей», рассказ для детей «Робинзон», «Пантеон русских баснописцев», повесть Бланшара «Маленькие дети», на «Историю Петра Великого для детей». Кроме того, в отделе «Литературные и журнальные заметки» Белинский опубликовал еще: «Отзывы французских журналов о Гоголе» и «О „Северной пчеле", величающей себя хранительницею чистоты русского языка».

Это был обычный трудовой месяц Белинского, подобный многим другим до и после него. Такое количество работы и непрестанная спешка, срочность, частая необходимость работать не только днем, но и по ночам, могли бы физически надорвать и более крепкий, чем у Виссариона Григорьевича, организм. А тут еще прибавлялись цензурный гнет и постоянные моральные терзания, возмущения гордости, тревоги о будущем.

— Проклятая журнальная работа,— признавался он,— источник моего нездоровья и физического и нравственного...

Не сразу доверчивый Белинский понял, почему Краевский заставляет его столько работать в постоянном напряжении физических и умственных сил. Как-то в разговоре с Анненковым Виссарион Григорьевич сказал:

— Краевский не дает мне подумать, передохнуть. Каждый месяц одно и то же: гони, гони! быстрее! При таком удвоенном ритме неизбежно не только скорое истощение творческого материала, но даже уничтожение самой способности к труду. Страшно подумать, что меня ожидает. Краевский, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, а значит, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и выбросить его потом за окно, как выжатый лимон.

Понял Виссарион Григорьевич и то, почему редактор не стесняется подсовывать ему на рецензирование всякую мелочь, а часто и откровенный литературный мусор.

В январе 1846 года Белинский писал Герцену: «Все это не потому только, чтобы ему жаль было платить другим за такие рецензии, кроме платы мне, но и потому, чтоб заставить меня забыть, что я закваска, соль, дух и жизнь его пухлого, водяного журнала (в котором все хорошее — мое, потому что без меня ни ты, ни Боткин, ни Тургенев, ни многие другие ему ничего бы не давали), и заставить меня увериться, что я просто — чернорабочий, который берет не столько качеством, сколько количеством работы».

Не могло не возмущать Виссариона Григорьевича и то, что лавры, добытые журналу его трудом, приписывает себе другой.

Статьи и рецензии Белинского помещались в «Отечественных записках» без подписи автора. Краевский намеренно не обозначал его имени и охотно соглашался, когда доверчивые читатели относили эти статьи на счет владельца журнала, имя которого крупным шрифтом было названо на обложке и после оглавления. Так, В. К. Кюхельбекер в сибирской ссылке, внимательно читая «Отечественные записки», всю славу статей Белинского приписывал в своем дневнике Краевскому.

Из разных городов России в редакцию приходили письма, свидетельствовавшие о большой популярности журнала, и прежде всего его критического отдела. Бывший университетский приятель Краевского В. Запольский писал ему из Нижнего Новгорода в 1842 году: «Любопытство мое еще более подстрекаемо было прекрасными, дельными статьями в отделе критики и литературной летописи вашего журнала, и, признаюсь, к этому примешивалось какое-то самолюбивое чувство дознаться, не принадлежат ли эти статьи бывшему моему товарищу...» Л. Екельн писал в 1843 году из Кременчуга: «Я хотел доказать вам каким-нибудь случаем, как много привязали вы к себе совершенно незнакомого вам человека. Привя-

зали не платой и одолжениями, а вашими чудесными взглядами на искусство, благородными убеждениями». Краевский не только не отказывался от подобной славы, но, наоборот, старался поддерживать заблуждения многочисленных корреспондентов и, например, в 1841 году уверял П. И. Мельникова-Печерского, будто в критике и в библиографической хронике «Отечественных записок» выражается его личность.

Со временем Белинский понял также, что невольно служит орудием Краевского. «В журнале его,— писал он Герцену в начале 1846 года,— я играю теперь довольно пошлую роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекаю, что Краевский — прекрасный человек, герой добродетели. Служить орудием подлецу для достижения его подлых целей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а в качестве холопа подлеца № 1,— это гадко».

Зная, что Белинскому некуда уйти, что двери других петербургских журналов, враждебных «Отечественным запискам», для него наглухо закрыты, Краевский выдавал ему жалкую плату за каторжный труд.

Вспомним для сравнения, что И. А. Крылов, служа в Публичной библиотеке, получал 2600 рублей серебром в год, при этом он жил на казенной площади. Виссарион же Григорьевич со всем семейством должен был обходиться 1429 рублями серебром да при этом, видимо, около 350—400 рублей отдавал за снимаемую в Петербурге квартиру. (Его друзья, жившие по-холостяцки в квартире на Михайловской площади, платили за нее 343 рубля серебром в год, полагая, что им очень повезло.)

Как-то к Виссариону Григорьевичу зашел Некрасов в момент, когда тот был занят невеселыми подсчетами, как свести концы с концами бюджет семьи, Белинский встретил Николая Алексеевича отчаянным воплем:

— Как выбиться из этой проклятой нищеты? Научите, как?

— Да ведь Краевский обирает вас. Когда вы это поймете? — возмутился Некрасов.— Я в «Литературной газете» без особого труда зарабатываю в месяц семьсот рублей ассигнациями, а вы, работая, как вол, получаете в «Отечественных записках» только четыреста пятьдесят. Не понимаю, почему вы не протестуете против такой бессовестной эксплуатации!..

— Боже мой,— отвечал, волнуясь, Белинский,— если бы я мог освободиться от этого человека, я был бы счастливейшим смертным. Ходить к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования,— это подлое лицемерие невыносимо для меня. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными трудовыми, в поте лица выработанными деньгами! В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя... Но что мне делать? Где найти выход из этого положения?..

— Вы должны потребовать от Краевского человеческой платы,— убеждал Некрасов.

Такие разговоры поднимали Белинского «на дыбы». Он решительно отправлялся к Краевскому с твердым намерением добиться прибавки к жалованью. Определив минимальную цифру, он думал: «Нет, уж менее этого я ни за что не возьму...»

Еще в апреле 1841 года, «освирепев» от нужды и цензурного гнета, он послал редактору журнала ультимативное письмо с отказом от сотрудничества. Тогда Краевский без особых усилий уладил конфликт. Вторая трещина возникла в 1843 году, когда Белинский уехал в Москву, где чуть было не согласился на выгодных условиях участвовать в поездке за границу с В. А. Косиковским. Узнав об этом, Краевский немедленно отослал Белинскому «доброе» письмо, и тот решил остаться. «Верю Вам, что Вы будете рады, что остаюсь,— доверчиво писал он редактору,— и радуюсь за Вас, что, удержав старого сотрудника,

Вы в нем же приобретаете *нового*, т. е. более усердного и аккуратного».

И это повторялось всякий раз: стоило Виссариону Григорьевичу войти в кабинет к издателю, как решимость покидала его, он заговаривал о деле робко, и опытный Краевский быстро поворачивал щекотливую тему так, что его сотрудник не только уходил ни с чем, но еще и жалел «бедного» издателя, у которого «опять нет денег», и рассылал друзьям письма с просьбой помочь Краевскому.

Шло время, но положение Белинского в журнале нисколько не изменялось, отношения его с Краевским только ухудшались.

В феврале 1845 года, когда Виссарион Григорьевич жил в доме Лопатина, его навестил приехавший в Петербург А. В. Станкевич, которого буквально потрясло то состояние, в каком он застал Белинского и его семью.

— Ведь это вы подняли «Отечественные записки»,— внушал Александр Владимирович,— теперь благодаря вам Краевский ежегодно получает сто тысяч чистой прибыли, а вам платит только шесть тысяч ассигнациями в год да еще и утомляет вас глупейшими книжонками. Удивляюсь, как вы при всем этом можете работать.

— Что делать? — устало отвечал Белинский.— Надо же кормить семью, а деревень у меня нет, и деньги сами собой ниоткуда не текут.— Он все еще надеялся, что материальные дела его вот-вот поправятся.

В отличие от непрактичного и доверчивого Белинского, друзья его уже давно поняли, что у Краевского ему никогда не выкарабкаться из нужды. Им достаточно хорошо было известно, что издатель везде, где возможно, не упускает случая нажиться на своих сотрудниках.

Осенью 1845 года на пороге квартиры Белинского появился переводчик «Отечественных записок» А. И. Кронеберг. Виссарион Григорьевич, кое-что слышавший о его тяжбе с Краевским, потащил гостя в комнату:

— Расскажите же скорее, что там у вас случилось и чем все кончилось.

— Ну, вы знаете, что в журнале был опубликован мой перевод «Королевы Марго». Так вот наш любезный Андрей Александрович возьми да и перепечатай этот перевод отдельной книжкой, и мне — ни слова. Я случайно узнал об этом, прихватил «Свод гражданских законов» и отправился к издателю за объяснениями и положенной мне по закону платой...

Виссарион Григорьевич весь напрягся, слушая гостя, ни разу его не перебив и буквально затаив дыхание.

— Краевский попытался было уклониться от уплаты денег,— продолжал Кронеберг,— но я пригрозил ему судом. После этого в назначенный срок он прислал мне деньги и отказ от моего сотрудничества в «Отечественных записках». Он, может быть, думает, что я проиграл. Ну, нет: я считаю, что выиграл серьезную тяжбу у нашего издателя.

Белинский встал, вышел из комнаты и вернулся с тростью. Он молча подошел к Кронебергу, подал ему трость, встал на колени и совершенно серьезно попросил:

— Андрей Иванович, голубчик, поучите меня, дурака...

«Журнальная работа и петербургский климат доконали меня» — писал Белинский еще в начале 1844 года. Но окончательное решение уйти от Краевского он принял лишь в начале 1846 года. И хотя Виссарион Григорьевич работал, как всегда, много, но и болел он теперь чаще.

— Мне пора его прогнать,— сказал однажды Краевский, и эта угроза дошла до Белинского.

Друзья, возмущенные бесчеловечным отношением Краевского, всячески поддерживали в Белинском намерение порвать с ним. Еще в 1844 году Герцен и Грановский предполагали пригласить Виссариона Григорьевича в свой журнал «Московское обозрение», который рассчиты-

вали издавать с 1845 года. Но им не удалось получить разрешение на это издание.

Начали хлопотать о своем журнале и петербургские друзья Белинского.

— Можно купить какой-нибудь из здешних журналов,— посоветовал им Кетчер.— Надобно наконец сшибить подлеца Краевского. И надо, чтобы редактором был Виссарион.

Несмотря на то что вопрос о «своем журнале» оставался открытым, Белинский решительно пошел на разрыв с «Отечественными записками». 6 февраля 1846 года он написал Краевскому, что, «спасая здоровье и жизнь», бросает у него работу и просит «только додать... 50 [рублей] серебром, остающихся за ним по 1 апреля». Сообщая об этом Герцену, Виссарион Григорьевич прибавил: «...ни за что не соглашусь губить здоровье и жизнь на каторжную работу. Надо хоть отдохнуть; а там, если опять запрячься в журнал, то уж в такой, где бы я был и редактором, а не сотрудником только».

В ответ на письмо Краевский пригласил Белинского в свой дом на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, где помещалась контора «Отечественных записок». Виссарион Григорьевич пошел. Редактор-издатель встретил его без обычной самоуверенности, в явном смущении, хотел было начать с шутки, но сам понял, что начал неудачно. Он замолчал, давая пришедшему возможность заговорить о недостаточности платы. Но и в этом он обманулся. Белинский против обыкновения был холоден и спокоен. Он ни словом не обмолвился о деньгах и говорил лишь о здоровье, не позволяющем ему долее оставаться в «Отечественных записках».

— Да на что же вы будете жить, не работая? — удивился Краевский.

— Почему же не работая? Я буду работать, но на других условиях, прежде всего не стесняясь срочностью.

— Однако подумайте же и об «Отечественных записках». Кого поставить вместо вас? Может быть, Кронеберг согласится? Что он теперь делает?

— Не знаю.

— Тогда, может быть, Некрасов?

— Попробуйте.

— Может быть, вы знаете кого-то еще?

Белинский пожал плечами. «Он смотрит на меня,— подумалось ему,— не как на душу своего журнала, а как на работящего вола, которого трудно заменить, но потеря которого все же не есть потеря всего».

Редактор «Отечественных записок» оказался в весьма затруднительном положении, несмотря на то что Белинский заранее уведомил его о своем уходе. Краевский растерялся настолько, что, встретясь с Панаевым, попросил:

— Уговорите вы Белинского: пусть хоть изредка пишет для «Отечественных записок».

— Это — вздор, дудки,— ответил Виссарион Григорьевич, узнав о таком предложении.

В письме к Герцену 6 апреля 1846 года он правильно объяснил замысел практичного Краевского: «У него расчет верный: я напишу ему в год рецензий десятка два (разумеется, столько хороших, сколько это в моих средствах) да статьи три-четыре: направление и дух журнала спасется, а я за это получу много-много рублей 500 серебром в год. Кто же в дураках-то? А между тем, хоть и меньше, а все срочная работа, и я из-за нее своего дела не буду делать, а от его работы сыт не буду».

Краевский заметался от одного литератора к другому: заказал статью К. С. Милановскому, «которого уже не раз гонял от себя по шее, как пустого и гадкого мальчишку»; предлагал А. Д. Галахову переехать в Петербург для заведования отделом критики, собирался специально для этого в Москву. Но тот отказался. Наконец удалось сговориться с молодым критиком В. Н. Майковым.

А в это время московские и петербургские друзья Белинского активно собирали материал для объемистого альманаха под названием «Левиафан», который решили выпустить в его пользу.

Идея эта возникла случайно в один из вечеров, проведенный Виссарионом Григорьевичем у Панаевых. Заговорили об успехе «Петербургского сборника», о том, как быстро он разошелся.

— Очень жалею, что не рискнул напечатать его бо́льшим тиражом,— сказал Некрасов.

— А я рад, что, получив хоть какие-то деньги за сборник, вы на несколько месяцев сможете освободиться от поденщины,— заметил Белинский.— Вам надо писать стихи. Это ваше главное дело.

В разговор вступила Авдотья Яковлевна.

— Почему бы вам, Виссарион Григорьевич, самому не попытаться обеспечить себя хотя бы на время? — спросила она.— Почему бы и вам не издать какой-нибудь сборник? Я думаю, что все петербургские и московские дружественно настроенные писатели с удовольствием отдадут вам свой материал.

Белинский замахал руками:

— Да разве я сумею? Ведь в таком деле нужны особые таланты, которых у меня нет. Да и без кредита, без типографии, без бумаги такое дело не начнешь. Значит, надо вести всякие хитрые коммерческие переговоры и с тем, и с другим, и с третьим. А я за столько лет с одним Краевским не сумел сладить, чтобы за свой труд получить прибавку в месяц. Нет, уж кому что на роду написано, то и будет; я, наверное, до смерти останусь батраком в литературе. Хозяева будут на моей работе наживаться да и посмеиваться надо мной — ишь какой вахлак: жарит каштаны, а мы у него их из-под носу тащим, оставляя ему одну шелуху.

Однако Некрасов стал энергично уговаривать Белинского:

— Соглашайтесь ради своего же здоровья, ради семьи, наконец! Я обещаю взять на себя все хлопоты по изданию и переговоры о кредите, а вы собирайте материал для сборника.

Виссарион Григорьевич задумался:

— Смотрите же, Некрасов, если это издание не окупится и я окажусь в новых долгах, клянусь, умирать буду, но не прощу вам такую пытку.

— Ни в коем случае этому не бывать,— засмеялся Николай Алексеевич.

— Не подведите же. Я верю в вашу коммерческую жилку.

— Что ж, давайте считать,— предложил Некрасов.

Он с легкостью набросал ряды цифр: это — расходы на бумагу, это — на типографию... а это — чистый доход от издания и продажи сборника.

— Боже мой, Некрасов, да я буду после этого крез и обеспечу свою семью на целый год! Вот уж тогда я никому не позволю бессовестно эксплуатировать меня. Тогда я сам буду диктовать условия... Господи, да неужели когда-нибудь я смогу сбросить с себя ярмо батрака?!

Московские и петербургские друзья один за другим стали присылать свои рассказы, повести, стихи и статьи в альманах Белинского. Герцен, обещавший Краевскому вторую часть романа «Кто виноват?» (поскольку первая часть уже была напечатана в «Отечественных записках»), спешно написал для «Левиафана» повесть «Сорока-воровка», предложив Белинскому еще «Из сочинений доктора Крупова „О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности"».

Кавелин прислал для альманаха статью «Взгляд на юридический быт древней России», Галахов дал повесть «Превращение». Обещали свои произведения Тургенев,

Некрасов, Панаев и другие друзья Белинского. Это приободрило его, он уже не сомневался в успехе предприятия и торопил, чтобы все поскорее представили обещанные произведения. Согласился отдать в «Левиафан» роман «Обыкновенная история» и Иван Александрович Гончаров.

Почти год назад он, молодой, начинающий романист, попросил М. А. Языкова показать его рукопись Белинскому, не решаясь обратиться к нему лично. Языков бегло полистал страницы, сочинение показалось ему не заслуживающим внимания, и только около 25 марта 1846 года, когда рукопись попала на глаза Некрасову, она в конце концов была доставлена Белинскому.

На чтении, продолжавшемся несколько вечеров, присутствовали Некрасов, Панаев и Языков. Виссарион Григорьевич с большим вниманием слушал Гончарова и, когда тот ненадолго умолкал, чтобы дать отдых голосовым связкам, поворачивался к Языкову и, смеясь, приговаривал:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?

Уже освоившийся у Белинского Гончаров, выслушав похвалы критика, сказал:

— Я был бы очень рад, если бы лет через пять вы повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге теперь.

Виссарион Григорьевич вопросительно посмотрел на него.

— Вспомните сами,— пояснил Гончаров,— как лестно вы прежде отзывались о таланте Соллогуба. А что теперь? Теперь вы сами развенчали его славу.

Призывая всех в слушатели, Белинский громко произнес:

— Он считает меня флюгером! — И энергично добавил: — Да, я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль!

Иногда Виссарион Григорьевич как будто накидывался на Гончарова за то, что в его романе нет злости, раздражения, субъективности:

— Вы всех рисуете одинаково бесстрастно, без любви, без ненависти. Вам все равно, кто перед вами — мерзавец или порядочный человек, умник или дурак, красавец или урод!

Гончаров возражал, и однажды Белинский обнял его за плечи и почти шепотом сказал:

— А это и хорошо, что вы так пишете, это и нужно, это и есть признак художника!

Позднее, 17 марта 1847 года, уже после выхода в свет «Обыкновенной истории», Белинский писал Боткину: «Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу. <...> Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментализму, провинциализму!»

«Левиафан», задуманный как прямое продолжение «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника», как издание, сплачивающее вокруг Белинского литераторов натуральной школы, замышлялся и готовился, в отличие от двух предыдущих сборников, втайне от Краевского. Краевский не сразу разгадал, что в этих сборниках объединяются его будущие конкуренты и идейные противники. «Левиафан» должен был не только обеспечить Белинского материально на первое время после его ухода

из «Отечественных записок», но и нанести определенный моральный ущерб Краевскому.

Сначала Белинский предполагал выпустить свой альманах к весне, но некоторые авторы задержали присылку рукописей, и срок выхода в свет «Левиафана» пришлось перенести на осень. Однако дело было решенное, и в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1846 год в рецензии на стихотворения А. А. Григорьева и Я. П. Полонского Белинский поместил сообщение о предстоящем издании огромного сборника, в который войдет до восьми оригинальных повестей и несколько поэм, литературно-критические разборы и популярные статьи о науке.

Рецензия на стихотворения Григорьева и Полонского была одной из последних статей, написанных Белинским для «Отечественных записок». С 1 апреля его деловые отношения с этим журналом обрывались, но, чтобы как можно дольше скрыть его уход, Краевский задержал печатание последней, одиннадцатой статьи о Пушкине до десятой книжки. Уход из «Отечественных записок» лишил Белинского возможности спокойно завершить цикл статей о Пушкине. Одиннадцатая статья получилась несколько скомканной: на творчество зрелого Пушкина следовало бы отвести еще четыре-пять статей, но написать их до апреля было уже невозможно. В последней статье отмечалось, что весь цикл явился первой попыткой критически разобрать творчество Пушкина. При этом Виссарион Григорьевич добавлял: «Пусть другие сделают это лучше нас; мы первые поспешим отдать им должную дань хвалы и поучиться у них».

Выполнив свои обязательства по журналу Краевского и получив рукописи или твердые обещания на материал для «Левиафана», Белинский отправился с М. С. Щепкиным в поездку по югу России.

Еще в середине февраля, собираясь на гастроли, Щеп-

кин через Герцена передал Белинскому приглашение вместе провести лето. Такое предложение показалось Виссариону Григорьевичу очень заманчивым, и 20 марта он отвечал Герцену: «Насчет путешествия с Михаилом Семеновичем,— кажется, что поеду. Мне обещают денег, и, как получу, сейчас же пишу, что еду. Семейство отправлю в Гапсаль — это и дача в порядочном климате и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе Михаила Семеновича, видится мне и днем и ночью — это не соллогубовскому тарантасу чета. Святители! сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая, а гурий не надо — черт с ними!»

Уезжая с Михаилом Семеновичем на юг, Белинский не знал, что в III отделение — в дом на набережной Фонтанки у Цепного моста — поступила очередная докладная записка недремлющего Ф. Булгарина под названием «Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее 25-летие».

Булгарин обращал внимание жандармов на то, что стремление «Отечественных записок» каждой своей книжкой возбуждать в обществе жажду к переворотам и революциям принесло свои плоды: «...огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить — кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и пр. и пр. почитают «Отечественные записки» своим евангелием, а Краевского и первого его министра Белинского (выгнанного московского студента) апостолами». Сообщая об уходе Белинского из редакции «Отечественных записок», Булгарин высказывал предположение, что это не более как мастерски разыгранная комедия, необходимая Краевскому для того, чтобы отвлечь от себя цензурные неприят-

ности и замять дело. Булгарин утверждал, будто Краевский дал Белинскому денег на поездку в Крым, а тот со своей стороны обещал писать с юга для журнала.

Как раз в эти дни в цензурном комитете уже не первый раз рассматривалась и вновь была отвергнута написанная Белинским для «Отечественных записок» статья «Воспоминания Фаддея Булгарина». В сильно сокращенном и искаженном Краевским и цензурой виде статья наконец появилась в пятом, майском номере журнала.

Виссарион Григорьевич в это время уже был в Москве, куда его сопровождал Н. А. Некрасов. 28 апреля на почтовой станции их встретили Герцен, Щепкин и другие московские друзья.

Дорога до Москвы оказалась тяжелой. Было холодно, все время моросил дождь, он проникал даже через стеклянное складное окно и струился по ногам. В некоторых местах тракт походил на густое месиво, из которого лошади с натугой вытаскивали дилижанс. С особенным трудом был пройден участок между Клином и Москвой, задержавший путешественников на несколько лишних часов. Встречавшим друзьям, приехавшим на станцию в два часа, пришлось ждать до шести вечера. Их внимание и ласка глубоко тронули Виссариона Григорьевича. «Безо всякой ложной скромности скажу,— писал он жене 1 мая из Москвы,— что мне часто приходит в голову мысль, что я не стою такого внимания».

Тревожась за жену и дочь, он часто писал Марии Васильевне, и по этим письмам можно проследить важнейшие события его поездки с М. С. Щепкиным. Эти письма проливают дополнительный свет и на семейную жизнь Белинского в Петербурге.

Из писем жены было видно, какое большое значение она порой придает мелочам, как позволяет им отравлять себе жизнь, и тогда Виссарион Григорьевич просил ее: «Ради всего святого для обоих нас, успокойся, Marie, и

не давай себе выходить из себя по причине действительно досадных, но в то же время и мелких неудовольствий. 7-ой зуб Ольги гораздо важнее и двух целковых, которые содрал с тебя управляющий, и 30 рублей за клеенки и шкаф, а ты к этому зубу присоединила еще боль в своей груди и дошла до возможности слечь в постель».

Нередко Мария Васильевна сообщала об обидах своей сестры на Виссариона Григорьевича, и тот с горечью объяснялся в ответ:

«...в одном письме ты пишешь, что Агриппина *не шутя рассердилась на меня,* в другом, что она *плюет на меня, потому что я в каждом письме приписываю ей что-нибудь ругательное.* У меня руки опустились по прочтении этих вовсе неожиданных мною строк. Живя вместе, я часто вздорил с Агриппиною (потому что, повторяю под опасением быть снова оплеванным, у обоих нас, у нее и у меня, характеры прескверные, ребячески-мелочные, болезненно-раздражительные, а воспитание в обоих нас не развило того, что называется деликатностью и тактом), но никогда, ни наяву, ни во сне, не питал я к ней никаких враждебных чувств; но, находясь вдали от семейства, забывши все мелочные неудовольствия и, можно сказать, дрожа ежеминутно за здоровье и жизнь каждого из его членов, я писал и об Агриппине не только без всякого желания оскорбить или кольнуть ее, не только без всякой враждебности, но с полным расположением, с самою теплою симпатиею к ней,— и ответ на это получаю в деликатном и грациозном образе плевания! Я в эту минуту походил на человека, который подошел к другому с улыбкою и протянутою для пожатия рукою, а в ответ получил оплеуху. Но что еще огорчительнее для меня,— это то, что вместо того, чтобы разуверить и успокоить Агриппину в ее несправедливом и неосновательном раздражении против меня, ты берешь ее сторону и вычисляешь мне все, что делает для нас Агриппина. <...> Но довольно об

этом. Лучше переговорить при свидании или, еще лучше — вовсе никогда не говорить об этом: чего нельзя поправить, то только портится поправками. Видно, вам уже суждено не понимать меня, и я был бы очень рад убедиться, что *я* больше вас виноват в этом».

Очевидно, длительное путешествие было предпринято Белинским не только для того, чтобы повидать страну и поправить расшатанное здоровье, но и в надежде переменить образ жизни и несколько отдохнуть от семейных неурядиц. «Я уже не в той поре жизни, чтобы тешить себя фантазиями,— писал он Марии Васильевне из Харькова,— но еще и не дошел до того сухого отчаяния, чтобы не знать надежды. А потому жду много добра для обоих нас от нашей разлуки. <...> Ежели разлука и тебя заставит войти поглубже в себя и увидеть кое-что такого, чего прежде ты в себе видеть не могла,— то разлука эта будет очень полезна для нас: мы будем снисходительнее, терпимее к недостаткам один другого и будем объяснять их болезненностью, нервическою раздражительностию, недостатком воспитания, а не какими-нибудь дурными чувствами, которых, надеюсь, мы оба чужды».

Поездка дала Белинскому много впечатлений. Он побывал в десяти городах, пересек множество сел и деревень, входил в избы крестьян и в дворянские дома, знакомился с мужиками и губернаторами, учеными и артистами...

Выехав из Москвы 16 мая, Белинский со Щепкиным 11 дней провели в Калуге, где Виссарион Григорьевич встречался и беседовал с женой губернатора А. О. Смирновой-Россет, приятельницей Пушкина и Гоголя, знакомой со многими петербургскими писателями и художниками. Затем он присутствовал на триумфальных спектаклях Щепкина в Воронеже, Харькове, Екатеринославе, проехал через Херсон и Николаев и задержался в Одессе. Морские купания очень повредили Белинскому, началось кровохарканье. 12 июля они выехали в Николаев.

Кочевая жизнь оказалась не по силам, 17 июля Виссарион Григорьевич писал жене, что поездка начинает надоедать, что хочется домой, в свой угол. День ото дня он чувствовал себя все хуже. А тут еще в конце августа в Симферополе простудился в турецких банях и вынужден был лежать в гостинице. Прожив еще две недели в Севастополе, Белинский со Щепкиным около 4 октября выехали на север. Вид Виссариона Григорьевича произвел на московских друзей грустное впечатление, всем было ясно, что он нисколько не поправился.

В 20-х числах октября бесконечно утомленный долгим путешествием Белинский возвратился в Петербург. Его семья еще в начале сентября переехала в дом М. И. Федорова на Фонтанке (в те времена д. № 14, ныне д. № 17; пятый этаж надстроен в 1850-е годы) по соседству с Панаевыми и Некрасовым, жившими в доме № 16 (ныне № 19). Перемена квартиры была вызвана неладами Марии Васильевны с управляющим домом Лопатина. В доме Федорова Белинские прожили около восьми месяцев, до отъезда Виссариона Григорьевича на лечение за границу в начале мая 1847 года.

Здесь, в доме на Фонтанке, 24 ноября 1846 года у Белинских родился сын. Его назвали Владимиром, хотя Виссариону Григорьевичу очень хотелось, чтобы сына нарекли Павлом. Крестным отцом ребенка был И. С. Тургенев.

Детей своих Белинский любил горячо. Друзья не раз заставали его до полного изнеможения играющим с малышами.

Незадолго до возвращения Белинского из поездки на юг Некрасову и Панаеву удалось условиться с П. А. Плетневым о передаче в их руки основанного еще Пушкиным журнала «Современник». Ни Некрасову, ни Панаеву, ни тем более Белинскому, передовым деятелям литературы, политическая репутация которых не внуша-

ла правительству доверия, конечно, не разрешили бы официально возглавить обновленный «Современник». Поэтому на роль официального редактора был приглашен профессор Петербургского университета и цензор А. В. Никитенко. 12 октября он принял предложение, а через два дня министр С. С. Уваров дал согласие на передачу ему редакции «Современника». При этом фактические издатели журнала Некрасов, Панаев и Белинский были вынуждены гарантировать бывшему редактору Плетневу около 6000 рублей в год, а Никитенко за официальное редакторство до 5000, что, конечно, весьма осложняло материальное положение издателей.

Некрасов убедил Виссариона Григорьевича отказаться от издания «Левиафана» и весь собранный материал передать «Современнику». Жертва Белинского не разрешила всех трудных задач, но значительно облегчила положение новой редакции журнала.

Узнав о переходе «Современника» в руки Белинского и его друзей, Краевский всячески препятствовал привлечению авторов в обновленный журнал. Как раз осенью 1846 года он получил выговор за вредное направление «Отечественных записок». Воспользовавшись уходом Белинского, Некрасова и Панаева, он заявил, что «этого впредь не будет», что сотрудники, поддерживающие такое направление, им удалены. Этим Краевский не ограничился. Он выступил в печати с утверждениями, будто значение Белинского, Некрасова и Панаева в «Отечественных записках» было невелико, и сделал все возможное, чтобы всячески дискредитировать в глазах читателей своих бывших сотрудников.

А тем временем, несмотря на недомогание, Белинский принялся за очередной обзор — «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Эта программная статья должна была познакомить читателей не только с важнейшими литературными событиями истекшего года, но и охарактеризо-

вать дух и направление обновленного «Современника». Связанный цензурой, критик так определил основную мысль, основное назначение журнала, в первой книжке которого на новый, 1847 год была напечатана эта статья: «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнию, с действительностию...» «Понятие о «действительности» совершенно новое; <...> понятие о «народности» имело прежде исключительно литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы; но разница в том, что литература-то теперь сделалась эхом жизни».

«„СОВРЕМЕННИК" — ВСЯ МОЯ НАДЕЖДА...»

Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский.

В. И. ЛЕНИН[1]



Первого января 1847 года в редакции «Современника», расположившейся в большой квартире в доме Урусовой на набережной Фонтанки, 16 (ныне № 19), на углу Итальянской улицы (ныне ул. Ракова), которую с сентября 1846 года снимали Некрасов и Панаевы, был дан обед по случаю выхода первого номера обновленного журнала (и с тех пор установился обычай давать обеды в день выхода очередной книжки).

Присутствовал на обеде и Белинский, живший в это время в соседнем доме, № 14 (ныне № 17).

Взяв в руки номер в нарядной светло-зеленой обложке, Виссарион Григорьевич с волнением и нежностью рассматривал его. Перелистывая страницы журнала, с которым отныне связана его судьба, он думал о том, что с авторами, группирующимися вокруг «Современника», можно будет создать превосходный журнал.

В первом номере кроме программной статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года», написанной Белин-

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 25, с. 94.

ским, были напечатаны роман А. И. Герцена «Кто виноват?» и «Роман в 9 письмах» Ф. М. Достоевского, стихотворение «Деревня» и рассказ «Хорь и Калиныч» И. С. Тургенева, «Тройка» Н. А. Некрасова и «Родственники» И. И. Панаева, перевод романа Жорж Санд и т. д.

Когда за столом вдруг стало тихо, Виссарион Григорьевич услышал:

— Рассказывают, будто Гоголь в последнее время частенько поговаривает, что теперь он уж не прежний, не тот, кого хвалили и называли главой натуральной школы, что теперь он согласен с теми, кто раньше бранил его сочинения.

Белинский повернулся на голос — в это время он уже готовил для второй книжки «Современника» статью о «Выбранных местах из переписки с друзьями», публикация которых свидетельствовала об отходе Гоголя от демократических начал его прежнего творчества.

Виссарион Григорьевич заметил, что все ждут его мнения.

— Что ж,— сказал он,— мы действительно хвалили сочинения Гоголя, но не потому, что он этого хотел, а потому, что это были произведения, действительно достойные общественного признания. И теперь, после выхода его возмутительных «Выбранных мест», мы тоже не пойдем к нему спрашивать, что он прикажет нам думать о его новом творении. Сам же он может думать о своих сочинениях что ему угодно... Все равно общество будет ценить его прежние сочинения, а не «Выбранные места»...

Расходились, когда уже стемнело. На улице было морозно и тихо, уютно поскрипывал под ногами снег, Белинский вобрал в грудь чистый воздух, посмотрел вверх и успел заметить мгновенно прочерченную упавшей звездой прямую. Напоследок вспыхнув, она тут же растворилась, растаяла, как будто ее и не было. Виссарион Григорьевич даже не успел никого призвать в свидетели. Ря-

дом, о чем-то сосредоточенно думая, шел Николай Алексеевич. Много позднее, в стихотворении «Кому холодно, кому жарко», он напишет о подобном петербургском вечере:

...Каждый шаг,
Каждый звук так отчетливо слышен.
Все свежо, все эффектно: зимой
Словно весь посеребренный, пышен
Петербург самобытной красой.

Серебром отливают колонны,
Орнаменты ворот и мостов,
В серебре лошадиные гривы,
Шапки, бороды, брови людей,
И, как бабочек крылья, красивы
Ореолы вокруг фонарей.

Отношения в редакции складывались для Белинского вполне благоприятно. Некрасов был всем сердцем с ним и всячески поддерживал его планы. И хотя здоровье Виссариона Григорьевича все ухудшалось, он не ограничивал свое участие в «Современнике» общим идейным руководством: из 55 книг, на которые журнал дал отзывы в январе — мае, половина была отрецензирована им. Он по-прежнему пропагандировал принципы натуральной школы, ратовал за сближение литературы с действительностью и за ее демократизм, по-прежнему горячо выступал против всякой фальши и риторики и продолжал полемику со славянофилами, разоблачал недобросовестные выпады булгаринской «Северной пчелы», воспользовавшейся отречением Гоголя от прежних друзей для того, чтобы поставить под сомнение теорию и практику натуральной школы.

Но работа могла бы подвигаться успешнее, а отношения в редакции были бы сердечнее, если б не мешали этому некоторые обстоятельства.

Неожиданно для Некрасова, Панаева и Белинского Никитенко, приглашенный в качестве фиктивного

редактора «Современника», стал вмешиваться в журнальные дела, по своему усмотрению правя или даже исключая статьи и рецензии. 6 февраля 1847 года Белинский с горечью сообщил Боткину, как бесцеремонно обошелся Никитенко с его отзывом о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «...Никитенко так поправил одно место в моей статье о Гоголе, что я до сих пор хожу как человек, получивший в обществе оплеуху. Вот в чем дело; я говорю в статье, что-де *мы*, хваля Гоголя, не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях, то и теперь *мы* не считаем нужным делать это; а он, добрая душа! в первом случае *мы* заменил словом *некоторые* — и вышла, во-1-х, галиматья, а во-2-х, что-то вроде подлого отпирательства от прежних похвал Гоголю и сваление вины на других».

В первой книжке «Современника» помимо статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» была напечатана также статья Никитенко «О современном направлении русской литературы». Тон этой статьи свидетельствовал о том, что официальный редактор претендовал на изложение программной линии журнала. А линию, которую он предложил, не могли принять ни Белинский, ни Некрасов, ни Панаев. Смысл статьи Никитенко состоял в стремлении защитить «чистое искусство» от «посторонних целей», от «омута общественных тревог», от «житейской грязи». Это было откровенное выступление против идейных и эстетических позиций натуральной школы.

Что делать? Для петербургской цензуры лучшей «программной» статьи не надо. Но что будут думать о журнале читатели, даже если в этой же книжке напечатать повести и рассказы на темы, взятые из «житейской грязи»?.. Виссарион Григорьевич пошел на риск: в своем «Взгляде на русскую литературу 1846 года» он помог читателям разобраться в том, какую из двух статей, посвященных литературе, следут считать программной для об-

новленного «Современника». «Главная цель нашей статьи,— заявил он без обиняков,— познакомить заранее читателей «Современника» с его взглядом на русскую литературу, следовательно, с его духом и направлением как журнала. <...> Предлагаемая статья, вместе с статьею самого редактора, напечатанною во втором отделении этого же нумера, будет второю, *внутреннею,* так сказать программою «Современника»...»

Конечно, такая разница во взглядах с официальным редактором мешала работе.

Кроме того, не все публикации бывали достойны журнала, идейно руководимого Белинским.

— Наш журнал не зря называется «Современник»,— не раз напоминал Виссарион Григорьевич сотрудникам,— надо сделать все возможное, чтобы каждый номер соответствовал этому названию. Мы должны мгновенно откликаться и на общественную, и на художественную жизнь России и Запада.

Панаев, который взял на себя иностранное обозрение, не удовлетворял Белинского «абсолютным отсутствием всякой самодеятельности ума». На это жаловался и Некрасов.

— Нельзя же, по газетам и журналам составляя хронику литературных и политических новостей, не уметь прибавить от себя ни одного собственного суждения, ни даже просто переменить хоть одну фразу,— говорил он с досадой.

И другой составитель иностранных обозрений — А. И. Кронеберг — оставлял желать лучшего.

— Он хорош лишь как переводчик,— говорил Белинский.— Но как сотрудник отдела никуда не годится. Современность для него словно не существует. Он весь поглощен Древним Римом да еще Шекспиром. А какова дисциплина? То лень, то апатия...

Вот почему так радовали Белинского самобытные и

яркие зарисовки европейской жизни, сделанные его друзьями,— «Парижские письма» П. В. Анненкова, «Письма из Берлина» И. С. Тургенева, «Письма об Испании» В. П. Боткина, вот почему он так ждал их, напоминал, торопил. Когда шли корректуры третьей книжки «Современника» за 1847 год, Виссарион Григорьевич сам взялся править «Письма об Испании», хотя и «выговаривал» потом их автору:

— Я помучился за корректурою твоей статьи довольно, чтобы проклясть и тебя и испанский язык, глаза даже ломом ломили.

О том, чем хороши записки Боткина, он потом написал в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года»:

«Главная заслуга автора писем об Испании состоит в том, что он на все смотрел собственными глазами, не увлекаясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в книгах, журналах и газетах; вы чувствуете из его писем, что он сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и изучил, и потом уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его на нее нов, оригинален, и все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какою-нибудь фантастическою, а с действительно существующею страною. Увлекательное изложение еще более возвышает достоинство писем г. Боткина».

Спокойной работе немало мешали и враждебные отношения с Краевским. Редакция «Современника» помещалась неподалеку от редакции «Отечественных записок». Теснота помещения не позволяла ничего скрыть: всегда находились любители потолкаться, разузнать, какие статьи ожидаются в следующем номере «Современника», что говорят сотрудники о литературных и общественных новостях, разузнать, чтобы потом с ворохом сплетен явиться в «Отечественные записки», а оттуда снова в «Современник», чтобы уже здесь рассказать, что думают и говорят там.

Белинский скоро понял, что в лице В. Н. Майкова, пришедшего на его место в «Отечественные записки», он приобрел оппонента по основным вопросам, определяющим внутреннее направление журналов.

Значение Белинского в истории русской общественной мысли, глубина и самобытность его философских идей были поняты и признаны немногими современниками, и то лишь в последние годы его трудной жизни. Даже те, кто называл его своим учителем, больше ценили его страстное, отданное людям и делу сердце и не всегда сознавали гениальность его ума и замечательную широту мышления. Когда летом 1846 года главой критического отдела в «Отечественных записках» стал Майков, его восприняли не только как продолжателя Белинского, но и как человека, который трезво исправит крайности своего предшественника, поднимет критику на истинную высоту.

Даже некоторые друзья Белинского весьма благосклонно смотрели на новую звезду, поднимавшуюся на критическом горизонте. И. С. Тургенев, который, собственно, и ввел Майкова в «Отечественные записки», полагал, будто сам Белинский в это время «себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника,— то есть В. Н. Майкова...»

Позднее, сопоставляя эти две фигуры, иные историки русской общественной и литературно-критической мысли ставили Майкова выше не только по уму и знаниям, но и по таланту и мировоззрению. А. М. Скабичевский, например, утверждал, что Белинский до конца оставался на метафизических позициях гегельянства, а вот Майков был им чужд и потому разрабатывал свою эстетическую теорию в духе «положительного реального мышления».

Это, конечно, не так. Белинский еще в начале 1842 года познакомился с книгой Л. Фейербаха «Сущность христианства», которая буквально «переворотила» его, в ней он нашел ответы на некоторые важнейшие во-

просы современности. В атеизме и материализме Фейербаха Белинский увидел обоснование социализма, и с тех пор его взгляд на отношение искусства к жизни своими философскими корнями прочно уходил в Фейербахово учение о действительности.

К. И. Арсеньев в статье «Валериан Майков» пошел еще дальше Скабичевского: он прямо заявил, что Белинский немало позаимствовал у Майкова. Такое мнение повторялось не однажды и впоследствии.

Валериан Николаевич Майков родился в 1823 году, в Петербурге, в семье с ярко выраженными художественными интересами: его отец был живописцем, мать — писательницей, а брат Аполлон — стал известным поэтом.

В 1846 году В. Майкову исполнилось 23 года, он был близок к петрашевцам и выступил редактором и автором первого выпуска «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Словарь посвятили великому князю Михаилу Павловичу и тем отвлекли внимание цензуры. Второй выпуск редактировал Петрашевский; Майкова уж не было в живых: он скончался в 1847 году от разрыва сердца во время купания.

Белинский встретил первый выпуск словаря горячим одобрением. Высоко оценил он и статью В. Майкова «Общественные науки в России», опубликованную в петербургском журнале «Финский вестник» в 1845 году. В. Майков редактировал этот журнал до третьего номера за 1845 год. В то время он сочувственно относился к литературно-критической деятельности Белинского, разделяя его убеждение, что народность и национальное начало — важнейшие условия прогресса человечества.

В 1846 году отношение молодого критика к Белинскому и его идеям было уже иным. Заняв в «Отечественных записках» место заведующего критическим отделом, Майков, не называя имени своего предшественника, но явно имея его в виду, стал утверждать, что это была критика

убежденная и горячая, но лишенная аналитического начала, недостаточно осмысленная, не подкрепленная убедительными доводами. «Больно должно быть ему видеть в целом обществе,— писал Майков об этом «критике»,— такие тощие плоды своего слова... Еще больнее должно быть ему встречать на каждом шагу безобразные доктрины, развитые из его же мыслей его же поклонниками, и все потому, что мысли эти оставлены им самим без развития!»

Друзья Белинского не раз упрекали Майкова за неоправданную резкость. Говорил ему об этом и Тургенев. Но он отвечал:

— Белинский и сам должен понимать, что его статьи недоказательны, а метод неперспективен. Нельзя же считать перспективной памфлетическую манеру критики.

Со свойственным молодости пылом Майков начал «развивать» те мысли, которые, по его мнению, Белинский бросил на половине дороги к их истинному осмыслению и объяснению. Молодой критик, в частности, взялся углубить трактовку искусства как мышления образами.

Белинский писал: «Политико-эконом, вооружась статистическими числами, *доказывает*, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, *показывает*, в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один *доказывает*, другой *показывает*, и оба *убеждают*, только один логическими доводами, другой — картинами».

Начав исправлять это, с его точки зрения, неудовлетворительное объяснение, Майков пришел к выводу, что

«художественная мысль зарождается в форме любви или негодования и что тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с ее симпатической стороны».

Но ведь сочувственное или, наоборот, несочувственное отношение к предмету может быть свойственно и ученому, а значит, формула Майкова о сущности искусства, в отличие от формулы Белинского, указывает не на главную черту художественного творчества, а только на одну из его черт. Неверен и тезис Майкова о задаче или, как он говорил, тайне творчества. Белинский считал обязанностью литературы и искусства полнокровное, во всех противоречиях, изображение жизни. И в этом как теоретик он не нуждался в поправках.

Даже жанр годового обозрения литературы, расцветший в «Отечественных записках» благодаря Белинскому, Майков подверг сомнению.

Белинский создал целую теорию этого жанра, из года в год оттачивая представление о задачах и назначении обозрений. Воспринимая свою эпоху как «время сознания», Белинский требовал от литературных обозрений большей, чем прежде, солидности и основательности, «ибо их цель,— писал он еще в статье «Русская литература в 1840 году»,— не похвалы людям своего прихода и брань на других прихожан, не лирические излияния чувства, гордящегося мгновенным успехом, но приведение в ясность существенного вопроса, сознание факта».

В статье «Русская литература в 1842 году» он углубляет эту трактовку жанра, подчеркнув, что «одно знание фактов... ничто» и «обозревать не значит пересчитывать по пальцам все, что вышло в продолжение известного времени, но указать на замечательные произведения и определить их значение и цену...» Для этого, по его мнению, критик должен сначала определить характер и значение всей литературы последнего периода в целом. В статье

«Русская литература в 1845 году» он выделил как главную задачу обозрения определение «духа и направления» литературы за истекший год.

Валериан Майков, напротив, в своем обзоре «Нечто о русской литературе в 1846 году» («Отечественные записки», 1847, № 1) высказал сомнение в самой целесообразности годовых обозрений. «Какой интерес,— скептически заметил он,— может иметь перечень книг, изданий и статей, о которых во время выхода их в свет уже говорено было подробно?»

Его соображения не убедили читателей. «Нечто о русской литературе в 1846 году» вызвало недоумение и упреки в адрес редакции. А. Д. Галахов пенял Краевскому: «Как это вы ухитрились не поместить полного отчета о русской литературе в 1-м № ? Это нехорошо. То, что помещено, составляет два или три отрывка, довольно темно написанные... Жаль, право, жаль. Первый номер без русской литературы за прошлый год не полон. В нем нет чего-то существенного».

После неудачной статьи Майкова следующий годовой обзор за 1847 год по просьбе Краевского сделал для «Отечественных записок» Галахов, взгляды которого на натуральную школу были близки взглядам Белинского. «...Кто прочтет общую часть и моей и Вашей статьи,— писал Галахову Виссарион Григорьевич 4 января 1848 года,— тот, право, подумает, что мы согласились говорить одно и то же. Но,— добавил он не без оснований,— как только дойдет дело до оценки литературных произведений, тогда — иная история: посылай за стариком Белинским, а без него плохо...»

В своем «Взгляде на русскую литературу 1847 года», опубликованном в «Современнике», Белинский дал полное теоретическое обоснование жанра годовых литературных обозрений, ответив на сомнения и скептические выпады Валериана Майкова. Исходная позиция, пафос и

смысл таких обзоров, по мысли Белинского, состоят в ясном понимании того, что «настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее». Понимая, что многие читатели и сами могут отличить хорошее от дурного, Белинский предлагал сводить до минимума обзор новинок и совершенно исключить их общий и полный перечень, ибо задача и цель обзора — «показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время, проследить в ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только таким образом,— утверждал он,— можно если не определить, то хоть намекнуть, насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой прогресс совершила она в нем».

В 1846—1847 гг. Майков по многим вопросам полемизировал с Белинским, а если не полемизировал, то стремился дополнить его выводы. Белинский выступал за историзм, за реалистическое изображение жизни в искусстве; Майков — защищал идеалы утопического социализма. Признавая и высоко оценивая разные типы художественности (произведения Герцена и Гончарова), Белинский в любом произведении докапывался прежде всего до сути — до идеи, до социального и нравственного пафоса писателя; Майков обращал внимание на художественность, на индивидуальность персонажей.

Но, «дополняя» (некоторые из таких «дополнений» уже были у самого Белинского — в предшествующих его работах), Майков в пылу полемики порою вставал в позу едва ли не отрицателя самой основы, которую он брался дополнить.

Почему же Валериан Майков, человек не только очень начитанный, но и несомненно одаренный, принявшийся за дело, по словам Достоевского, «горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности», выступил столь неудачным «продолжателем» и «критиком» Белинского?

Объясняя впоследствии причины «раздражительного торопливо-„критического"» отношения Майкова к Белинскому, Г. В. Плеханов признал, что эти причины, несомненно, лежали глубже его возмущения якобы диктаторским тоном Белинского. «Это было бы слишком плохо,— заметил он. — Дело объясняется иным, более выгодным для В. Майкова, образом. Он плохо понял Белинского просто потому, что у него были совсем другие привычки мысли».

Резкие выпады Майкова вначале болезненно действовали на Белинского, но, успокоившись, Виссарион Григорьевич говорил:

— Зря я так разгорячился. Сердиться было не на что.

«Можно судить обо всем,— писал он, имея в виду Майкова, в «Современных заметках», опубликованных в пятой книжке «Современника» за 1847 год,— но ничего нельзя мерить на аршин своего времени: иначе род человеческий начнется только с нас, а его истории — как не бывало! Можно говорить обо всем, об ином даже с увлечением и жаром, но ни на что в прошедшем сердиться не следует, помня, что если многое было не так, как бы ему следовало быть, так на том же самом основании, на котором многое в настоящее время бывает не так, как бы следовало быть. Гордиться прогрессом времени не всегда значит хвалиться собственными заслугами, и быть дальше своих предшественников не всегда значит быть выше, лучше и достойнее их».

Выходки против себя как литератора и теоретика Белинский прощал Майкову из-за его молодости. Во всяком случае, когда незадолго перед смертью Майков вдруг обратился в «Современник» с просьбой о работе, Белинский не стал чинить ему никаких препятствий, и молодой критик еще успел выступить в этом журнале, хотя Виссарион Григорьевич и понимал, что дело здесь не в перемене его оппонентом позиции, а в том, что с Краевским не так

просто было сработаться. «Несмотря на горькие опыты,— писал Белинский 22 апреля 1847 года Боткину об издателе «Отечественных записок»,— он все тот же: найдет дешевле сотрудника и откажет тому, который подороже. Потом, иные сотрудники отстали по причине его грубости и неделикатности».

Но Белинский не оставлял без ответа соображения Майкова по существу и дал им отпор уже во «Взгляде на русскую литературу 1846 года». Работая над этим очередным годовым обозрением, критик немало потрудился, чтобы провести свои мысли через цензуру.

— Передайте Никитенко,— просил он Некрасова,— я употреблю все усилия, чтоб статья была благовоспитанная.

Так о чем же шел главный спор между Белинским и Майковым, и в чем проявились у Майкова другие, по сравнению с Белинским, привычки мысли: ведь он не был ни консерватором, ни охранителем и принадлежал к числу передовой молодежи своего времени?

Это был спор о народности и национальности, который уже имел свою историю в русской общественной мысли.

Славянофилы считали человеческую личность бессильной и несостоятельной перед лицом истории, опыт других народов — ненужным и вредным, а источники дальнейшего поступательного движения России искали в русской старине. Западники, наоборот, были сторонниками «личностного» начала в историческом развитии и с уважением взирали на общественное устройство Европы как на образец для подражания. На этом неизменно стояло большинство друзей Белинского.

Петрашевцы, к которым был близок Майков, разделяли идею утопических социалистов Фурье и Сен-Симона о постепенном сглаживании национальных различий и перегородок в будущем обществе. «Социализм — доктри-

на космополитическая, стоящая выше национальностей»,— считал Петрашевский.

Не присоединяясь в полемике между западниками и славянофилами ни к одной из сторон, Майков поддержал Белинского в его критике «квасных патриотов». «Восстановить русскую старину — значит восстановить политическую немощь, экономическую рутину и нравственное небытие»,— писал он.

В то же время Майков довел до парадокса рассуждения западников о личности, народе и национальности. Прочитав большую статью, написанную Майковым по поводу издания стихотворений А. Кольцова и напечатанную в одиннадцатой и двенадцатой книжках «Отечественных записок» за 1846 год, Виссарион Григорьевич обнаружил, что в этой статье немало места уделено полемике с ним именно по этим вопросам.

Майков утверждал, что ревнивое сохранение национальных особенностей говорит о консерватизме народа и мешает ему приблизиться к общечеловеческому идеалу. Из этого делался вывод, будто прогресс каждого народа связан прежде всего с преодолением национальных черт. «Все подлинные таланты стоят вне своей национальности. Гений — всегда носитель чистоты высшего — общечеловеческого типа»,— утверждал Майков, называя такую позицию «разумным космополитизмом».

— Это не разумный, это — фантастический космополитизм,— возражал Белинский.

В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он специально обратился к проблеме национального. Нет, заявил он, истинные таланты не только не стоят вне своей национальности, а как раз наоборот всем лучшим и оригинальным в себе они бывают обязаны своему народу и своей нации. «Что в народе бессознательно живет как возможность, то в гении является как осуществление, как действительность,— писал Белинский.— На-

род относится к своим великим людям как почва к растениям, которые производит она. Тут единство, а не разделение, не двойственность... для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим». И если гений вступает в борьбу с народом, то это, по мнению Белинского, борьба не общечеловеческого с национальным, а нового со старым.

Так обстоит дело, считал он, даже в случаях заимствований и подражаний: они тоже совершаются в каждом народе на свой национальный лад. Народ, способный лишь слепо заимствовать, но не способный перерабатывать эти заимствования согласно потребностям и традициям собственной национальности, идет к политической гибели.

Пренебрежительное отношение к народу как к косной, темной силе глубоко возмущало Белинского.

— Разве виноват мужик в том, что он не учен и не образован.— говорил Виссарион Григорьевич.— Конечно, хорошо быть образованным человеком. Но зачем же чваниться этой образованностью перед мужиком? Почем знать, может быть при тех же средствах к образованию он пошел бы гораздо дальше многих образованных людей из высшего круга?

То пренебрежение к национальному, самобытному, с которым Белинский встретился в статье Майкова, заставило его, человека, до сих пор ополчавшегося против «квасного патриотизма» и «фантастической народности», теперь пойти в решительное наступление на эту новую противоположную, но не менее вредную крайность — на «фантастический космополитизм во имя человечества».

— В славянофильстве, пусть и в уродливой форме,— признал он,— сказалось стремление русского общества к национальному самосознанию.

22 ноября 1847 года Виссарион Григорьевич писал Кавелину: «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. <...> Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет, — правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму».

И, возражая далее Кавелину, рассмотревшему (в статье «Взгляд на юридический быт древней России») содержание русской истории лишь под углом личного начала, Белинский старался убедить его, а вместе с ним и других своих московских друзей: «Нам с Вами жить недолго, а России — века, может быть, тысячелетия. Нам хочется поскорее, а ей торопиться нечего. Личность у нас еще только наклевывается, и оттого гоголевские типы — *пока* самые верные русские типы».

Но московских западников такие объяснения не удовлетворяли и отдаляли от Белинского все больше. Собственно, уже «Взгляд на русскую литературу 1846 года» утвердил их в том, что взятое Белинским в «Современнике» направление — путь к разрыву с ними. Уже тогда они круто повернули к Краевскому, не стесняясь и ему выражать свое неудовольствие выступлениями «Неистового Виссариона». Так, А. Д. Галахов в одном из своих писем к Краевскому заверял его, что с уходом Белинского и приходом нового руководителя критического отдела журнал только выиграл. «Нет в них,— писал он о статьях В. Майкова,— задирчивости и волнения, которые вы справедливо назвали тревожным духом и который теперь, право, уже не нужен. Довольно было выходок, насмешек, задирок, наездничества, пора принять более спокойный

тон, свойственный самоуверенности, приобретенной летами, приличной успеху, которым уже пользуется журнал».

Впоследствии некоторые историки русской общественной мысли утверждали, что из всех влияний на Майкова самое сильное оказал К. Маркс. Основанием для такого вывода объявлялось, как ни странно, в частности, то, что Майков считал бесполезным просвещение рабочего класса до обеспечения его материального благосостояния.

В статье «Умственное и нравственное образование работников» Майков писал: «Быть нравственным может только тот, кто может сознавать свое достоинство, кому доступна некоторая гордость при мысли о своем положении в обществе. Как же предположить все это в том, кто знает и чувствует, что назначение его — механический труд, потребный до изобретения механизма, который сделает излишним напряжение его мускулов, что цель его вечных усилий — растительное, безрадостное существование без всякой надежды лучшего, даже без всякого предвидения отдыха?.. Посреди ослепительной роскоши антрепренеров он постоянно питает в уме своем мысль о благах, в которых ему навек отказано, постоянно воспаляет в сердце страсть к стяжанию, страсть, которая, оставаясь без удовлетворения, порождает, наконец, горестное отчаяние и превращает человека в бешеного зверя. Чтобы сделаться исключением из этой толпы, надо родиться чуть ли не героем».

Конечно, в этих рассуждениях нет ничего общего с экономическим учением и взглядами К. Маркса на пролетариат. И выработанный Майковым план общественной реформы, состоявший в том, чтобы рабочие сделались дольщиками предприятий и участвовали в их прибылях, также был далек от идей основоположников марксизма.

А как смотрел на положение рабочего класса Белинский?

В 1844 году, в статье на роман Эжена Сю «Парижские тайны», он писал о французах: «Народ — дитя, но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. <...> В народе уже быстро развивается образование, и он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества».

Если в Европе в 40-е годы XIX века уже остро стоял вопрос о положении рабочего класса, то в крепостнической России пролетариат еще не вышел на историческую арену и на первое место выдвигались хотя и связанные с общеевропейскими, но все-таки иные проблемы. Самыми живыми и насущными вопросами своей родины Белинский считал уничтожение крепостного права и отмену телесных наказаний. «Это чувствует,— отмечал он,— даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетью».

В середине октября 1846 года, заехав в Москву по пути с юга в Петербург, в разговоре с Грановским и Анненковым о перспективах развития России Виссарион Григорьевич высказал мысль, показавшуюся им славянофильской:

— Ясно,— сказал он тогда,— что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Но будущее России все же не станет простым

слепком с Европы. И Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа.

В написанной вскоре после этого и опубликованной в «Современнике» статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский специально коснулся и этого вопроса. Говоря о социально-политических задачах, стоящих перед русским обществом, он снова обратил внимание на особенности исторического развития России и ее — отличное от Европы — современное состояние. «...Настало для России время развиваться самобытно, из самой себя <...>, — писал он. — То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. <...> Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим их сами собою и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те и требуют другого решения».

Поездка в 1847 году за границу позволила Белинскому многое, о чем он думал и читал, увидеть своими глазами. В Россию он возвратился отчетливо понимающим разницу между капитализмом зарождающимся и капитализмом, захватившим все области общественной жизни.

— Когда буржуазия боролась,— доказывал он друзьям,— она не отделяла своих интересов от интересов народа, а когда она восторжествовала, она сознательно стала держать народ в голоде... Теперь для нее рабочий — это всего лишь тот, кто обязан всю жизнь орошать своим потом чужое поле. А капиталисты — это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Горе государству, которое находится в руках капиталистов. Не годится государству быть в руках капиталистов.

Сравнивая то, что писал и говорил о будущем развитии России Белинский, с тем, что писал на ту же тему Майков, нельзя не согласиться с Плехановым в том, что Белинский стоял неизмеримо ближе к Марксу, чем не любивший крайностей В. Майков.

Поездка Виссариона Григорьевича за границу была вызвана резким ухудшением его здоровья и необходимостью полечиться. Сердце Белинского, не хуже других понимавшего свое состояние, тоскливо сжималось, когда он думал, что очень скоро его семья может остаться без всяких средств к существованию. Это в какой-то мере осложняло его личные отношения с Некрасовым и Панаевым. Безвозмездно отдав весь материал «Левиафана» в «Современник», он недоумевал, почему Панаев и Некрасов не хотят закрепить за ним право на получение третьей доли от доходов журнала. В конце концов, до чрезвычайности щепетильный в такого рода делах, Виссарион Григорьевич все же не выдержал и заговорил с Некрасовым на эту щекотливую тему.

— Выслушайте меня, и вы согласитесь, что я прав,— объяснил ему Николай Алексеевич. — Вы знаете, что, затевая издание, мы хотели создать для вас по возможности благоприятные материальные условия, чтоб вы могли спокойно писать о чем хотите, не губя себя такой поденщиной, какая была у Краевского. Но поймите, что включение вас сейчас, когда вы некредитоспособны, в число «дольщиков», поставило бы вас в трудное и фальшивое положение. Ведь вы же не можете внести необходимые деньги, чтобы пополнить кассу пока что убыточного предприятия. Да и на собственное житье вам придется вперед брать деньги из кассы журнала. Вот и войдите в наше положение, особенно Панаева, который вложил в журнал столько средств.

Некрасов думал еще и о том, как — увы! — тяжко болен Белинский и как мало вероятно, что и в дальнейшем

можно будет рассчитывать на его деятельное сотрудничество в «Современнике», но об этих опасениях он, разумеется, не мог сказать вслух.

В случае смерти критика издатели журнала, возьми они его в «дольщики», связали бы себя с его женой формальными обязательствами, которые они при сложившихся обстоятельствах брать на себя опасались.

И все-таки сам Белинский не раз говорил, что в «Современнике» ему и в моральном и в материальном смысле вздохнулось свободнее. И это было действительно так. «Без журнала,— писал он Боткину в ноябре 1847 года,— я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. <...> На будущий год я получаю 12 000. Кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в «Отечественных записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное. <...> Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать. Подобные условия были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомленному, измученному, усталому повторять вечно одно и то же».

Только за первые три с половиной месяца существования «Современника», несмотря на большие материальные затруднения, Некрасов выплатил Белинскому 10 000 рублей, что составляло свыше десятой части всех денег, собранных с подписчиков, причем около трех пятых этой суммы были выданы вперед, заимообразно, иначе говоря, Белинский пользовался кредитом редакции, едва ли не превышающим ее разумные возможности. Когда же весной выяснилось, что Виссариону Григорьевичу не обой-

тись без лечения за границей, на водах, а денег у него, как всегда, не было, Некрасов предложил ему еще 1500 рублей.

Чтобы ограничить количество русских, выезжавших на временное жительство за границу, плата за заграничный паспорт в 40-х годах была увеличена до 500 рублей. Эти деньги разрешалось не платить только тем, кто мог представить свидетельство авторитетного врача о необходимости срочного лечения на одном из знаменитых зарубежных курортов. Состоятельным петербуржцам, имевшим своих домашних врачей, было просто представить нужную справку. Ну, а для того, чтобы обеспечить себе беззаботное путешествие, петербургские владельцы крепостных закладывали своих крестьян в Опекунский совет.

Понимая, в каком состоянии находится Белинский, Боткин организовал среди друзей и знакомых сбор денег для отправки Виссариона Григорьевича за границу. Очень помогли Герцен и сам Боткин. Василий Петрович пригласил участвовать в подписке также Анненкова и Тургенева, но те решили помочь иначе: встретить и сопровождать Белинского уже за границей.

Тяжело было этой весной Виссариону Григорьевичу не только из-за собственного нездоровья. В марте умер пятимесячный сын Владимир. Белинский долго не мог оправиться. «Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленною смертью»,— сообщал он Тургеневу.

У Марии Васильевны случилось тяжелое нервное расстройство, так что Виссарион Григорьевич даже опасался, как бы дело не кончилось тем, что «хуже смерти». Доктор ездил к ним на Фонтанку каждый день.

— У меня на лекарства выходит рублей сорок серебром в месяц, если не больше, да рублей пятьдесят серебром стоит доктор. Дом мой — лазарет,— сокрушался Белинский.

В начале мая жене стало лучше. В эти тягостные дни, когда все казалось так непрочно, так зыбко, ему хотелось надеяться, что, может быть, после вод он поправится — ради журнала и ради семьи, за будущность которых болело его сердце. «О, если бы только мне ожить,— писал он Боткину,— да лишь бы московские друзья наши не охладели в своей решимости поддерживать «Современник»,— осенью же нынешнею это был бы журнал именно такой, какого в наше время нужно! Вникая в себя, я чувствую, что во мне убита только сила работать, но не сила души; меня все занимает, волнует, бесит по-прежнему, голова работает беспрестанно. Но если не поправлюсь физически — погиб всячески, погиб страшно!»

В эту трудную весну 1847 года Белинский всерьез задумывается о возвращении в Москву, не порывая, конечно, с редакцией «Современника». Это решение не было легким. За годы, прожитые в Петербурге, он как бы сросся с этим городом, центром общественной и экономической, культурной и духовной жизни страны, средоточием не только высшей дворянской знати, но и разночинства, студенчества, ежегодно приходившего на заработки крестьянства, городом нового вольнодумства и еще не до конца осуществленных идей Петра.

Петербург столько дал ему для умственного развития и мужания, что, не будь крайних причин, он никогда не покинул бы его. «Я привык к Питеру, люблю его какою-то странною любовью за многое даже такое, за что бы нечего любить его; в нем много удобств,— писал он Боткину 22 апреля.— В Москве меня, кроме друзей, ничто не привлекает; как город я не люблю ее. Но жить в петербургском климате, на понтинских болотах, гнилых и холодных, мне больше нет никакой возможности. Если я поправлюсь за границею, в Питере через год, будущею же весною, могу прийти опять в прежнее положение».

«ТУТ ДЕЛО ИДЕТ ОБ ИСТИНЕ, О РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ, О РОССИИ...»

...знаменитое «Письмо к Гоголю»... было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору.

В. И. ЛЕНИН[1]



Приближался день отъезда Белинского за границу. Уже была дана обязательная публикация в газете. Билет на стоместный пароход «Владимир», с 1846 года регулярно по воскресеньям ходивший из Кронштадта в Штеттин, был взят еще в первой половине апреля. Но зима была затяжная. Нева и Финский залив дольше обычного оставались скованы льдами, и навигация все не открывалась. Однако 5 мая в 4 часа на небольшом пароходе с пристани, находившейся на Английской набережной (ныне наб. Красного Флота) напротив Отделения почтового пароходства (дом № 31), Виссарион Григорьевич все же отправился в Кронштадтский порт. Сколько раз он проделывал этот путь до Кронштадта, провожая друзей, уезжавших за границу!

Качки не было, но в страшной сутолоке, тесноте — так что и «поворотиться негде было, а пройтись и думать нельзя, сиди на одном месте, да и только» — у Белинско-

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 25, с. 94.

го от слабости закружилась голова. На «Владимире» из-за морской болезни ему сделалось еще хуже...

В Зальцбрунне, где лечился Виссарион Григорьевич, стояла сырая и холодная погода. Это плохо влияло на его здоровье. Мешали лечению и не покидавшие его грустные мысли о будущем семьи; беспокоило отсутствие писем от жены, тяготило нарушение привычного жизненного режима и трудового ритма. «...Вставай, ложись, ешь без порядку, когда можно, а не когда хочешь. Если б не желание основательнее вылечиться, я в августе махнул бы домой, не жалея, что не видел того и этого», — сознавался он.

Белинского трудно было узнать — так изменила его болезнь. «Передо мной стоял,— писал Анненков,— старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли: он представлял из себя, очевидно, организм, разрушенный наполовину... Страшная худоба и глухой звук голоса довершали впечатление».

Белинский знакомился с Западной Европой, когда там уже назревала — для многих, впрочем, еще незаметная — революционная ситуация. Именно в это время он узнает от Анненкова о его переписке с Марксом, начавшейся после того, как в марте 1846 года по приглашению Маркса Анненков присутствовал при его и Энгельса беседе с Вильгельмом Вейтлингом, одним из теоретиков утопического уравнительного коммунизма. С помощью Анненкова Виссарион Григорьевич вник в суть Марксовой полемики с Прудоном в книге «Нищета философии». Никто из его приятелей не стоял так близко к политическим деятелям революционной Европы, как Анненков, с интересом следивший за новинками социалистической литературы и борьбой политических партий. Поэтому встречи с ним за границей были особенно важны для Белинского.

30 июня для Виссариона Григорьевича и Анненкова пришли изрядно попутешествовавшие письма от Н. В. Гоголя, находившегося в это время во Франкфурте. Не надо было распечатывать конвертов, чтобы догадаться, что они вызваны разгромной статьей Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями», помещенной в «Современнике».

Анненков стал вслух читать адресованное ему письмо, Белинский безучастно глядел в окно и рассеянно слушал.

— Гоголь хочет если не утешенья и поддержки, то хотя бы тихой беседы, — сказал Анненков, закончив чтение.

Виссарион Григорьевич пробежал глазами письмо, адресованное ему, и вдруг вспыхнул:

— А-а, он не понимает, за что люди на него сердятся,— надо растолковать ему это. Я буду отвечать.

Три дня, с 1 по 3 июля, по утрам до часового обеда Белинский со всем пылом и воодушевлением работал над «Письмом к Гоголю». Хорошо понимая, что оно не должно оставаться лишь фактом частной переписки, он скопировал его для себя, позвал Анненкова и стал читать:

— «...Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. <...>

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. <...>

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. <...> ...Пре-

доставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия... только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего *прекрасного далека:* вблизи-то она не так красива и не так безопасна... <...>

...В Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили... <...>

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. <...> Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. <...> Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России...»

Анненков слушал, затаив дыхание и все более тревожась. Когда Виссарион Григорьевич умолк и вопросительно на него посмотрел, он не скрыл своего впечатления:

— Я боюсь за Гоголя. Я живо представляю себе его положение, когда он станет читать это страшное бичевание. Ведь вы не только опровергаете его мнение и взгляды, вы обнаруживаете пустоту и безобразие всех его идеалов, понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил.

— А что же делать? — возразил критик.— Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы

взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него.

Когда друзья приехали в Париж и чтение «Письма» повторилось при Герцене, тот шепнул Анненкову:

— Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его.

В Париже Белинский еще успел получить ответ от Гоголя.

Первоначально Гоголь написал длинное письмо, оправдываясь по существу и отклоняя некоторые обвинения. Но этот текст не был отослан. Вместо него было отправлено сдержанное, смиренное письмо, в котором Гоголь признавался в пережитом потрясении в связи с откликами на книгу и, избегая полемики по существу, соглашался, что, наверное, он и в самом деле еще недостаточно хорошо знает современную Россию и, может быть, в письме Белинского действительно есть часть правды.

В то же время писатель упрекал критика в горячности и в крайностях. «И Вы, и я перешли в излишество,— писал он.— Я по крайней мере сознаюсь в этом, но сознаетесь ли Вы?»

По реакции, по тому участию, с которым Виссарион Григорьевич читал письмо, Анненков ясно видел, что у него не было и тени личной злобы или неприязни к Гоголю.

— Какая запутанная вещь; да он должен быть очень несчастлив в эту минуту,— задумчиво произнес Белинский.

Впервые услышав «Письмо к Гоголю», Герцен верно определил его исключительное значение. Распространившееся в конце 40-х — начале 50-х годов в сотнях списков, это письмо стало политическим документом и имело большое значение в истории русского освободительного движения. Петрашевцы первые начали распространять его

в Петербурге через год после смерти Белинского. И вскоре И. С. Аксаков, путешествуя по России, убедился, что «нет ни одного учителя гимназии, ни одного уездного учителя... который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю, и под их руководством воспитываются новые поколения».

11 сентября рано утром Белинский выехал из Парижа через Брюссель и Кельн в Берлин, а затем из Штеттина на пароходе «Адлер» отправился в Кронштадт. 24 сентября он прибыл в Петербург, где еще часа четыре провел в таможне «в муках ожидания и хлопот».

В отсутствие мужа Мария Васильевна отказалась от квартиры в доме М. И. Федорова на Фонтанке и, разместив обстановку и книги у друзей, временно поселилась на Знаменской (ныне улица Восстания, местонахождение дома установить не удалось), куда и приехал Виссарион Григорьевич, утомленный дорогой и таможенными формальностями.

Настоящая осень в Петербурге еще не утвердилась. Но насладиться погодой и отдохнуть Белинскому не пришлось; в поисках более удобного жилья он «с ног сбился», а квартиры все попадались темные и тесные. Отчаявшись, он было уже собрался переехать в одну из них, чувствуя себя при этом как «осужденный за долги на тюремное заключение», но неожиданно за годовую плату 1320 рублей ассигнациями ему удалось снять большую квартиру из шести комнат, правда, по тем временам в окраинном районе. Вещи и книги перевозились из трех мест, это отняло много времени и сил, и кончилось тем, что Белинский простудился.

Новая квартира находилась в верхнем этаже деревянного двухэтажного флигеля дома коллежского советника И. Ф. Галченкова на Лиговском канале против Кузнечного переулка — по тогдашней нумерации дом № 73. Лиговский канал был прорыт в 1718 году. Тогда по нему подво-

дилась вода в фонтаны и каскады Летнего сада. Позднее канал засыпали. Дом, в котором жил Белинский, после 1910 года был снесен, и на его месте выстроен один из самых больших доходных домов Петербурга, принадлежавший А. Н. Перцову (ныне Лиговский пр., 44).

Выбранная Виссарионом Григорьевичем квартира производила грустное впечатление на друзей в немалой мере из-за деревьев, которые росли под самыми окнами и заслоняли дневной свет. Но Белинский радовался этой зелени, оживлявшей мрачный двор, и надеялся, что, может быть, летом семья обойдется без утомительного и дорогого переезда на дачу.

Рабочий кабинет Белинского, оклеенный палевыми обоями, был в два окна, в простенке между которыми стоял небольшой покрытый зеленым сукном дамский письменный стол с решеткой и разложенными на нем перьями, бумагой, кое-какими безделушками и транспарантом с изображением Фауста, Маргариты и Мефистофеля. Слева всю стену занимала карта Европы, под ней — обитый пунцовой с черным драдедамовой тканью диван, на котором отдыхал Белинский. У противоположной стены был еще один стол красного дерева, также покрытый зеленым сукном, но уже большой, рабочий, с множеством выдвижных ящиков по бокам. Над ним Виссарион Григорьевич, как и в прежних своих квартирах, повесил литографированные портреты Пушкина, Гете, Шиллера, Жорж Санд, Кольцова и Николая Станкевича. У четвертой стены стояли высокие книжные шкафы, темные, под орех. В разных местах комнаты ее новый хозяин расставил бюсты любимых писателей — Гете, Руссо, Вольтера, Пушкина, Гоголя. Жизнь снова входила в свою привычную колею.

В квартире на Лиговском канале Белинского несколько раз посетил уже избранный в действительные члены Академии художеств тридцатилетний И. К. Айвазовский, ко-

торый всякий раз испытывал тягостное чувство при виде бедной обстановки в жилище знаменитого критика, а более всего при виде самого Виссарпона Григорьевича, исхудавшего, с впалыми щеками, горевшими нездоровым лихорадочным румянцем.

Встречаясь с петербургскими друзьями, Белинский охотно рассказывал о зарубежных впечатлениях, о недавних беседах с Анненковым, Тургеневым, Бакуниным, Герценом.

— У нас теперь главное — крестьянский вопрос,— сообщили в свою очередь друзья.— Все умы заняты этим.

— Да, я уже слышал за границей, что восемнадцатого мая император принял в Зимнем дворце депутатов смоленского дворянства и просил помочь в переводе крестьян из крепостных в обязанные. Видно, понимает, насколько лучше отдать добровольно, чем допустить, чтобы отняли снизу.

До Петербурга доходили слухи о поджогах усадеб, о массовых самовольных переселениях крепостных на новые земли. В 1847 году около 10 тысяч крестьян Белоруссии снялись со своих мест и с ружьями, топорами и косами двинулись к царю просить освобождения от помещиков. Не менее тревожные сообщения поступили из Сибири и других краев страны.

Николай I был крайне озабочен этими событиями и все чаще вспоминал слова, однажды сказанные ему покойным Бенкендорфом: «Крестьянское состояние есть пороховой погреб под государством».

Еще раньше, в 1835 году, император назначил секретный комитет, а затем и особое, V отделение канцелярии для рассмотрения вопроса о крепостном праве.

Несмотря на то что существование комитета держалось в строжайшей тайне, его работа обрастала фантастическими слухами. В народе говорили, что 16 апреля 1841 года, после бракосочетания наследника, государь станет с

дворцового балкона бросать билеты, в которых будет объявлена вольность крепостным.

На самом же деле план лидера антикрепостнического крыла в Государственном совете П. Д. Киселева, не простиравшийся до объявления свободы, был встречен резкими протестами крепостников. Не поддержал его и царь.

— Я никогда на это не решусь,— объявил он.— Если время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще очень далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства.

В результате вместо обширного проекта П. Д. Киселева 2 апреля 1842 года был принят указ об «обязанных крестьянах», по которому помещик при желании мог дать крестьянину участок земли, за что тот должен был выполнить определенные договором повинности.

Конечно, этот указ не внес существенных изменений в крепостническую систему: за время царствования Николая I из 10 миллионов крепостных крестьян только 24 тысячи были переведены в обязанные.

Волнения не прекращались, и правительство было вынуждено продолжить работу «крестьянских» комитетов.

В 1847 году шеф жандармов и главный начальник III отделения граф А. Ф. Орлов доносил императору об основном направлении русской общественной мысли: «В течение прошедшего года главным предметом рассуждения во всех обществах была непонятная уверенность, что вашему величеству непременно угодно дать полную свободу крепостным людям».

«...У нас не без новостей и даже не без признаков жизни,— писал Белинский в конце 1847 года Анненкову.— Движение это отразилось, хотя и робко, и в литературе. Проскальзывают там и сям то статьи, то статейки, очень осторожные и умеренные по тону, но понятные по содержанию.<...> Помещики наши проснулись и затолковали.

Видно по всему, что патриархально-сонный быт весь изжит и надо взять иную дорогу».

Но Белинский понимал, что и на этот раз крепостники будут сопротивляться даже самой умеренной реформе.

Не видя в то время никаких иных реальных путей к изменению существующих отношений, Белинский, как и многие другие передовые люди эпохи, уповал на реформу «сверху». Под впечатлением толков о ней он написал для первого номера «Современника» за 1848 год рецензию на «Сельское чтение, издаваемое князем В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким». Рецензия эта была лишь поводом для обсуждения злободневных проблем. Об освобождении крестьян «сверху» Белинский писал: «Вот истинное продолжение великого дела Петра».

Однако надежда на то, что Николай I действительно проведет крестьянскую реформу, очень скоро рухнула. Уже в середине февраля 1848 года Виссарион Григорьевич сообщил Анненкову, что дело об освобождении крестьян вперед не подвигается: в Государственном совете прошел закон, позволяющий крепостному крестьянину иметь собственность — если на это согласится его помещик...

После перерыва, вызванного поездкой на лечение за границу, Белинский горячо взялся за дела «Современника» и «в шесть дней намахал три с половиной печатных листа. И все это с отдыхами, с ленью, с потерею времени: иногда принимался не раньше 12 часов, а после обеда работал только три дня, и то от 7 до 9 часов, не более».

Его радовал литературный отдел.

— Повести у нас — объедение, роскошь, — говорил он.— Ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении, а русские повести с гоголевским направлением теперь дороже всего для русской публики, и этого не видят только уж вовсе слепые.

У Виссариона Григорьевича было много планов: он задумал новые статьи о Лермонтове, Гоголе, о произведе-

ниях русских писателей, изданных книгопродавцом Смирдиным; готовил очередной программный обзор — «Взгляд на русскую литературу 1847 года», в котором писал о крестьянских очерках Тургенева и повести Григоровича «Антон Горемыка», работал над разбором романа Герцена «Кто виноват?» и романа Гончарова «Обыкновенная история».

— Эти два романа,— отмечал он,— позволяют говорить о многом таком, что интересует сегодня русскую публику.

Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» со всей отчетливостью проявились революционно-демократические симпатии Белинского, с революционно-демократических позиций защищал он в этой статье и натуральную школу:

«„Что за охота наводнять литературу мужиками?” — восклицают аристократы известного разряда.<...> А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что?— Его душа, ум, сердце, страсти, склонности,— словом, все то же, что и в образованном человеке.<...> Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, и это нисколько не помешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает их; дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий...»

Литературные планы Белинского, как всегда, были обширными, но он понимал, что успех «Современника» в немалой мере зависит и от других сотрудников критико-библиографического отдела, и поэтому впал в настоящее отчаяние, когда 4 ноября 1847 года прочитал объявление о подписке на «Отечественные записки», в котором

среди участников журнала были названы имена его московских друзей: Боткина, Грановского, Кавелина, Кудрявцева, работавших для «Современника».

— Они как будто уговорились губить «Современник». Они поступают, как враги, — возмущался Белинский.

Волнуясь, он несколько дней потратил на письмо Боткину, которое заняло почти двадцать страниц.

«...Публика вправе была думать,— пенял он ему,— что настоящее направление «Отечественных записок» перейдет в «Современник», а в «Отечественных записках» останется только тень, призрак этого направления».

Действительно, публике было возвещено, что Белинский, Некрасов, Панаев, а с ними и московские авторы, все ведущие сотрудники «Отечественных записок», переходят в «Современник», и это в первый же год обеспечило обновленному «Современнику» более двух тысяч подписчиков, по тогдашним временам очень большое число. И вот накануне нового, 1848 года москвичи поддержали своим участием соперничающие с «Современником» «Отечественные записки». Правда, Белинскому удалось с помощью Некрасова привлечь в журнал С. С. Дудышкина, молодого способного критика, статьи которого он заметил в журнале Краевского, но это никак не возмещало морального ущерба, нанесенного друзьями. «...В Петербурге есть дельные молодые люди,— писал он Боткину,— они все не любят Краевского и любят нас. Стало быть, мы нашли там, где не искали и где не думали найти; но зато потеряли там, где не сомневались найти».

Вскоре стало очевидным, что дело было не только в несложившихся личных отношениях москвичей с Некрасовым, на что те ссылались, но и во все более обозначавшемся идейном размежевании в кружке Белинского. Впечатления и мысли, с которыми Виссарион Григорьевич вернулся из-за границы, еще более усугубили уже имевшиеся разногласия.

Поездка в Европу лицом к лицу столкнула Белинского с Западом, и он не нашел там того, что ожидал увидеть.

— Я чувствую себя как будто обманутым Европой. Словно она не сдержала тех обещаний, какие надавала втихомолку,— жаловался он Анненкову.— Я думал, что Европа далеко обогнала нас. А увидел страшные контрасты.

За границей Виссарион Григорьевич изнывал от тоски по России, и оттуда многое представлялось в другом свете. Встречавшиеся с ним соотечественники сразу замечали это. «Уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе»,— писал позднее Тургенев.

В Париже в присутствии Анненкова и Герцена Белинский часто возвращался к мысли о значении русского народа.

— Надо все же признать,— говорил он,— что хоть решения и выводы славянофилов неверны, самая задача их — выставить вперед народ, хотя бы и мечтательный,— правильна.

Такие мысли Белинский высказывал и до поездки за границу. «Русская личность пока — эмбрион,— писал он Боткину 8 марта 1847 года,— но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! <...> Русак пока еще действительно — ничего; но посмотри, как он требователен, не хочет того, не дивится этому, отрицает все, а между тем, чего-то хочет, к чему-то стремится. <...> Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания».

Встреча с Европой дала новый толчок его раздумьям о родине и народе.

В письме от 8 марта он еще предупреждает Боткина: «Не думай, чтобы я со всеми об этом говорил *так;* — нет,

в глазах наших квасных патриотов... витязей прошедшего и обожателей настоящего, я всегда останусь тем, чем они до сих пор считали меня».

Но после поездки в Европу Белинский приходит к выводу:

— Надо наконец разобрать и отделить дельное в учении славянофилов от всяких недельных и вредных наносов.

Способствовали этому намерению и те благоприятные впечатления, которые Виссарион Григорьевич получал при личном знакомстве и беседах с некоторыми представителями славянофильского лагеря. Еще 4 июля 1846 года он писал Герцену из Одессы о том, как порадовала его встреча в Калуге с Иваном Аксаковым: «Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!»

Много позднее Ф. М. Достоевский решительно воспротивился заявлениям, будто Белинский — проживи он дольше — непременно примкнул бы к славянофильству — именно так писал, например, Аполлон Григорьев в статье «Знаменитые европейские писатели перед судом нашей критики».

Вряд ли, конечно, Белинский примкнул бы к славянофилам — слишком многое в их взглядах было противоположно его убеждениям. Но несомненно, что знакомство с Европой внесло и в его западнические воззрения и в его отношение к славянофильству свои коррективы, которые ставили его отныне в особое положение среди друзей и среди врагов.

Вспоминая об этом времени, Анненков писал: «Белинский становился одиноким посреди собственной партии, несмотря на журнал, основанный во имя его, и первым симптомом выхода из ее рядов явилась у него утрата всех старых антипатий, за которые еще крепко дер-

жались его последователи, как за средство сообщать вид стойкости и энергии своим убеждениям».

Белинский решительно разорвал с либеральными традициями своего кружка, с категоричностью некоторых западнических выводов, но в отношении к реформе Петра он остался прежним. Поэтому, когда московские друзья стали упрекать его в славянофильстве, он писал Д. К. Кавелину, надеясь, что они поймут его новые искания: «Это не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с Вами едва ли расхожусь. Как и Вы, я люблю русского человека и верю великой будущности России. Но, как и Вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры, не употребляю их как неопровержимые доказательства.<...> Петр Великий имел бы больше, чем кто-нибудь, право презирать Россию, но он —

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

На этом и основывалась возможность успеха его реформы. Для меня Петр — моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезными».

Может быть, и западничество и славянофильство Белинский теперь ощущал как этапы, в какой-то мере уже пройденные русской общественной мыслью. Он все больше становился знаменем революционно-демократической литературы и журналистики, и это отдаляло его от московских друзей, предпочитавших «Современнику» либерально-западнические «Отечественные записки».

Боткин, Грановский, Корш, Кавелин не соглашались с антибуржуазными выпадами Белинского и Герцена, предвидевших судьбы капитализма. «Считать... взгляд Герцена неоспоримо ошибочным, даже не стоящим возражения,— не знаю, господа, может быть, вы и правы,

но я что-то слишком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости,— писал им Белинский.— Я не говорю, что взгляд Герцена безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми». Он открыто шел на этот трудный, но крайне принципиальный спор, хоть и понимал, что рискует остаться в одиночестве. Впоследствии Н. А. Некрасов писал об этом в поэме «В. Г. Белинский»:

Над ним уж тучи собирались,
Враги шумели, ополчались.
Но дикий вопль клеветника
Не помешал ему пока...
В нем силы пуще разгорались,
И между тем как перед ним
Его соратники редели,
Смирялись, пятились, немели,
Он шел один неколебим!..

Сознавать разъединенность с друзьями по важнейшим общественно-политическим вопросам Белинскому было тем более нестерпимо, что он продолжал обдумывать план переезда с семьей в Москву.

Несмотря на убеждение, что вся жизнь, вся деятельность его связана с «Современником», он ясно чувствовал, что в Петербургском климате долго не проживет. «Воротился я лучше, нежели как поехал, даже очень лучше,— сообщал он 10 декабря Д. П. Иванову,— но в Питере опять так простудился в начале октября, что легкие опять покрылись ранами, и доктор перепугался. Однако дело обошлось лучше, нежели можно было ожидать. Я скоро (недели через две) оправился, принялся за работу и теперь чувствую себя очень порядочно. Оно, конечно, я слаб, хил и плох, да дело в том, что уже нет никакого сравнения между теперешним моим состоянием и тем, в

котором, я был прошлого года в это время. Насчет переезда в Москву думать не перестаю; но смущает мысль, что до открытия железной дороги еще далеко. Посмотрю, как перенесу зиму и весну: коли плохо, то в июне в Москву на переселение».

Неподалеку от дома Галченкова, где жил Белинский, строился вокзал Николаевской железной дороги, которая должна была связать Петербург с Москвой. Это был пока лишь второй вокзал (первый — Царскосельский, ныне Витебский). Автором проекта был популярный в 40—50-х гг. XIX века архитектор К. А. Тон.

Строительство очень интересовало Виссариона Григорьевича, и он хаживал туда во время своих прогулок. Однажды, около трех часов дня, у Знаменской церкви, на месте которой теперь станция метро «Площадь Восстания», его встретил Ф. М. Достоевский.

— Я сюда часто хожу взглянуть, как идет постройка,— поведал ему Белинский.— Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Но петербургская зима 1847/48 года окончательно сломила здоровье Белинского, и ни воспользоваться новой дорогой, открытой в 1851 году, ни переехать в Москву испытанным способом на лошадях — по тракту — ему уже не пришлось...

«Я РАНО РОДИЛСЯ»

Он честно истине служил,
Он духом был смелей и чище.
Зато и раньше проложил
Себе дорогу на кладбище...

Н. А. НЕКРАСОВ



В начале января 1848 года здоровье Белинского резко ухудшилось. «Я, батюшка, болен уже шестую неделю,— писала под его диктовку Мария Васильевна 15 февраля в Париж Анненкову, — привязался ко мне проклятый грипп; мучит сухой и нервический кашель, по телу пробегает озноб, а голова и лицо в огне; истощение сил страшное — еле двигаюсь по комнате; 2 № «Современника» вышел без моей статьи, теперь диктую ее через силу для 3-го; вытерпел две мушки, а сколько переел разных аптечных гадостей — страшно сказать, а все толку нет до сих пор; вот уже недели две, как не ем ничего мясного, а ко всему другому потерял всякий аппетит. К довершению всего, выезжаю пользоваться воздухом в наморднике, который выдумал на мое горе какой-то черт англичанин, чтоб ему подавиться куском ростбифу. Это для того, чтоб на холоде дышать теплым воздухом через машинку, сделанную из золотой проволоки, а стоит эта вещь 25 серебром. Человек богатый, я — изволите видеть— и дышу через золото, и только по-прежнему в карманах не нахожу его».

Друзья навещали больного Белинского во флигеле на Лиговском канале, но прежние шумные собрания, споры, чтения уже не возникали. Когда болезнь надвинулась во всей своей неумолимой силе, в доме наступила тишина: друзья появлялись все реже и реже. Белинский встречал гостей, полулежа на диване в драповом халате, подбитом фланелью, с муслиновым шарфиком на шее, и часто лоб его бывал обвязан мокрым платком.

«Первым благом жизни, — писал П. В. Анненков, — становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчание домашнего быта, которые позволяли ему думать свои пламенные думы про себя, болеть сердцем без помехи».

Около 5 января в Петербург приехал В. П. Боткин и пробыл здесь более двух месяцев. Виссарион Григорьевич очень ждал его, но эти последние встречи с другом были невеселы.

В середине января, когда из редакции «Современника» принесли корректурные листы с повестью «Семейство Тальниковых» для «Иллюстрированного альманаха» — бесплатного приложения к журналу — и Белинский узнал от Некрасова, что автор этой повести Панаева, он собрался с силами и отправился к ней, чтобы высказать свои впечатления.

Войдя к Авдотье Яковлевне, он испугал ее своим видом и тем, что долго не мог отдышаться. Потом наконец объяснил свой визит:

— Я так рад за вас! Ведь вы напали на важный вопрос, которого никто еще в нашей литературе не касался. Отношение детей к их воспитателям и все безобразия, которые проделывают с бедными детьми, — это очень нужная тема. Но почему же вы молчали о том, что пишете? Если бы Некрасов не назвал вас, я ни за что не подумал бы, что автор «Тальниковых» — вы.

— Это почему же? — спросила Авдотья Яковлевна.

— Да уж такой у вас всегда вид: вечно в хозяйственных хлопотах.

— И еще, — смеясь, добавила она, — я думаю только об одних тряпках. Разве не так обо мне говорят?

— Увы, — согласился Виссарион Григорьевич, — и я, грешный, тоже так думал... Да плюньте вы на всех и пишите, пишите! Жалко, что вы раньше не начали писать.

Прощаясь, Белинский вспомнил, как он познакомился с Авдотьей Яковлевной, как поддразнивал ее, как вместе с ней и Панаевым ехал в 1839 году в Петербург.

Это был один из последних выходов Виссариона Григорьевича из дома.

Работать ему стало совсем трудно, но даже в четвертой, апрельской книжке «Современника» за 1848 год был опубликован написанный им некролог любимого актера П. С. Мочалова, умершего 16 марта. За литературными и общественными новостями Белинский еще старался следить и откликался на них, если не пером, то душою.

...Масленица 1848 года началась в Петербурге на редкость удачно. Февраль был теплый и солнечный. На площадях, у балаганов, качелей, в уличных кондитерских было полным-полно народу. Но больной Белинский не смог порадовать свою маленькую дочь масленичными развлечениями.

В воскресенье 22 февраля, в конце масленой недели, цесаревич давал в Зимнем дворце бал. Как всегда, было много военных. В пять часов в зал стремительно вошел император, держа в руке депешу из Парижа.

— Седлайте ваших коней, господа. Во Франции — республика. Луи Филипп бежал.

Сказав это, Николай I проследовал в кабинет сына. Самодержец всея Руси откровенно злорадствовал, узнав о падении июльской монархии.

— Этот негодяй потерял власть так же, как ее полу-

чил, — говорил он наследнику, намекая на июльскую революцию 1830 года, в результате которой крупная буржуазия ликвидировала режим Реставрации и возвела на престол своего ставленника — Луи Филиппа.

Но Николай I не скрывал и своей озабоченности: что, если результатом и неизбежным следствием новой французской революции будет война и — самое страшное — внутренняя смута в России?

14 марта он собственноручно написал манифест, в котором призвал все население России подняться «за веру, царя и отечество», чтобы защищать «неприкосновенность пределов». А уже 19 марта по его приказу началось продвижение войск к западной границе России.

О том, что в Париже восстание, Белинский узнал утром 25 февраля, пробегая глазами «Северную пчелу». Он долго не мог успокоиться, горько пенял своим друзьям, которые при встрече в Париже словом не обмолвились о назревавшем политическом перевороте.

— Ведь они специально изучали общественное положение Франции! — возмущался он. — Изучали и прозевали самое главное, настоящее дело эпохи!

В эти дни в Петербург приехал К. Д. Кавелин. Он навестил Белинского. Зашла речь о событиях во Франции, о Боткине, недавно вернувшемся из поездки в Западную Европу.

— Вот — Василий Петрович, — досадовал Белинский, — съездил в Европу и познакомился с ней, как скиф: заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей.

В комнате Виссариона Григорьевича всюду были развешены и разложены географические карты, лежали кипы книг, сообщения из Франции, черновики начатых статей и неоконченные письма. Его особенно занимала мысль о влиянии переворотов на другие государства, он много думал об этом.

Кавелин видел, как трудно было говорить больному из-за приступов кашля и удушья. И гость торопился заполнить паузы рассказами о новостях.

— Вы слышали, Виссарион Григорьевич, о вооружении Петропавловской крепости?

— Ну как же, это они боятся, чтобы я ее не взял.

Он шутил, и — ни звука о болезни, ни единой жалобы на одолевшее семью безденежье. А нужда была такая, что Мария Васильевна уже несколько месяцев не могла заплатить за квартиру и прислуге; пришлось продать рубашки голландского полотна, привезенные Белинским из-за границы...

23 февраля, на следующий день после бала в Зимнем дворце, статс-секретарь барон М. А. Корф, мечтавший занять место Уварова в министерстве народного просвещения, подал цесаревичу донос на петербургские журналы «Современник» и «Отечественные записки». «Оба журнала,— писал он,— пользуясь малоразумением тогдашней цензуры, позволяли себе печатать бог знает что и по проповедуемым ими — под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами — коммунистическим идеям могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия...» Цесаревич сообщил о доносе отцу. Николай I отнесся к поступившим предостережениям с военной оперативностью, уже 27 февраля учредив под председательством управляющего морским министерством князя А. С. Меншикова особый цензурный комитет, в который ввел бывшего министра внутренних дел графа А. Г. Строганова, директора Публичной библиотеки Д. П. Бутурлина и барона Корфа. Несколько позднее к ним были присоединены статс-секретарь П. И. Дегай и начальник штаба корпуса жандармов генерал Л. В. Дубельт. Считая, что в работе цензурного комитета и III отделения есть сходство не только в задачах, но и в мерах воздействия, Николай I еще раньше ввел Дубельта (а до

него Бенкендорфа, умершего в 1844 году) в Главное управление цензуры.

...поднялась тогда тревога
в Париже буйном — и у нас
По-своему отозвалась...
Скрутили бедную цензуру —
Послушав наконец клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет, —

писал Н. А. Некрасов в поэме «В. Г. Белинский».

11 марта по личному требованию императора в зале Адмиралтейского совета было созвано заседание нового комитета, на которое пригласили редакторов петербургских журналов.

— Нельзя допускать никакого либеральничанья в газетах и журналах,— говорил князь Меншиков, почти слово в слово повторяя наказ Николая.— Теперь за напечатание либеральных и коммунистических статей вы, редакторы, будете подвергаться личному взысканию, независимо от ответственности цензуры.

Приглашенные подавленно молчали.

2 апреля временный цензурный комитет был заменен постоянным.

— Так как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы,— сказал Николай I вызванным членам комитета Бутурлину, Корфу и Дегаю,— то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виновными.

Начались годы цензурного террора, «страшное семилетие» (1848—1855). «Панический страх овладел умами, — писал А. В. Никитенко в своем дневнике. — Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких

наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникли в публику. «Отечественные записки» и «Современник», как водится, поставлены были во главе виновников распространения этих идей. Министр народного просвещения не был приглашен в заседание комитета; ни от кого не требовали объяснений; никому не дали знать, в чем его обвиняют, а между тем обвинения были тяжелые. Ужас овладел всеми мыслящими и ищущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей».

Для Виссариона Григорьевича эти тревоги начались еще до образования особого комитета. 20 февраля он получил от М. М. Попова, бывшего некогда его учителем в Пензенской гимназии, а теперь — помощника Дубельта, приглашение, составленное в самой любезной форме: «Леонтий Васильевич Дубельт желал бы познакомиться с вами и просит вас, милостивый государь, Виссарион Григорьевич, пожаловать к нему утром в свободный для вас день, от 12 до 2 часов, в III отделение Собственной его величества канцелярии. Мне тем приятнее исполнить поручение моего начальника, что при этом и я буду иметь удовольствие повидаться с вами».

Нахлынувшие опасения привели Белинского в еще более тяжкое физическое состояние, так что сам он уж никак не мог явиться в кочубеевский дом на Фонтанку к Дубельту. Пришлось через посыльного передать ответное письмо, которое, однако, почему-то не дошло до Попова.

Ожидая обыска и даже ареста, Виссарион Григорьевич лихорадочно пересмотрел бумаги и уничтожил то, что могло быть опасно для него и его корреспондентов.

Тучи над головой Белинского продолжали сгущаться. В III отделение поступил анонимный донос на «Отечест-

венные записки» и «Современник», в котором упоминалось и его имя. «Нет сомнения, что Белинский и его последователи пишут таким образом только для того,— утверждал автор,— чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим».

Воспользовался ситуацией и заинтересованный в походе против «Отечественных записок» и «Современника» издатель «Северной пчелы» Булгарин. Стремясь любыми средствами сокрушить своих конкурентов и идейных противников, он представил Дубельту секретную записку о распространении некоторыми органами периодической печати идей коммунизма. Эта записка, по существу, явилась прямым продолжением уже поступившего анонимного доноса: ее автор предлагал конкретный план действий — Краевского и Никитенко лишить редакторских прав, а «Отечественные записки» и «Современник» немедленно закрыть. «Это даст острастку всем писакам и всей шайке коммунистической... <...> Пока будут действовать Краевский, Никитенко и Белинский, в литературе чумы не истребят».

Никитенко как редактор «Современника» получил от председателя цензурного комитета специальный запрос об авторе статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года», которая привлекла внимание министра народного просвещения тем, что призывала писателей заниматься исключительно социальными вопросами жизни и в этом видеть свой долг и цель. Никитенко ответил, что статью эту писал Белинский. На заседании комитета под председательством князя Меншикова также было обращено особое внимание на эту статью и на толкование в ней слова «прогресс». Протокол заседания был представлен Николаю I.

Получив несколько доносов и предостережений, граф Орлов прекрасно понял, против кого необходимо применять власть, и чем скорее — тем лучше: в составленном им докладе на высочайшее имя говорилось не столько о журналах «Современник» и «Отечественные записки», сколько о вреде, который принесло этим журналам сотрудничество Белинского. «Издатель «Современника» проф. Никитенко,— сообщал Орлов,— сам по себе есть человек благонамеренный и разумный в суждениях; равно из перешедших к нему от «Отечественных записок» Панаев и Некрасов, из которых первый пишет только повести, а второй стихи, не имеют важного влияния на дух журнала, особенный же характер новой нашей журналистике придает Белинский».

Шеф жандармов отмечал «грубый тон» и «резкость суждений» Белинского, а также то, что, используя новые иностранные слова — принципы, прогресс, гуманность и т. п.,— Белинский и другие литераторы натуральной школы «портят» русский язык. Но, конечно, больше всего Орлов был обеспокоен тем, что статьи Белинского «могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизма».

Обратив внимание императора на то, что после «отпадения» этого крамольного критика «Отечественные записки» стали гораздо «умереннее в нравственном отношении», Орлов предлагал и в дальнейшем для блага «Современника» и общественного спокойствия подвергать статьи Белинского наистрожайшему просмотру цензоров, чтобы его мнение лишить значения.

Уже 21 марта в беседе с депутатами петербургского дворянства Николай I заявил:

— Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против помещиков и вообще неблаговидные, но я принял меры и этого впредь не будет.

Через неделю, 27 марта, в III отделении было начато дознание об авторе «безыменного письма с возмутительными предсказаниями насчет будущего в России». И хотя не было никаких доказательств того, что это письмо принадлежит перу Белинского, о нем снова вспомнили, и на другой день М. М. Попов послал вторичное приглашение в столь же доброжелательном тоне, как и месяц тому назад, прося Белинского не опасаться никаких репрессий. «Вы как литератор пользуетесь известностью, об вас часто говорят, очень естественно, что управляющий III Отделением и член цензурного комитета желает узнать вас лично и даже сблизиться с вами».

Но и на этот раз больной Белинский не смог явиться в III отделение.

Когда посланный за ним жандарм, очевидно желая удостовериться в болезни Белинского, заглянул в его комнату, Виссарион Григорьевич, задыхаясь от волнения и слабости, попросил навестившего его Н. Н. Тютчева лично отвезти на Фонтанку ответ и переговорить с Поповым.

Явившись туда, Тютчев поведал помощнику Дубельта, в каком тяжелом состоянии находится Белинский. Попов посочувствовал, вспомнил об ученических годах критика и вновь просил ему объяснить, что он «вызывался не по какому-либо частному делу или обвинению, но как один из замечательных деятелей на поприще русской литературы, единственно для того, чтобы лично познакомиться с Леонтием Васильевичем Дубельтом, хозяином русской литературы».

Попов не сказал, что в его задачи входило не только устроить встречу Белинского с управляющим III отделением, но и получить собственноручный ответ Виссариона Григорьевича, чтобы сличить его почерк с почерком, которым было написано «безыменное письмо с возмутительными предсказаниями насчет будущего в России». Это сличение почерков показало, что привлечь Белинского к

дознанию по делу о «безыменном письме» нет оснований, о чем Попов тотчас же сообщил Дубельту, приложив к своему донесению ответ Белинского.

Одновременно с Белинским в III отделение был вызван и Некрасов, также подозревавшийся в причастности к «безыменному письму», и хотя за неимением доказательств он был отпущен, но и в его дом вошла тревога.

...После сырого и холодного апреля наступили теплые майские дни, и во двор под деревья стали выносить диван, чтобы Белинский мог лежать на свежем воздухе. Но переменчива весна в Петербурге. 11-го числа полчаса бушевал шквальный ветер. Быстро поднявшаяся вода затопила несколько судов с грузом и повредила Елагин мост. С крыш домов сорвало около 2000 железных листов. По улицам неслись подхваченные ураганом заборы, будки, трубы, сараи, карнизы. Более 400 старых деревьев вырвало с корнем или изувечило. Пушка Петропавловской крепости подавала сигнал бедствия, но он был едва слышен даже в ближних районах из-за треска и грохота, которые поднял налетевший ветер.

Резкая перемена погоды после урагана, похолодание плохо сказались на состоянии Виссариона Григорьевича.

Через несколько дней, когда снова потеплело, Панаев пришел навестить своего друга. Его сердце сжалось при виде Белинского, которого он застал у дома, в тени деревьев, на старом диване. Задыхающийся Белинский протянул ему руку, покрытую холодным потом, и сказал:

— Плохо мне, плохо, Панаев!

Иван Иванович пытался как-то развлечь его, но Белинский прервал:

— Полноте говорить вздор, — и, тяжело дыша, отвернулся. Панаев заговаривал с ним то об издательских делах, то об общих знакомых, но разговор не клеился.

Парадная дверь не запиралась: Мария Васильевна выходила к мужу то с водой, то с лекарствами. Однажды, вернувшись от больного в комнату, она увидела там высокого солдата и заметила, что со стола исчезла серебряная ложка, которую солдат после ее вопроса тотчас отдал, но об этом каким-то образом стало известно в штабе расположенной поблизости воинской части. Вечером оттуда явился генерал и стал расспрашивать, узнают ли хозяева своего непрошеного гостя, если перед ними выстроят солдат. Белинский уже был в комнате и слышал разговор. Он впился в жену и свояченицу лихорадочно горевшими глазами и облегченно вздохнул, когда обе ответили, что не запомнили солдата.

— У меня отлегло от сердца,— сказал Виссарион Григорьевич после ухода генерала.— Ведь знаете ли вы, что бы с ним сделали!

Около 20-го числа Белинскому стало вдруг немного лучше, и он затеял с дочкой игру в «медведя», отогнул обшлага халата и стал рычать, наступая на маленькую Олю. Она испугалась и спряталась под стол, куда тотчас отправился за ней и отец. Но тут ему стало плохо, он закашлялся. Случился тяжкий приступ удушья.

25 мая Виссарион Григорьевич был очень тих. Утомленная Мария Васильевна уснула: последние дни она почти не отходила от мужа. У постели больного осталась ее сестра.

Виссариона Григорьевича мучила жажда, потом начался бред. Несмотря на это, он еще узнал приехавшего из Москвы Грановского.

— Прощай, брат Грановский, умираю,— еле выговорил он, протягивая ему руку для пожатия.

Когда стемнело, в квартиру явились жандармский офицер и несколько нижних чинов с распоряжением об аресте Белинского. Умирающий был в беспамятстве, ему показалось, что перед ним народ, и, приподнявшись в

постели, спеша и задыхаясь, он стал говорить о гении, о честности... Молчание присутствующих он воспринял как глухоту народа к его мыслям.

— Машенька! Они не понимают меня! — проговорил он несколько раз с отчаянием.

В тот же день Дубельт донес графу Орлову, что известный сочинитель Белинский не может быть арестован, так как «над ним совершается суд божий».

Белинский умер 26 мая в шестом часу утра, не дожив трех дней до своего тридцатисемилетия.

— Великое горе свершилось,— сказал, узнав об этом, Достоевский.

И как прав был Тургенев, когда писал: «Да! Он умер кстати и вовремя! Перед смертью <...> он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив!»

— Мы бы его сгноили в крепости,— сказал, узнав о смерти Белинского, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением генерал-лейтенант Дубельт.

На следующий день после смерти Виссариона Григорьевича, 27 мая, Т. Н. Грановский писал из Петербурга жене: «Белинский умер вчера. Сейчас отправляюсь к Тютчеву, где сговоримся, как похоронить его и что на первый случай сделать для его семейства. Он не оставил по себе ни гроша буквально. Горько и страшно подумать об этой участи. Мы дали свои деньги на погребенье. Скажи московским друзьям, чтобы они готовили деньги. Вдове и детям Белинского нельзя же просить подаяния».

Белинского хоронили на ближайшем к его последней квартире Волковом кладбище, существовавшем с середины XVIII века и предназначавшемся для бедноты. Здесь хоронили жертв частых холерных и других эпидемий, сю-

да привозили людей «низшего звания», умерших в Мариинской, Обуховской, Калинкинской больницах.

К этому неблагоустроенному и порою затопляемому кладбищу 29 мая потянулась небольшая, бедная похоронная процессия. Позади тех, кто пришел проводить Белинского, тащились две четырехместные извозчичьи колымаги. В какой-то момент к процессии присоединилось несколько неизвестных, которые оставались на кладбище до самого конца погребения, следя за всем и прислушиваясь. Но они ничего не услышали: над могилой Белинского, в которой уже начала проступать вода́, не было речей.

Не появились и некрологи в петербургских газетах.

Замучен жизнью трудовой
И постоянной нищетой,
Он умер... Помянуть печатно
Его не смели... —

писал Некрасов в поэме «В. Г. Белинский».

Как вспоминал позднее М. Антонович, современники «с ужасом отскочили бы от человека, который отважился бы тогда открыто чествовать его, живого или мертвого».

После смерти Белинского семья его осталась без всяких средств к существованию. Даже траур было не на что купить, и Мария Васильевна выкрасила в черный цвет старое шелковое платье. На 5 мая Белинский был должен «Современнику» около 6000 рублей ассигнациями, и вдова могла рассчитывать только на помощь друзей, которые и содержали семью до самого отъезда в Москву.

Через несколько дней после похорон Белинского Н. Н. Тютчев отправился было в III отделение к Попову за разрешением разыграть в лотерею библиотеку Белинского в пользу его осиротевшего семейства. Помощник Дубельта выразил сожаление о кончине критика, но лотерею запретил.

— Милостивый государь, просить о чем-то для семьи Белинского все равно что просить о лотерее в пользу семейства государственного преступника Рылеева.

Передовым людям России, понимавшим, сколько Белинский сделал для развития общественной мысли, такое сравнение говорило многое. Некрасов в «Медвежьей охоте» писал:

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя покорно,
Твой ум кипел — и новые стези
Прокладывал, работая упорно.

Ты не гнушался никаким трудом:
«Чернорабочий я — не белоручка!» —
Говаривал ты нам — и напролом
Шел к истине, великий самоучка!

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Недаром ты, мужая по часам,
На взгляд глупцов казался переменчив,
Но, пред врагом заносчив и упрям,
С друзьями был ты кроток и застенчив.

Не думал ты, что стóишь ты венца,
И разум твой горел, не угасая,
Самим собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя —

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя...

Деньги, собранные друзьями Белинского для его осиротевшей семьи, быстро таяли. Мария Васильевна ждала рождения ребенка и только в конце ноября, списавшись с начальницей Александровского института, могла отправиться в Москву с двумя дочерьми, старшей Ольгой и новорожденной Верой, получив место кастелянши с жалованьем 11 рублей в месяц. Переехала в Москву и Агриппина Васильевна. Когда она получила место классной дамы с окладом 25 рублей, сестрам стало жить несколько легче.

По поручению М. В. Белинской родственник Виссариона Григорьевича Д. П. Иванов через несколько лет поставил на его могиле простой памятник, который был заменен новым, из черного гранита, лишь в 1866 году.

В рукописном отделении Института русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде хранится «Книга для записей добровольных пожертвований на сооружение В. Г. Белинскому надгробного памятника, предпринятого женою покойного, под распоряжением К. Т. Солдатенкова и В. И. Касаткина». На первых страницах — 33 подписи ученых, писателей, журналистов и даже типографских рабочих. Среди них — подписи П. В. Анненкова, Н. А. Добролюбова, С. С. Дудышкина, П. А. Ефремова, К Д. Кавелина, А. А. Краевского, Н. А. Некрасова, П. П. Пекарского, А. Н. Пыпина, Н. Г. Чернышевского, Н. Ф. Щербины и др.

Вокруг могилы Белинского образовалась часть кладбища, получившая впоследствии название — Литераторские мостки. За три года до смерти В. Г. Белинского тут был похоронен его приятель литератор А. Я. Кульчицкий, а в 1846 году — журналист Н. А. Полевой. В 1861 году в ноябре умер Н. А. Добролюбов. Он завещал похоронить себя рядом с могилой Белинского, которого считал своим учителем. В 1868 году тут же положили Д. И. Писарева.

Выразил желание быть похороненным рядом с Белинским и И. С. Тургенев. И это чуть было не обернулось необходимостью вскрывать могилу и тревожить прах критика. Дело в том, что комиссия по похоронам не сочла удобным происходившего из старинного дворянского рода Тургенева предавать земле в той убогой части кладбища, где лежал Белинский. Для могилы писателя было выбрано место около церкви, туда же было решено перенести гроб Белинского.

Но против этого выступили вдова Белинского, некоторые видные общественные деятели, ученые, среди них А. Н. Пыпин, М. А. Антонович и другие. М. В. Белинская обратилась с письмом в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Вот что она писала: «...умоляю Вас употребить все зависящие от Вас средства, чтоб воспрепятствовать подобному решению, как святотатству, и неужели же и по смерти не оставят в покое того, кто всю жизнь был мучеником? Неужели же, чтоб чествовать одного, необходимо оскорблять другого?

Если И. С. Тургенев желал быть похороненным возле приятеля своего Белинского, то и пусть исполняют желание его буквально. Тургенев не хотел и не требовал, чтоб тревожили прах его друга...»

Похоронная комиссия была вынуждена пойти на компромисс: Тургенева предали земле на дворянской части кладбища, но, чтобы приблизить его могилу к могиле Белинского, в промежутке между ними купили место на десять могил, дабы впредь оно не занималось.

В 1918 году на Литераторских мостках был похоронен Г. В. Плеханов. Он тоже просил, чтобы его похоронили рядом с могилой «Неистового Виссариона».

Только в конце 50-х годов было наконец более или менее обеспечено материальное положение семьи Белинского, для которой А. Д. Галахов выхлопотал в 1859 году

от комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым ежегодную пенсию в 600 рублей.

До конца царствования Николая I не могло быть и речи об издании собрания сочинений Белинского. Даже упоминание имени великого критика в печати долгое время запрещалось цензурой. Но в 1859—1862 годах, при участии того же А. Д. Галахова, было издано первое Собрание сочинений Белинского в 12-ти томах под редакцией Н. Х. Кетчера, М. К. Солдатенкова и Н. М. Щепкина. Это и последующие издания дали Марии Васильевне возможность в 1862 году отказаться от половины пенсии.

В 1900 году в Петербурге под редакцией профессора университета С. А. Венгерова начало выходить первое Полное собрание сочинений Белинского. К 1917 году вышло одиннадцать томов, 12 и 13 тома были подготовлены профессором В. С. Спиридоновым и изданы в 1926 и 1948 годах.

10 декабря 1947 года Совет Министров СССР вынес постановление об издании академического Полного собрания сочинений В. Г. Белинского в 13-ти томах, которое было осуществлено в 1953—1959 годах в Ленинграде Институтом русской литературы (Пушкинским домом) Академии наук СССР. В настоящее время издательство «Художественная литература» выпускает Собрание сочинений В. Г. Белинского в 9-ти томах.

В Ленинграде в Институте русской литературы и в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина бережно хранятся рукописи и письма Белинского. К стене дома у Аничкова моста прикреплена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь с ноября 1842-го по сентябрь 1846 года жил Белинский. Бывшая Симеоновская улица и Симеоновский мост, по которым Виссарион Григорьевич так часто ходил в редакцию «Отечественных записок», а затем «Современника», ныне носят его имя. Имя Белинского присвоено

также библиотеке, находящейся в Калининском районе в доме № 83/1 по Кондратьевскому проспекту.

Ленинградцы, как и весь советский народ, чтят память великого русского критика, первого революционера-демократа, жизнь которого была подвигом во имя родного народа.

«Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею действительностью, носил в душе своей идеал лучшего существования, жил и дышал одною мыслию — споспешествовать, по мере данных ему природою средств, осуществлению на земле идеала...» Так писал Белинский. И так сегодня с гордостью и благодарностью мы говорим о нем.

АДРЕСА В. Г. БЕЛИНСКОГО В ПЕТЕРБУРГЕ

Время проживания	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Октябрь — ноябрь 1839 г.	Грязная ул., 63, дом архитектора Е. А. Диммерта (у И. И. Панаева)	Ул. Марата, участок дома № 70б	Не сохранился
Декабрь 1839 г.	Галерная ул., 25	Красная ул., 25	Сохранился
Январь 1840 г.	Большой пр. Петербургской стороны	Большой пр. Петроградской стороны	Не сохранился
Февраль — май 1840 г.	Моховая ул., 14, дом Горбуновой (у П. Ф. Заикина)	Моховая ул., участок дома № 11	Не сохранился
Май — 7 ноября 1840 г.	Васильевский остров, угол Малого пр. и 6-й линии, 10/54, дом Алексеева	Васильевский остров, угол Малого пр. и 6-й линии, 15б/53	Сохранился, надстроен

Время проживания	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
7 ноября 1840 г. — май 1841 г.	Васильевский остров, 2-я линия, 4, кв. № 7, дом Бема, флигель во дворе	Васильевский остров, 2-я линия, участок дома № 3	Не сохранился
1 июня 1841 г. — ноябрь 1842 г.	Семеновский полк, Госпитальная ул., 17, на углу Среднего пр., дом Бутаровой	Угол Бронницкой ул. и Клинского пр. 18/22	Сохранился, надстроен
Ноябрь 1842 г. — апрель 1846 г.	Невский пр., 71 (Фонтанка, 41), дом Лопатина, поочередно квартиры № 55, 47, 43	Невский пр., 68 (Фонтанка, 40)	Сохранился
Октябрь 1846 г. — май 1847 г.	Набережная реки Фонтанки, 14, дом Федорова	Набережная реки Фонтанки, 17	Сохранился, надстроен
Сентябрь — октябрь 1847 г.	Знаменская ул.	Ул. Восстания	Не установлен
Октябрь 1847 г. — май 1848 г.	Лиговский канал, 73, дом Галченкова, флигель во дворе	Лиговский пр., участок дома № 44	Не сохранился

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., «Художественная литература», 1976.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.

В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., «Художественная литература», 1977.

В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., Гос. б-ка СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей. 1948.

Белинский и современность. М., «Наука», 1964.

Березина В. Г. Белинский и вопросы истории русской журналистики. Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1973.

Бурсов Б. И. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., Гослитиздат, 1953.

«Венок Белинскому». Новые страницы Белинского, речи, исследования, материалы. М., «Новая Москва», 1924.

Литературные памятные места Ленинграда. Изд. 2-е. Л., Лениздат, 1976.

Т. Н. Грановский и его переписка. В 2-х томах. М., 1897.

Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., изд. ЛГПИ имени А. И. Герцена, 1973.

Кийко Е. И. В. Г. Белинский. Очерк литературно-критической деятельности. М., «Просвещение», 1972.

Кузнецов Ф. «Куда клонится равнодействующая?» — «Вопросы литературы», 1974, № 2.

Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., Изд-во Московского ун-та, 1958.

Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., «Просвещение», 1965.

Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., «Художественная литература», 1976.

Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. по подлинным делам III Отделения собственной его императорского величества канцелярии. Изд. 2-е. СПб., 1909.

Лента Белинского. Сборник в пользу голодающих. М., 1892.

Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., Гослитиздат, 1958.

Литературное наследство, т. 55. М., Изд-во АН СССР, 1948.

Литературное наследство, т. 56. М., Изд-во АН СССР, 1950.

Литературное наследство, т. 57. М., Изд-во АН СССР, 1951.

Майков В. Н. Сочинения в 2-х томах. Киев, 1901.

Машинский С. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Изд. 2-е. М., «Художественная литература», 1973.

Мезенцев П. А. Белинский. Проблемы идейного развития и творческого наследия. М., «Советский писатель», 1957.

Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М.—Л., Гослитиздат, 1950.

Мороховец Е. Крестьянские движения 1827—1869 гг. Вып. 1. М., Центр. архив, 1931.

Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836—1841. М., Изд-во АН СССР, 1941.

Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848. М., «Наука», 1967.

Никитенко А. В. Дневник в 3-х томах. Т. 1. М.—Л., Гослитиздат, 1955.

Петров А. Н., Борисова Е. А., Науменко А. П., Повелихина А. В. Памятники архитектуры Ленинграда. Изд. 3-е. Л., Изд-во литературы по строительству, 1972.

Плеханов Г. В. Литература и эстетика. В 2-х томах. М., Гослитиздат, 1958.

Поляков М. Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха. М., Гослитиздат, 1960.

Пыпин А. Н. Белинский. Его жизнь и переписка. Изд. 2-е. СПб., 1908.

Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., Лениздат, 1957.

Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Изд. 2-е. Л., «Советский писатель», 1975.

Скатов Н. Некрасов. Современники и продолжатели. Очерки. Л., «Советский писатель», 1973.

Соболев П. В. Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Курс лекций. Ч. 1. Л., изд. ЛГПИ имени А. И. Герцена, 1972.

Янковский Ю. З. Из истории русской общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия. Спецкурс по русской литературе. Киев, изд. Киевского гос. пед. ин-та имени А. М. Горького, 1972.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виктор Андроникович Мануйлов,
Галина Петровна Семенова

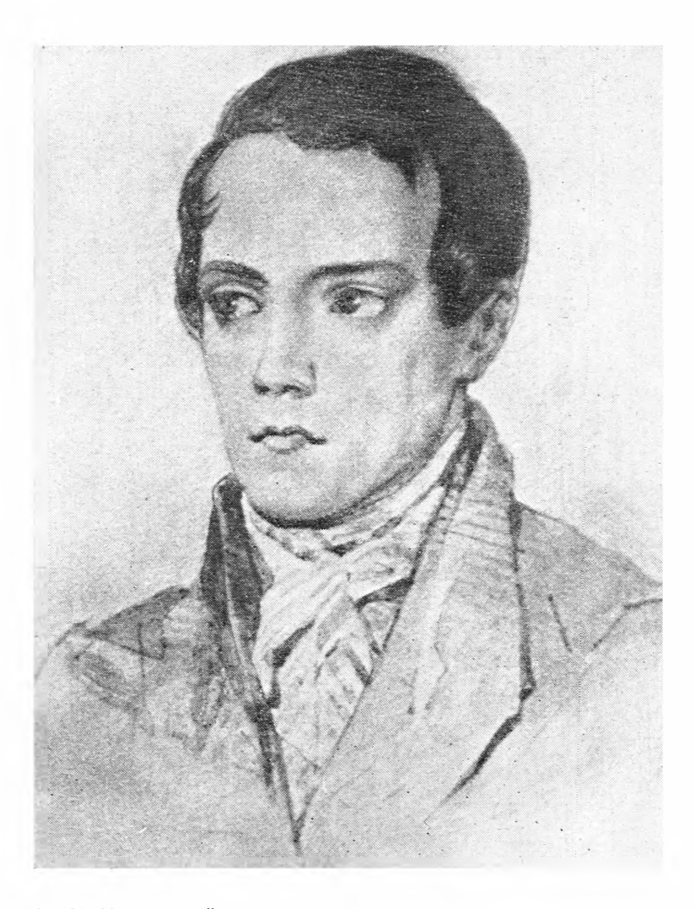
БЕЛИНСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Редактор М. И. БЕЛОУСОВА
Художник А. В. СЕРГЕЕВ
Художественный редактор Н. Н. ГУЛЬКОВСКИЙ
Технический редактор А. В. СЕМЕНОВА
Корректор Н. Б. АБАЛАКОВА

ИБ № 1129

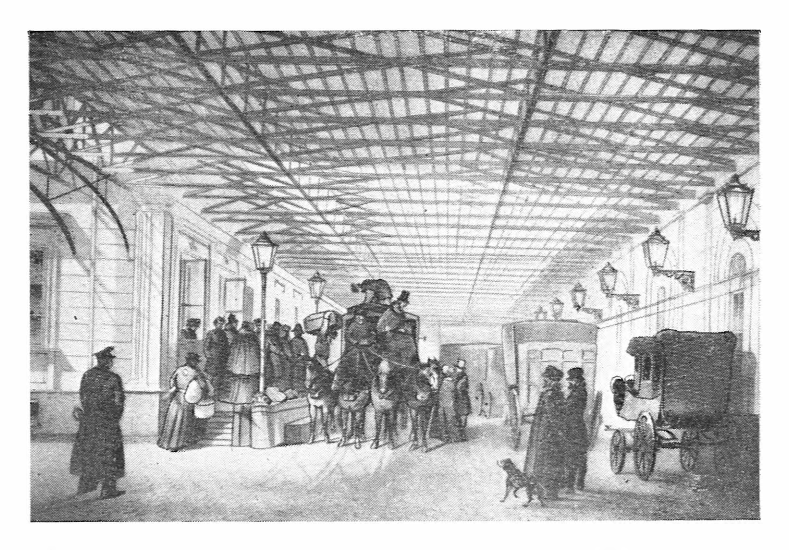
Сдано в набор 22.03.79. Подписано к печати 9.10.79. М-20215. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. обыкн. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,70+вкл. Уч.-изд. л. 14,73+1,68=16,41. Тираж 50 000 экз. Заказ № 55. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57



В. Г. Белинский.
Акварель К. Горбунова. 1838 г.

4 Зак. № 55



Вокзал дилижансов в Петербурге на Большой Морской.
Литография. Середина XIX в.



Н. В. Станкевич.
Литография. 1830-е гг.



Н. И. Надеждин.
Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1841 г.



М. А. Бакунин.
Акварель неизвестного художника. 1838 г.



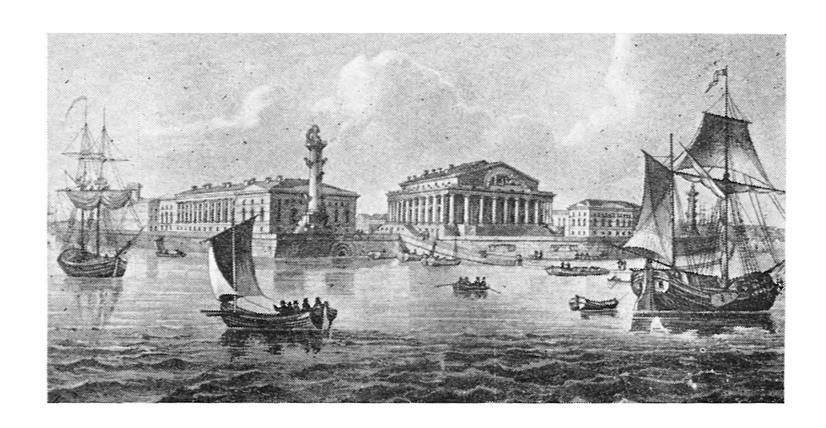
А. Я. Панаева.
Акварель неизвестного художника. 1840-е гг.



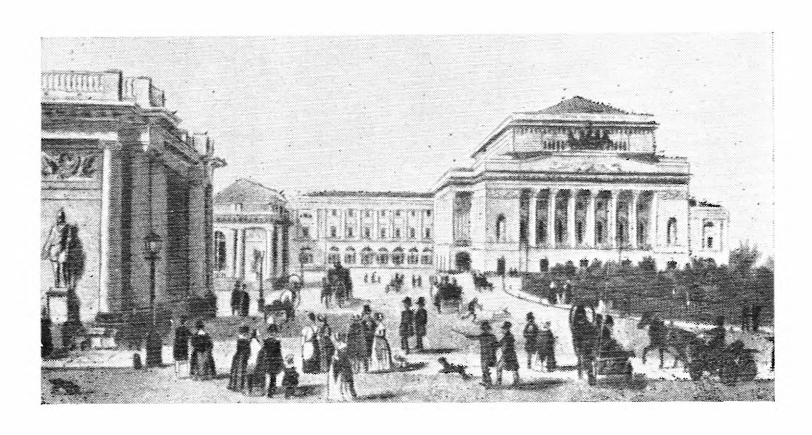
И. И. Панаев.
Фотография. Середина XIX в.



Дом № 20 по Невскому проспекту.
Фотография. 1978 г.
Здесь, в бывшем доме Голландской церкви, помещалась редакция журнала «Отечественные записки».



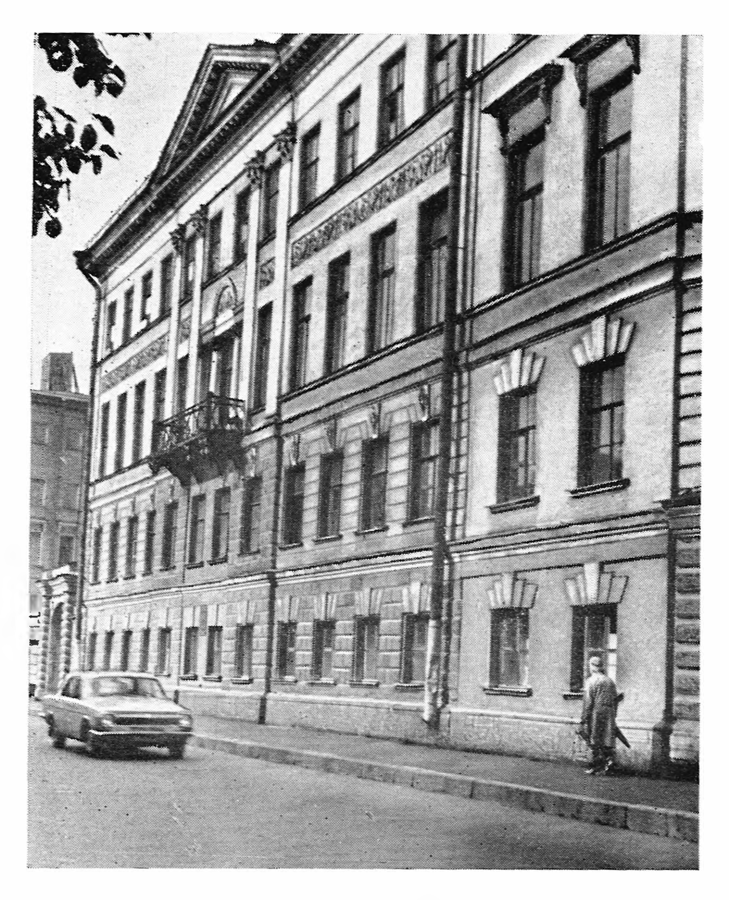
Стрелка Васильевского острова. Порт.
Литография. 1820-е гг.



У Александринского театра.
Литография Ф. Шевалье. 30-е гг. XIX в.



В. Ф. Одоевский.
Литография К. Моля по рисунку К. Горбунова. 1840-е гг.



Дом № 35 по набережной Фонтанки, где жил В. Ф. Одоевский.
Фотография. 1978 г.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ

ЗАПИСКИ,

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АНДРЕЕМЪ КРАЕВСКИМЪ.

НА 1843 ГОДЪ.

Beatae plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem.
Gersonius.

ТОМЪ XXVIII.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ К. ЖЕРНАКОВА.

1843.

«Отечественные записки», т. XXVIII. 1843 г. Титульный лист.

СОЧИНЕНІЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. *Санктпетербургъ. Одиннадцать томовъ.* ***MDCCCXXXVIII — MDCCCXLI.***

Статья первая.

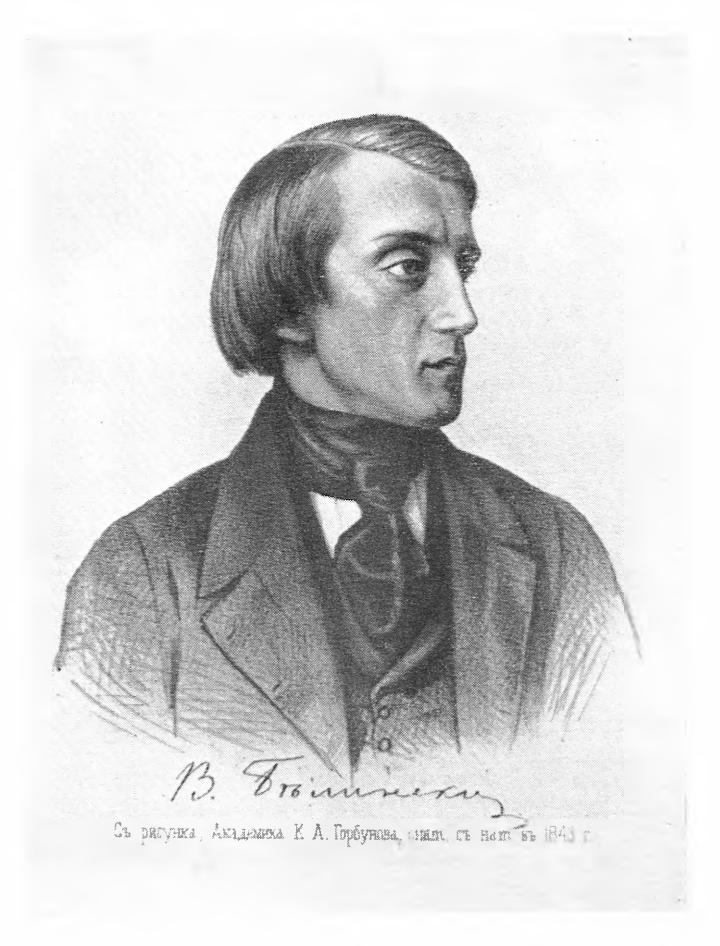
—

Обозрѣніе русской литературы отъ Державина до Пушкина.

Давно уже обѣщали мы полный разборъ сочиненій Пушкина: предлагаемая статья есть начало выполненія нашего обѣщанія, замедлившагося по причинамъ, изложеніе которыхъ не будетъ здѣсь излишнимъ. Всѣмъ извѣстно, что восемь томовъ сочиненій Пушкина изданы, послѣ смерти его, весьма небрежно во всѣхъ отношеніяхъ — и типографскомъ (плохая бумага, некрасивый шрифтъ, опечатки, а иногдѣ и искаженный смыслъ стиховъ), и редакціонномъ (пьесы расположены не въ хронологическомъ порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера автора, а по родамъ, изобрѣтеннымъ Богъ-знаетъ чьимъ досужествомъ). Но что всего хуже въ этомъ изданіи — это его неполнота: пропущены пьесы, помѣщенныя самимъ авторомъ въ четырехъ-томномъ собраніи его сочиненій (*), не говоря уже о пьесахъ, напечатанныхъ въ «Современникѣ» и при жизни и послѣ смерти Пушкина. Послѣдніе три тома сдѣланы компаніею издателей книгопродавцевъ, которые что могли сдѣлать, какъ издатели, сдѣлали хорошо, т. е. издали эти три тома красиво и опрятно, но такъ же неполно, какъ были изданы (не ими впрочемъ) первые восемь томовъ. Справедливый ропотъ публики, которая, заплатя за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина *шестьдесятъ-пять* рублей асс. (сумму, довольно-значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имѣла въ рукахъ полнаго собранія сочиненій Пушкина, — этотъ ропотъ, соединенный съ столь же дурнымъ расходомъ трехъ послѣднихъ, какъ и восьми первыхъ томовъ, и справедливое негодованіе нѣкоторыхъ журналистовъ на такое оскорбленіе тѣни великаго поэта: все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочиненій Пушкина *обѣщать* отдѣльное дополненіе къ нимъ, въ которомъ публика могла бы найдти рѣшительно все, что написано Пушкинымъ и что̀ не вошло въ одиннадцать томовъ *полнаго* собранія его сочиненій. А пропущено такъ много, что изъ дополненія вышелъ бы цѣлый томъ, — и тогда полное собраніе сочиненій Пушкина состояло бы *пока* изъ *двѣнадцати* томовъ. Говоримъ — *пока*: ибо въ рукописи остаются еще матеріалы къ исторіи Петра Великаго, предпринятой Пушкинымъ. Говорятъ, что этихъ матеріаловъ стало бы на добрый томъ, и только одному Богу извѣстно, когда русская публика дождется этого тома... Итакъ, *пока* хорошо было бы дождаться хоть дополненія-то, обѣщаннаго издателями трехъ послѣднихъ томовъ. О немъ много толковали, и мы даже видѣли опыты приготовленія къ этому дѣлу, которое ин-

(*) Стихотворенія Александра Пушкина. Санктпетербургъ. Въ тип. Департамента Народнаго Просвѣщенія. Четыре части: I и II — 1829, III — 1832, IV — 1835.

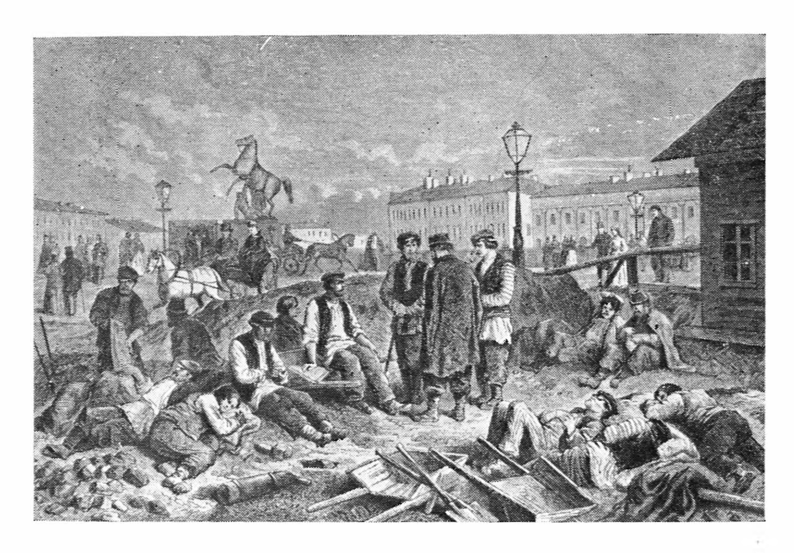
Страница журнала «Отечественные записки». Статья В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина».



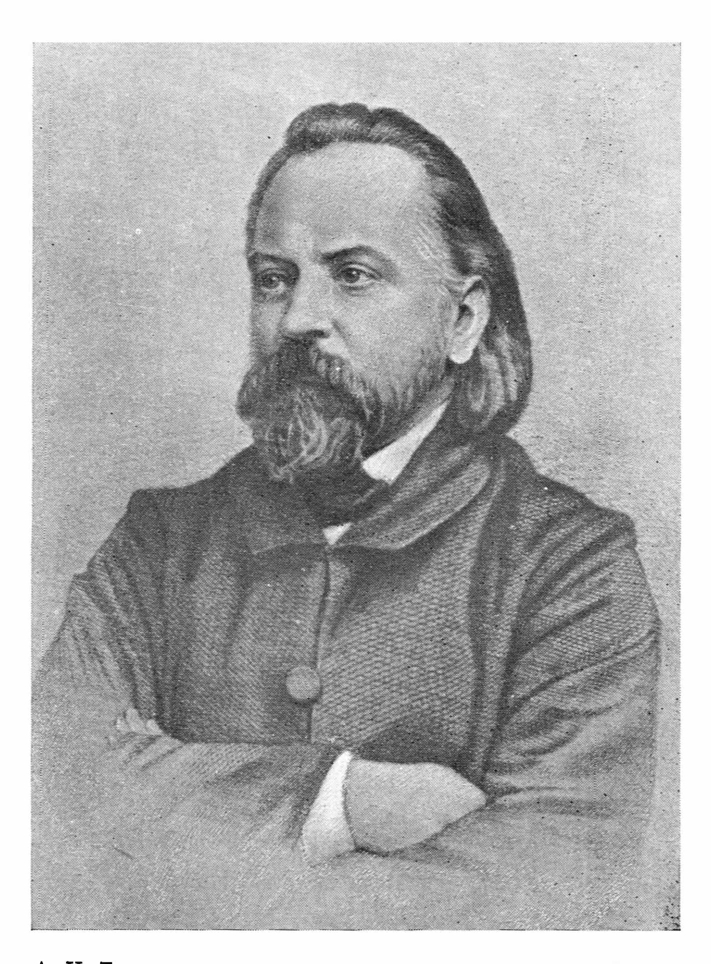
В. Г. Белинский.
Литография В. Тимма по рисунку К. Горбунова. 1843 г.



Сенная площадь.
Автолитография А. Брюллова. 1820-е гг.



Ремонтные работы на набережной Фонтанки.
Литография. Середина XIX в.

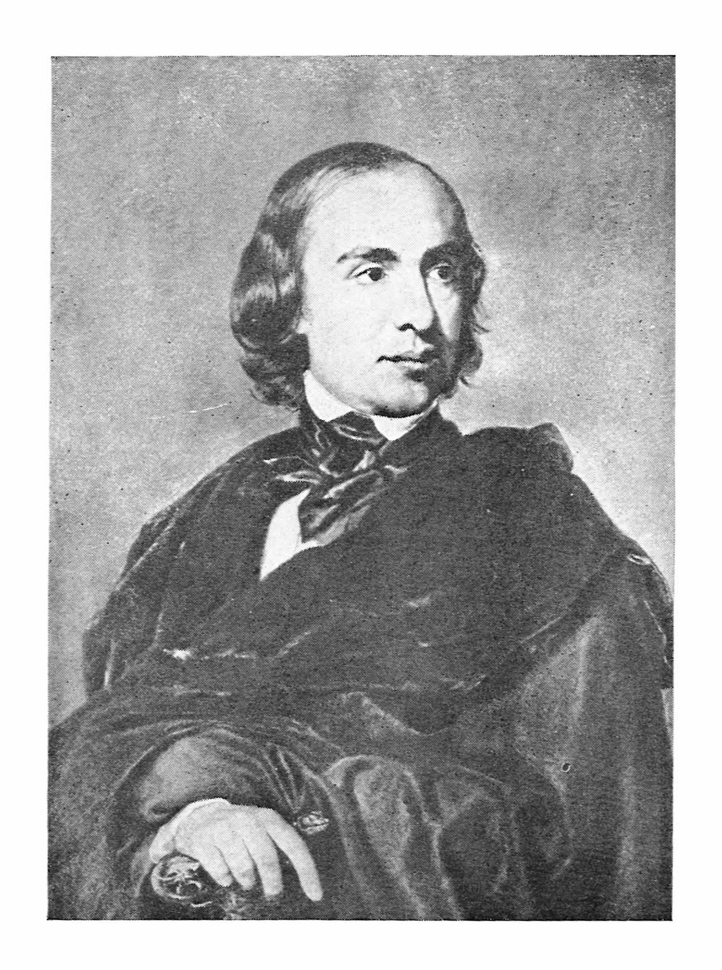


А. И. Герцен.
Фотография с лондонской гравюры 1850-х гг.

 Зак. № 55



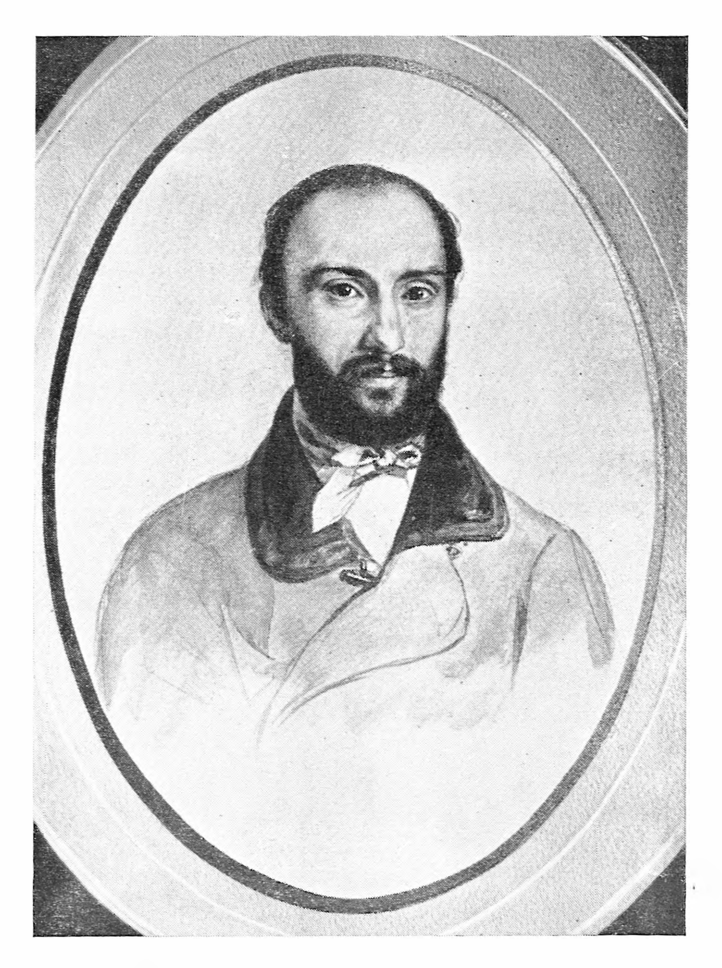
П. В. Анненков.
Автолитография К. Горбунова. 1845 г.



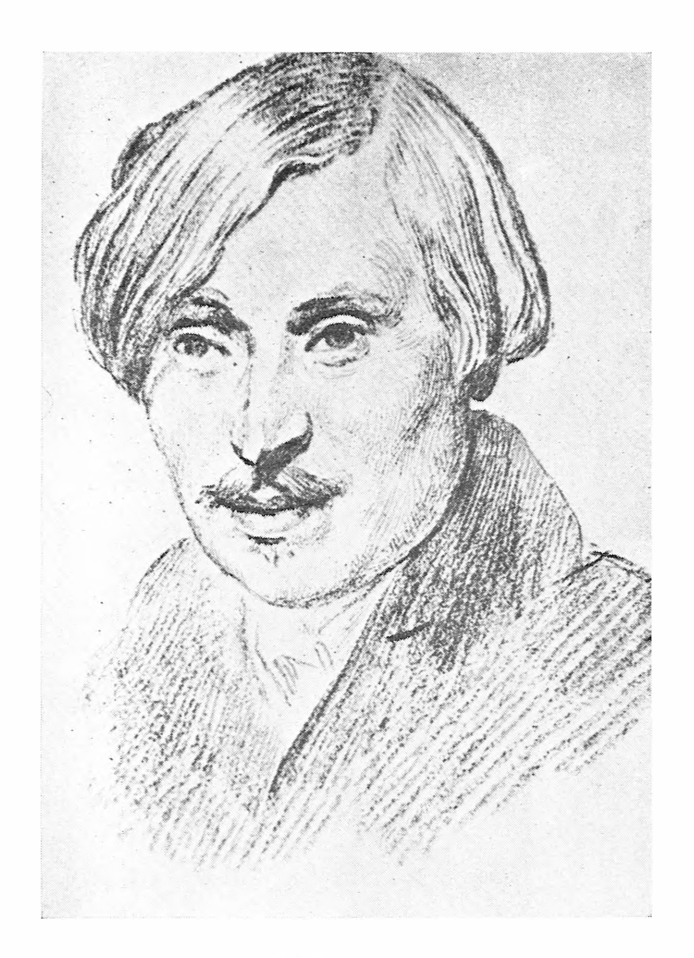
Т. Н. Грановский.
Портрет работы П. Захарова. 1840-е гг.



Н. Х. Кетчер.
Автолитография К. Горбунова. 1840-е гг.



В. П. Боткин.
Автолитография К. Горбунова. 1840-е гг.



Н. В. Гоголь.
Рисунок А. Иванова. 1840-е гг.



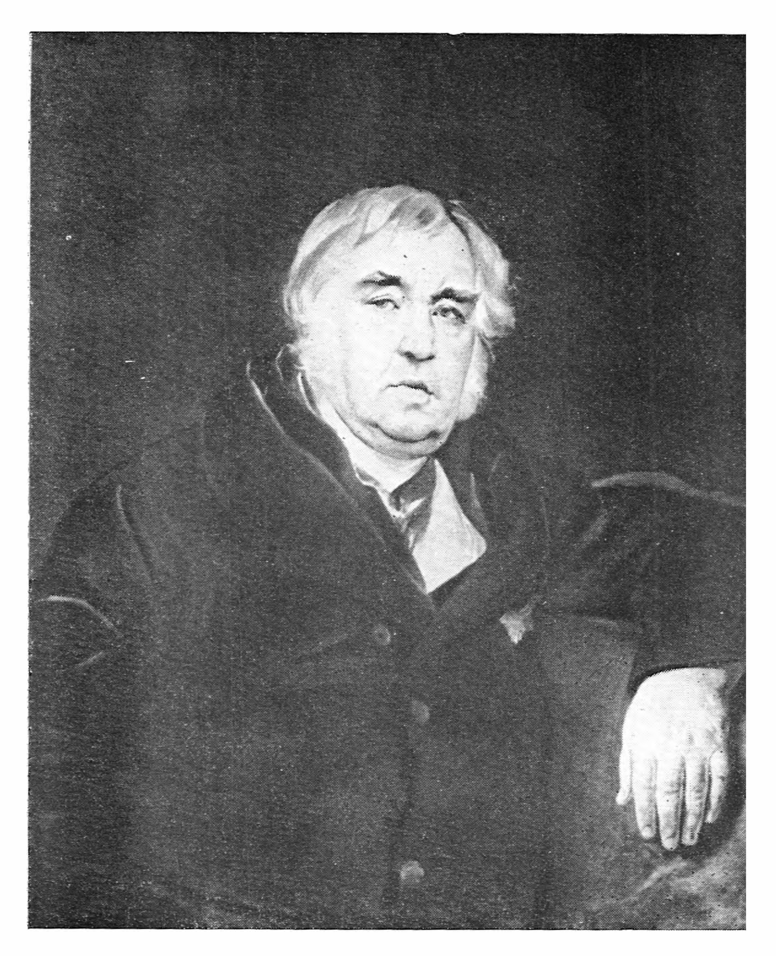
К. С. Аксаков.
Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1840-е гг.



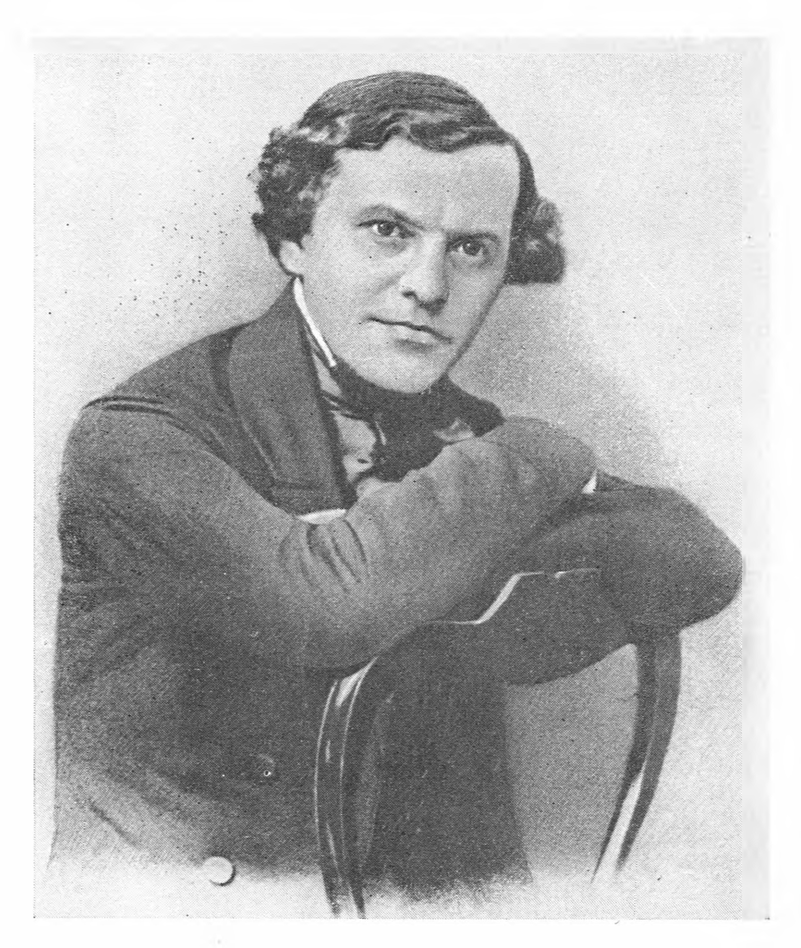
В. А. Соллогуб.
Литография Л. Вегнера. 1843 г.



С. П. Шевырев.
Литография Бахмана. Середина XIX в.



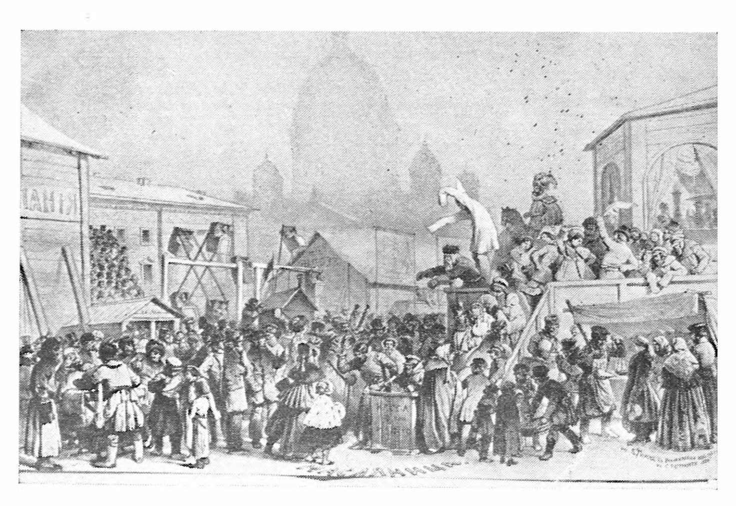
И. А. Крылов.
Портрет работы К. Брюллова. 1841 г.



К. Д. Кавелин.
Фотография. 1850-е гг.



Фонтанка от Аничкова моста.
Литография К. Беггрова. 1820-е гг.



Масляничное гулянье в Петербурге.
Литография В. Тимма. 1853 г.



Ф. М. Достоевский.
Рисунок К. Трутовского. 1847 г.



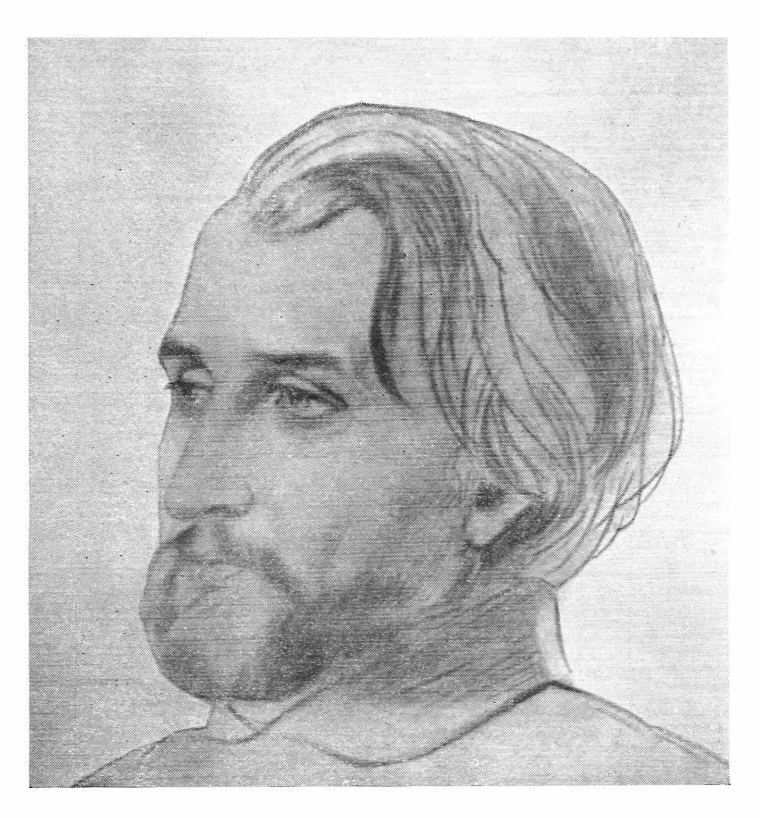
Н А. Некрасов.
Фотография 1850-е гг.



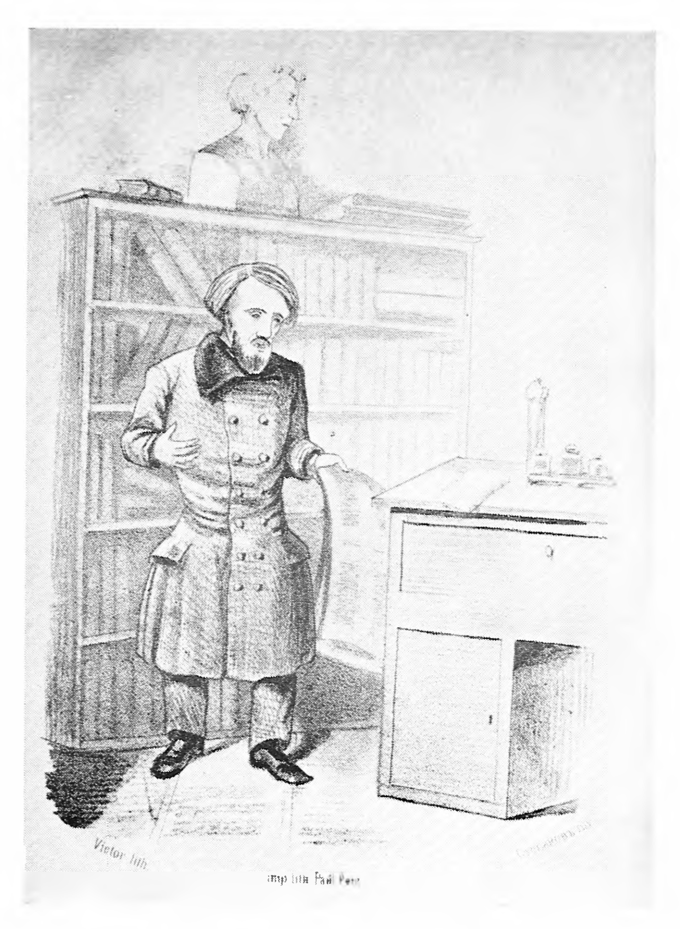
И. А. Гончаров.
Портрет неизвестного художника. 1840-е гг.



Дом № 68 по Невскому проспекту.
Фотография. 1978 г.
Здесь в 1842—1846 гг. жил В. Г. Белинский.



И. С. Тургенев.
Рисунок П. Виардо. 1850-е гг.

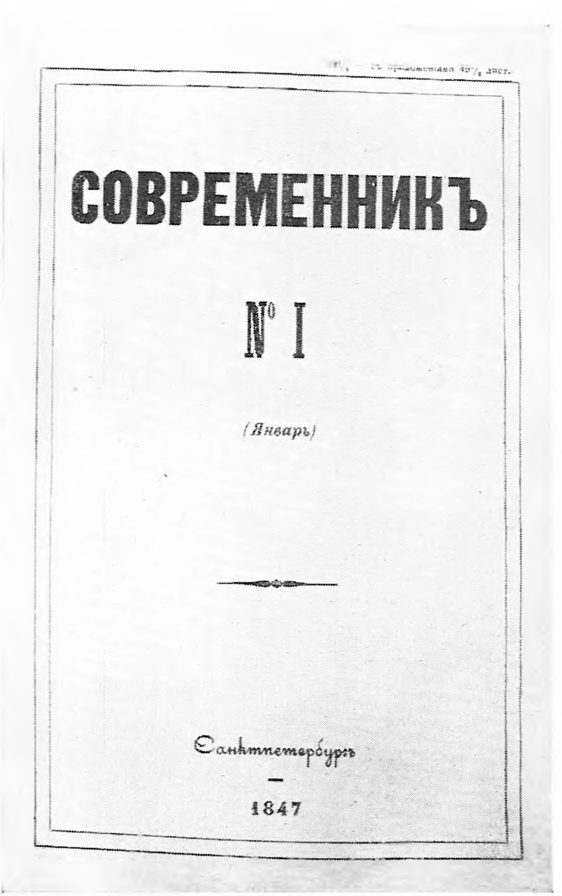


«Типографские превращения» («Своей статьи не узнаю в печати!»).

Литография по рисунку Н. Степанова. 1847 г.



«Журналист и труженик-критик».
Карикатура А. Хлещенко на отношение Краевского к Белинскому. 1850-е гг.



СОВРЕМЕННИКЪ

№ I

(Январь)

Санктпетербургъ

1847

«Современник», № 1, 1847 г. Титульный лист.

III.

ВЗГЛЯДЪ

НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА.

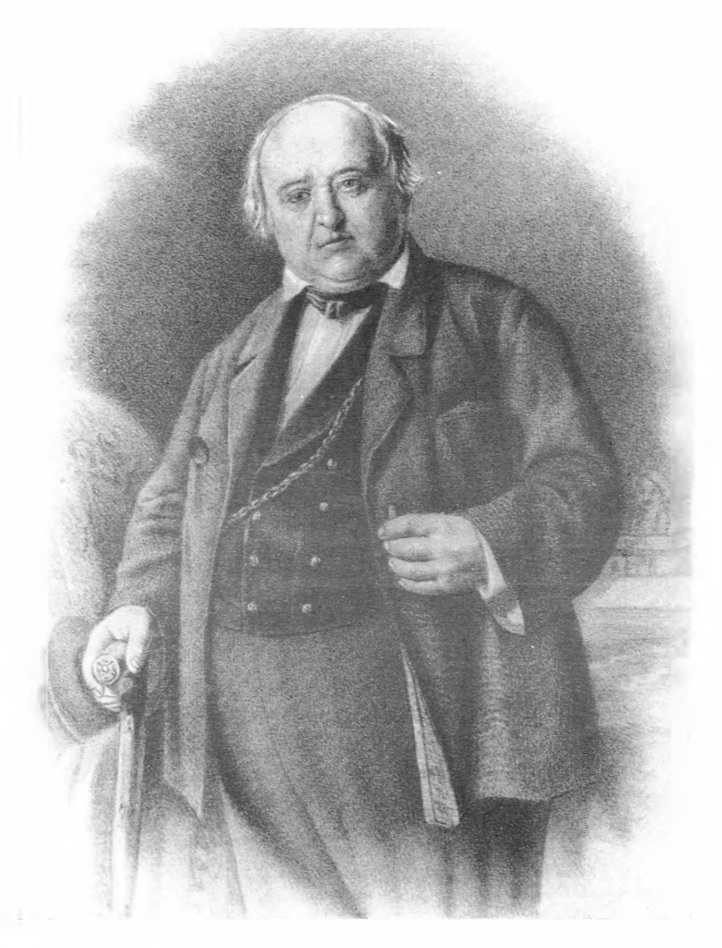
Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому, говорить о русской литературѣ 1846 года, значитъ говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть. Но мы не вдадимся ни въ какія историческія подробности, которыя завлекли бы насъ далеко. Главная цѣль нашей статьи — познакомить заранѣе читателей *Современника* съ его взглядомъ на русскую литературу, слѣдовательно, съ его духомъ и направленіемъ, какъ журнала. Программы и объявленія, въ этомъ отношеніи, ничего не говорятъ: онѣ только обѣщаютъ. И потому, программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обѣщаніями, чисто-внѣшними. Предлагаемая статья, вмѣстѣ съ статьею самого редактора, напечатанною во второмъ отдѣленіи этого же нумера, будетъ второю, *внутреннею*, такъ сказать, программою «Современника», въ которой читатели могутъ сами, до извѣстной степени, повѣрять обѣщанія исполненіемъ.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнію, съ дѣйствительностію, въ большей и большей близости къ зрѣлости и возмужалости.

Страница журнала «Современник». Статья В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года».



А. В. Никитенко.
Литография. Середина XIX в.



М. С. Щепкин.
Литография К. Эргот по рисунку А. Скино.



Дом № 19 по набережной Фонтанки. Здесь помещалась редакция журнала «Современник».
Фотография. 1978 г.



Невский проспект у Аничкова моста.
Акварель неизвестного художника. Середина XIX в.



На Невском проспекте у Аничкова дворца.
Литография Бесамена. Середина XIX в.



Дом № 18/22 по Клинскому проспекту (быв. Средний пр.), где жил В. Г. Белинский.
Фотография. 1978 г.



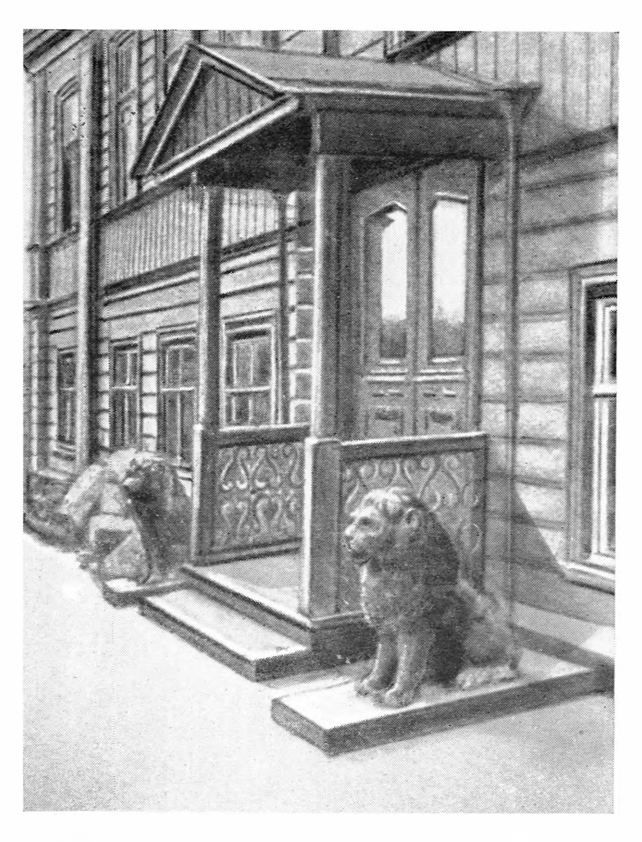
В. Н. Майков.
Литография 1840-х гг.



У постели больного Белинского.
Картина А. Наумова.



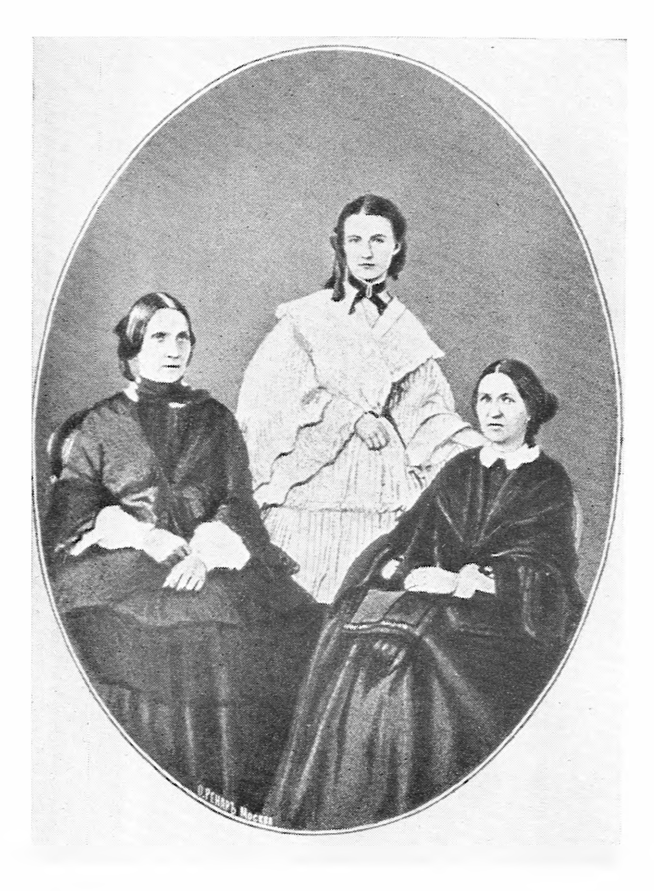
Н. Н. Тютчев.
Фотография. 1850-е гг.



Флигель дома И. Ф. Галченкова на Лиговском канале, где жил последние месяцы и умер В. Г. Белинский.
Фотография. Конец XIX в.



Могила В. Г. Белинского на Волковом кладбище.
Литография В. Тимма. 1862 г.
(Рядом — свежая могила Н. А. Добролюбова.)



М. В. Белинская с дочерью Ольгой Виссарионовной и сестрой А. В. Орловой.
Фотография. 1860-е гг.

1 р. 30 к.